ДОН ДЕЛИЛЛО
БЕЛЫЙ ШУМ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Роман классика современной американской литературы Дона Делилло (р. 1936) «Белый шум» – комедия о страхе, смерти и технологии. Смерть невозможно отрицать. Каждый день она проникает в сознание с телеэкранов и страниц бульварных газет. Каждый день она проникает в тело дозами медикаментов и кислотными дождями. Человеческое сознание распадается под натиском рекламы и прогнозов погоды. Мы боимся смерти – и продолжаем жить. Несмотря на белый шум смерти…

В 1985 году «Белый шум» был удостоен Национальной книжной премии США.

- Дон Делилло
  -
  - I. Излучение и волны
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
  - II. Воздушнотоксическое явление
    - 21
  - III. Диларама
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25

- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40

Дон Делилло
Белый шум

Посвящается Сью Бак и Лот Уоллес

I. Излучение и волны

1

Многоместные «универсалы» подъехали в полдень – длинной сверкающей вереницей пронеслись через западную часть территории коллежа, змейкой обогнули оранжевую железную скульптуру из двутавровой балки и двинулись к общежитиям. На крышах автомобилей были навалены и тщательно закреплены чемоданы, битком набитые летней и зимней одеждой; коробки с шерстяными и стегаными одеялами, простынями и подушками, ботинками и туфлями, книгами и канцелярскими принадлежностями; свернутые коврики и спальные мешки; велосипеды, лыжи, рюкзаки, английские и ковбойские седла, надувные лодки. Машины сбавляли скорость и останавливались, студенты выскакивали, мчались к задним дверям и принимались выгружать все, что было внутри: стереосистемы, приемники, персональные компьютеры; маленькие холодильники и электроплитки; коробки пластинок и кассет; фены и утюги; теннисные ракетки, футбольные мячи, хоккейные клюшки и сачки для лакросса, луки и стрелы; препараты, запрещенные к свободной продаже, противозачаточные пилюли и приспособления; всякую несъедобную дрянь, по-прежнему в магазинных пакетах: чипсы с луком и чесноком, начо, печенье с арахисовой начинкой, вафли «Ваффело» и цукаты «Кабум», фруктовую жвачку и воздушную кукурузу в сахаре, шипучку «Дум-дум» и мятные конфеты «Мистик».

Я наблюдаю это представление каждый сентябрь вот уже двадцать один год. Зрелище неизменно производит яркое впечатление. Студенты приветствуют друг друга уморительными криками и жестами беспробудных пьяниц. Все лето они, как водится, предавались запретным наслаждениям. Родители, ошеломленные солнечным светом, стоят возле своих автомобилей, видя вокруг точные копии самих себя. Загар, приобретенный честными стараниями. Умело состроенные гримасы и взгляды искоса. Узнавая друг друга, они вновь чувствуют себя помолодевшими. Женщины, бойкие и жизнерадостные, похудевшие от диет, знают всех по именам. Их мужья, сдержанные, но благодушные, покорно тратят свое драгоценное время на выполнение родительского долга, и что-то в них говорит об огромных затратах на страхование. Это скопление «универсалов» в такой же степени, как и все, чем родители занимаются весь год, убедительнее любых формальных ритуалов церковной службы и законов доказывает им, что они представляют собой сборище единомышленников, людей духовно

близких, нацию, народ.

После работы я пешком спускаюсь под гору, в центр города. В нашем городе имеются дома с башенками и двухэтажными верандами, где люди сидят в тени древних кленов. Есть церкви – готические и в стиле греческого возрождения. Есть психиатрическая больница с длинным портиком, причудливо украшенными слуховыми окнами и крутой остроконечной крышей, увенчанной флероном в форме ананаса. Мы с Бабеттой и нашими детьми от предыдущих браков живем в конце тихой улицы, где некогда была лесистая местность с глубокими оврагами. Теперь за нашим задним двором, далеко внизу, проходит скоростная автомагистраль, и по ночам, когда мы удобно устраиваемся на своей медной кровати, неплотная вереница машин издали убаюкивает нас неумолчным шумом, подобным невнятному гомону душ усопших на пороге сновидения.

Я возглавляю кафедру гитлероведения в Колледже-на-Холме. Гитлероведение в Северной Америке я ввел в марте шестьдесят восьмого года. Был холодный солнечный день, с востока дул порывистый ветер. Когда я предложил ректору создать целую кафедру для изучения жизни и деятельности Гитлера, он тотчас оценил перспективы. Затея имела быстрый, головокружительный успех. Свою карьеру ректор продолжал уже на посту советника Никсона, Форда и Картера – пока не умер на горнолыжном подъемнике в Австрии.

На пересечении Четвертой и Элм-стрит машины поворачивают налево, к супермаркету. Район патрулирует женщина-полицейский: она сидит пригнувшись в похожем на ящик автомобиле и высматривает машины там, где запрещена стоянка, водителей, просрочивших оплаченное по счетчику время, недействительные свидетельства о техосмотре на ветровых стеклах. По всему городу на телеграфных столбах расклеены объявления о пропавших кошках и собаках, подчас – написанные детским почерком.

2

Бабетта – женщина высокая и довольно упитанная. В ней чувствуются вес и солидность. На голове у нее копна буйных светлых волос того особого желтоватого оттенка, который раньше называли грязновато-белесым. Будь Бабетта маленькой и изящной, такая прическа делала бы ее чересчур привлекательной, чересчур озорной и кокетливой. Однако крупная фигура придает ее взъерошенному виду некоторую серьезность. У полных женщин это получается без всякого умысла. Бабетта не настолько вероломна, чтобы вступать в тайный сговор с собственным телом.

– Жаль, тебя там не было, – сказал я ей.

– Где?

– Сегодня же день «универсалов».

– Опять я все прозевала? Ты должен мне напоминать.

– Вереница машин растянулась на дороге мимо музыкальной библиотеки до самой границы штата. Синие, зеленые, коричневые, цвета бургундского. Они мерцали на солнце, словно караван в пустыне.

– Ты же знаешь, Джек, что мне нужно обо всем напоминать.

Бабетта, при всей ее растрепанности, обладает природным чувством собственного достоинства и слишком озабочена серьезными делами, чтобы еще и волноваться за внешний вид. Впрочем, особыми талантами – в обычном понимании этого слова – она не блещет. Она возится с детьми и присматривает за ними, преподает на курсах образования для взрослых, состоит в группе добровольцев, которые читают вслух слепым. Раз в неделю она ходит к старичку по фамилии Тридуэлл, живущему на окраине города. Все знают его как Старика Тридуэлла и давно привыкли к нему, будто к некоему ориентиру на местности – отложению скальных пород или топкому болоту. Бабетта читает ему статьи из «Нэшнл инкуайрер», «Нэшнл игзэминер», «Нэшнл экспресс», «Глоуб», «Уорлд», «Стар». Старикан нуждается в еженедельной порции культовых таинств. Стоит ли ему в этом отказывать? В сущности, чем Бабетта бы ни занималась, моему самолюбию неизменно льстит, что я так тесно связан с отзывчивой женщиной, которая любит насыщенную, яркую жизнь, суматоху многодетных семейств. Я постоянно наблюдаю за тем, как вдумчиво и умело она выполняет свои обязанности, с какой внешней легкостью переходит от одного дела к другому – не то что мои бывшие жены, склонные к отрыву от действительности, нервные, эгоцентричные дамочки со связями в интеллектуальных кругах.

– Я вовсе не на «универсалы» хотела посмотреть. Что эти люди собой представляют? Носят ли женщины юбки из шотландки и свитера узорчатой вязки? Одеты ли мужчины в жокейские пиджаки? Что такое жокейский пиджак?

– Все они живут нынче в достатке, – сказал я. – Искренне полагают, что имеют на это право. Благодаря такой убежденности они, похоже, отличаются крепким здоровьем. Все румяные, как на подбор.

– Мне трудно представить себе смерть при таком уровне доходов, – сказала она.

– Возможно, смерти в нашем понимании у них не бывает. Разве что документы переходят к другим владельцам.

– Но ведь и у нас есть «универсал».

– Маленький, серый с металлическим отливом, и одна дверь полностью проржавела.

– А где Уайлдер? – спросила она, впав, как обычно, в панику, и принялась громко звать ребенка, одного из своих.

Тот неподвижно сидел во дворе на трехколесном велосипеде.

Как правило, мы с Бабеттой разговариваем на кухне. Кухня и спальня – главные помещения в доме, места, где решаются все вопросы, центры влияния. Остальные комнаты мы оба – и в этом мы с ней солидарны – считаем местами для хранения мебели, игрушек, ненужных вещей, оставшихся от предыдущих браков и детей разных родителей, подарков от бывшей родни, поношенных платьев и всякого хлама: одежды, коробок. И почему только все эти вещи навевают такую грусть? Будят мрачные мысли, дурные предчувствия, заставляют опасаться не просто неудачи, не крушения личных планов, а чего-то более общего, более крупного по масштабам и сути.

Бабетта вошла с Уайлдером и усадила его на кухонную стойку. Спустились вниз Дениза со Стеффи, и мы заговорили о том, что им понадобится к началу учебного года. Вскоре настало время обеда – период шума и хаоса. Мы всей оравой кружили по кухне, толкаясь, препираясь и роняя посуду. Наконец все остались довольны тем, что удалось урвать из шкафчиков и холодильника или стянуть друг у друга, и мы принялись спокойно намазывать нашу яркую, разноцветную еду горчицей или майонезом. В общем настроении преобладало донельзя серьезное предвкушение удовольствия, награды, добытой тяжким трудом. За столом было тесно, и Бабетта с Денизой пару раз толкнули друг дружку локтями, хотя и не произнесли при этом ни слова. Уайлдер по-прежнему сидел на стойке в окружении открытых картонных коробок, смятой фольги, блестящих пакетиков картофельных чипсов, чашечек с тестообразными веществами в пластиковой

обертке с колечками и ленточками-открывашками, тонких ломтиков оранжевого сыра, обернутых целлофаном. Вошел Генрих, мой единственный сын. Внимательно изучив обстановку, он вышел через черный ход и исчез.

– Для себя я планировала совсем не такой обед, – сказала Бабетта. – Я всерьез рассчитывала на йогурт и пророщенную пшеницу.

– Где мы это уже слышали? – спросила Дениза.

– Вероятно, именно здесь, – сказала Стеффи.

– Она постоянно эту дрянь покупает.

– Но никогда не ест, – сказала Стеффи.

– Потому что думает, если будет все время эту дрянь покупать, ее придется есть просто для того, чтобы от нее избавляться. Похоже, сама себя хочет перехитрить.

– Эти зерна уже полкухни занимают.

– Но она выбрасывает их, не успевая съедать, потому что они портятся, – сказала Дениза. – Вот она потом и начинает все сызнова.

– Куда ни глянь, – сказала Стеффи, – всюду эта гадость.

– Она чувствует себя виноватой, если не купит зерен, чувствует себя виноватой, если покупает их и не ест, чувствует себя виноватой, когда видит их в холодильнике, чувствует себя виноватой, когда их выбрасывает.

– Можно подумать, она курит, но курить она бросила, – сказала Стеффи.

Денизе, этой упрямой девчонке, было одиннадцать. Она почти ежедневно возглавляла движение протеста против тех привычек своей матери, которые казались ей разорительными или вредными. Я защищал Бабетту. Уверял, что это мне нужно проявлять дисциплинированность в вопросах питания. Напоминал, что мне очень нравится, как она выглядит. Намекал, что дородности, если она не чрезмерна, присуща своего рода честность. Многие считают, что другим некоторая упитанность отнюдь не вредит.

Но Бабетту беспокоили ее бедра и бока. Она быстро ходила, бегала по ступенькам стадиона в школе с неоклассическим уклоном. По ее словам, я превращал ее недостатки в достоинства, потому что мне свойственно защищать любимых людей от правды. В правде, говорила она, кроется некая опасность.

В коридоре наверху сработала пожарная сигнализация – либо свое отслужила батарейка, либо дом загорелся. Доедали мы молча.

3

В Колледже-на-Холме заведующие кафедрами носят профессорские мантии. Не пышные развевающиеся одеяния до полу, а нечто вроде балахонов без рукавов, со сборками на плечах. Мне нравится эта затея. Нравится высвобождать руку из складок, чтобы посмотреть на часы. Этот широкий жест полностью видоизменяет процесс определения времени. Эффектные жесты вообще делают жизнь человека романтичнее. Быть может, когда болтающиеся без дела студенты видят, как из средневековой мантии заведующего кафедрой, идущего по территории колледжа, появляется согнутая в локте рука и в сумерках одного из последних дней лета мерцают цифры электронных часов, само время представляется им замысловатым украшением, романтической выдумкой, плодом воображения. Мантия, разумеется, черная, и она прекрасно сочетается практически с любой одеждой.

Отдельного здания у кафедры Гитлера нет. Нас разместили в Сентенари-холле – темном кирпичном строении, которое мы делим с кафедрой популярной культуры, официально именуемой «кафедрой среды обитания американцев». Коллектив довольно странный. Почти все преподаватели – нью-йоркские эмигранты, бандитского вида ловкачи, помешанные на кино и всяческих пустяках. Эти люди собрались здесь, чтобы расшифровать естественный язык культуры, разработать официальную методику преподавания светлых радостей, запомнившихся им с детства, омраченного жизнью в Европе, – создать нечто вроде аристотелева учения о фантиках жевательной резинки и песенках из рекламы стиральных порошков. Возглавляет кафедру Альфонс («Проглот») Стомпанато, угрюмый широкоплечий тип, чья коллекция довоенных бутылок из-под шипучки постоянно демонстрируется в каком-нибудь закутке. Его преподаватели, сплошь мужчины, ходят в мятой одежде, крайне редко стригутся, откашливаются в подмышки. Все вместе они похожи на чиновников, заправляющих профсоюзом шоферов-дальнобойщиков и собравшихся опознать обезображенный труп коллеги. Складывается впечатление, что в их коллективе преобладают всепоглощающая злоба, подозрительность и интриганство.

Среди некоторых из вышеупомянутых персон исключение составляет Марри Джей Зискинд, бывший спортивный журналист, – он попросил меня позавтракать с ним в столовой, где неистребимый запах с трудом поддающейся определению еды

пробудил во мне одно смутное, мрачное воспоминание. Марри на Холме недавно. Это сутулый парень в маленьких круглых очках и с бородкой сектанта-меннонита. Он приглашен читать лекции о современных идолах; то, что ему пока удалось узнать у своих коллег по преподаванию популярной культуры, похоже, приводит его в замешательство.

– Я разбираюсь в музыке, разбираюсь в кино, даже умею извлекать важные сведения из комиксов. Но в этом заведении есть штатные профессора, которые не читают ничего, кроме надписей на коробках сухой овсянки.

– Другого авангарда у нас нет.

– Нет, я не жалуюсь. Мне здесь нравится. Я просто влюбился в этот городок. В его провинциальную атмосферу. Мне надоели большие города и запутанные сексуальные связи. Жара. Вот что такое для меня большие города. Приезжаешь на поезде, выходишь из здания вокзала, и тебя обдает сильнейшим жаром. Жаром воздуха, транспорта и людей. Жаром еды и секса. Жаром высоких зданий. Жаром, которым тянет из метро и тоннелей. В больших городах всегда на пятнадцать градусов жарче. Жар поднимается с тротуаров и опускается с отравленного неба. От автобусов пышет жаром. Жар испускают толпы покупателей и служащих. Всю инфраструктуру основали на жаркой погоде, и она безрассудно поглощает жару и вновь ее порождает. Возможная тепловая смерть вселенной, о которой любят разглагольствовать ученые, уже почти наступила, и в любом большом или среднем городе это чувствуется повсюду. Жара и влажность.

– Где вы живете, Марри?

– В пансионе. Я совершенно очарован и заинтригован. Это превосходное ветхое здание рядом с психиатрической больницей. Семь или восемь квартирантов, более или менее постоянных – за исключением меня. Женщина, которая хранит некую страшную тайну. Мужчина со взглядом затравленного зверя. Мужчина, который никогда не выходит из своей комнаты. Женщина, которая целыми часами стоит у почтового ящика и ждет того, что, похоже, не принесут никогда. Мужчина без прошлого. Женщина с прошлым. В доме пахнет киношной несчастливой жизнью, а я этот запах всегда чую.

– А у вас что за роль? – спросил я.

– Я играю еврея. Кого же еще?

Было нечто трогательное в том, что Марри ходил в одежде почти сплошь из вельвета. У меня возникло такое чувство, будто лет с одиннадцати – с тех пор, когда он еще обитал на своем тесном бетонном пятачке, – эта прочная материя ассоциируется у него с высшим образованием под сенью дерев, в каком-нибудь

невероятно далеком месте.

– В городке под названием Блэксмит я просто не могу не быть счастлив, – сказал он. – Я приехал сюда, чтобы избежать историй. В больших городах того и гляди влипнешь в историю, там полно людей, в сексуальном смысле коварных. Я больше не позволяю женщинам свободно манипулировать некоторыми частями моего тела. В Детройте я влип в историю с одной женщиной. Ей понадобилась моя сперма в бракоразводном процессе. По иронии судьбы, я люблю женщин. Я с ума схожу при виде женщины с длинными ногами, бодро шагающей в бликах утреннего солнца, в будний день, когда с реки дует легкий ветерок. Ирония также и в том, что в конечном счете меня влечет не к телу женщины, а к ее уму, к женскому интеллекту. К этому мощному однонаправленному потоку, заключенному в специальную камеру, как во время физического опыта. Разговаривать с умной женщиной в чулках, когда она забрасывает ногу на ногу, – огромное удовольствие. Это негромкое шуршание, подобное помехам в эфире, способно опьянять меня на разных уровнях. И вновь ирония судьбы, причем связанная со сказанным выше: меня неизменно тянет к самым капризным и упрямым неврастеничкам. Мне нравятся простодушные мужчины и загадочные женщины.

У Марри непокорные, вроде бы густые волосы и пушистые брови. Шею по бокам покрывают редкие кудряшки. Короткая жесткая бородка, отсутствующая на щеках и не дополненная усами, производит впечатление необязательной детали, которую можно наклеивать и отклеивать в зависимости от обстоятельств.

– Какого рода лекции вы намереваетесь читать?

– Именно об этом я и хочу с вами поговорить, – сказал он. – Вы сделали с Гитлером чудную вещь. Создали кафедру, взлелеяли, как дитя, превратили в свою вотчину. Ни один из преподавателей любого колледжа или университета этой части страны не может даже произнести слово «Гитлер», не кивнув в вашу сторону – либо в буквальном смысле, либо в метафорическом. Здесь находится центр, самый достоверный источник. Теперь Гитлер принадлежит вам, он стал Гитлером Глэдни. Вероятно, это приносит вам глубокое удовлетворение. Благодаря монографиям о Гитлере колледж пользуется мировой известностью. В нем есть самобытность, он пропитан духом успеха. Вы создали целое учение вокруг этой личности, структуру с бесчисленными субструктурами и взаимосвязанными областями знания, историю в рамках исторической науки. Я восхищаюсь достигнутыми результатами. Это сногсшибательный упреждающий удар, нанесенный мастерски и расчетливо. Именно это я и хочу сделать с Элвисом.

Несколько дней спустя Марри захотелось взглянуть на местную достопримечательность, известную как наиболее часто фотографируемый амбар в Америке. Мы проехали двадцать две мили и оказались в сельской местности под Фармингтоном, среди лугов и яблоневых садов. Через холмистые поля тянулись белые ограды. Вскоре стали появляться указатели: НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ФОТОГРАФИРУЕМЫЙ АМБАР В АМЕРИКЕ. По дороге мы насчитали пять указателей. На временной стоянке было сорок машин и туристский автобус. По коровьей тропе мы поднялись на небольшой пригорок, откуда было удобно смотреть и фотографировать. У всех были фотоаппараты, у некоторых – треноги, телеобъективы, комплекты светофильтров. В киоске продавались открытки и слайды – снимки амбара, сделанные с пригорка. Мы встали на опушке рощи и принялись наблюдать за фотографами. Марри долго хранил молчание, время от времени что-то поспешно записывая в маленькую книжечку.

– Амбара никто не видит, – сказал он наконец.

Последовало продолжительное молчание.

– Стоит увидеть указатели, как сам амбар становится невидимым.

Он снова умолк. Люди с фотоаппаратами покинули пригорок, и на их месте тут же появились другие.

– Мы здесь не для того, чтобы запечатлеть некий образ, а для того, чтобы его сохранить. Каждая фотография усиливает ауру. Вы чувствуете ее, Джек? Чувствуете, как аккумулируется неведомая энергия?

Наступило длительное молчание. Человек в киоске продавал открытки и слайды.

– Приезд сюда – своего рода духовная капитуляция. Мы видим лишь то, что видят все остальные. Тысячи людей, которые были здесь в прошлом, те, что приедут в будущем. Мы согласились принять участие в коллективном восприятии. Это буквально окрашивает наше зрение. В известном смысле – религиозный обряд, как, впрочем, и вообще весь туризм.

Вновь воцарилось молчание.

– Они фотографируют фотографирование, – сказал он.

Некоторое время он не произносил ни слова. Мы слушали, как непрестанно щелкают затворы, как шуршат рычажки, перемещающие пленку.

– Каким был амбар до того, как его сфотографировали? – сказал Марри. – Что он собой представлял, чем отличался от других амбаров, чем на них походил? Мы не можем ответить на эти вопросы, потому что прочли указатели, видели, как эти люди

делают снимки. Нам не удастся выбраться за пределы ауры. Мы стали частью этой ауры. Мы здесь, мы сейчас.

Казалось, это приводит его в безмерный восторг.

4

Стоит настать тяжелым временам, как у людей обнаруживается склонность к перееданию. В Блэксмите полным-полно тучных взрослых и детей – коротконогие, они ходят вразвалку, в брюках с пузырями на коленках. Они с трудом вылезают из тесных машин; облачаются в тренировочные костюмы и совершают семейные пробежки, трусцой пересекая ландшафт; ходят по улицам, повсюду видя еду; едят в магазинах, в машинах, на автостоянках, в очередях на автобус и в кинотеатр, под величественными деревьями.

Только пожилые люди, похоже, не помешаны на еде. Хотя им порой не удается контролировать собственные слова и жесты, они при этом отличаются стройными фигурами и здоровым видом. В очереди у входа в супермаркет, где они выбирают тележки для покупок, женщины тщательно ухожены, мужчины решительны и хорошо одеты.

Я пересек лужайку перед школой, обошел здание и направился к небольшому открытому стадиону. По ступенькам стадиона бегом поднималась Бабетта. Я сел в первом ряду каменной трибуны, по другую сторону поля. Небо затянуло слоистыми облаками. Взбежав на самый верх и остановившись передохнуть, Бабетта уперлась руками на высокий парапет и наклонилась. Потом повернулась и стала спускаться. Грудь у нее мерно колыхалась. Слишком просторный спортивный костюм трепетал на ветру. Она шла подбоченясь и растопырив пальцы. Лицо обращено кверху, навстречу свежему ветерку, меня она не видела. Дойдя до нижней ступеньки, обернулась лицом к трибуне и повертела головой, разминая шею. Потом снова побежала наверх.

Три раза Бабетта поднялась по ступенькам и медленно спустилась. Вокруг не было ни души. Она трудилась не жалея сил – непрерывно двигались ноги и плечи, развевались волосы. Добежав до верха, она каждый раз опиралась на парапет и опускала голову, дрожа всем телом. Когда она спустилась в последний раз, я встретил ее на краю поля и обнял, сунув руки под резинку ее серых хлопчатобумажных штанов. Над деревьями появился маленький самолет. Бабетта, потная и теплая, заурчала по-кошачьи.

Она бегает трусцой, разгребает лопатой снег, заделывает трещины в раковине и ванне. Играет с Уайлдером в слова, а ночью, в постели, читает вслух эротическую классику. А что делаю я? Кручу и завязываю мусорные мешки, плаваю взад и

вперед в бассейне колледжа. Когда я хожу пешком, сзади бесшумно приближаются бегуны и, обгоняя, вынуждают меня отшатываться в идиотском испуге. Бабетта разговаривает с собаками и кошками. Я вижу цветные пятнышки уголком правого глаза. Бабетта планирует лыжные походы, которые мы никогда не предпринимаем, и при этом сияет от возбуждения. Я пешком поднимаюсь в гору по пути в колледж и замечаю побеленные камни вдоль подъездных аллей новых домов.

Кто умрет раньше?

Этот вопрос возникает время от времени – подобно вопросу о том, где ключи от машины. Он заставляет нас обрывать фразы на полуслове и долго смотреть друг на друга. Быть может, сама эта мысль – часть природы плотской любви, этакий дарвинизм наоборот, согласно которому уцелевшему достаются печаль и страх. А может, некий инертный элемент в воздухе, которым мы дышим, редкость наподобие неона, со своей точкой плавления, своим атомным весом? Я стискивал Бабетту в объятиях на гаревой дорожке. К нам бежали дети – тридцать девчонок в ярких спортивных трусах, невообразимая подпрыгивающая масса. Энергичное дыхание, ритм шагов почти совпадает. Порой наша любовь кажется мне наивной. Вопрос о смерти превращается в прозрачный намек. Он помогает освободиться от иллюзий насчет будущего. Простодушные обречены – или это предрассудок? Мы смотрели, как девчонки пробегают еще один круг, уже растянувшись вереницей, каждая со своим лицом и походкой, почти невесомые в стремлении к финишу, способные приземлиться на нем без особых усилий.

«Марриотт» в аэропорту, «Даунтаун Травелодж», «Шератон», «Конференц-центр».

По дороге домой я сказал:

– Би хочет приехать на Рождество. Можно устроить ее в комнате Стеффи.

– А они знакомы?

– Познакомились в «Диснейуорлде». Все будет нормально.

– Когда это вы были в Лос-Анджелесе?

– Ты хочешь сказать, в Анахайме.

– Когда вы были в Анахайме?

– Ты хочешь сказать, в Орландо. Почти три года назад.

– А я где была? – спросила она.

Моя дочь Би – от брака с Твиди Браунер – в пригороде Вашингтона как раз начинала учиться в седьмом классе и с трудом приспосабливалась к жизни в Штатах после двух лет в Южной Корее. Она ездила в школу на такси, звонила подругам в Сеул и Токио. За границей ей недоставало сандвичей с эскалопом

«Трикс» и кетчупом. Ныне же, монополизировав плиту Твиди, ни в чем не уступающую ресторанной, она готовила обжигающие блюда из зеленого лука и мелких креветок.

В тот вечер, в пятницу, мы заказали на дом китайскую еду и все вместе, вшестером, уселись смотреть телевизор. Бабетта взяла это за правило. Видимо, она решила, что если дети будут раз в неделю смотреть телевизор в обществе отца или отчима с матерью или мачехой, то в результате это средство массовой информации лишится в их глазах своего романтического ореола и превратится в полезное семейное развлечение. Будут постепенно ослаблены его подспудное наркотическое воздействие и жуткая, болезненная, отупляющая способность отсасывать мозги. Слушая эти рассуждения, я чувствовал себя ущемленным. Вечер, по существу, превратился для всех в изощренную пытку. Генрих сидел молча и ел блинчики с овощами. Стеффи расстраивалась всякий раз, если казалось, что с кем-нибудь на экране может случиться нечто постыдное или унизительное. Из-за непомерной впечатлительности ей постоянно бывало неловко за других людей. Она то и дело выходила из комнаты и ждала, когда Дениза подаст ей сигнал, что эпизод закончился. При этом Дениза на правах старшей пользовалась случаем, чтобы поговорить с нею о стойкости духа и необходимости всегда быть бесчувственной, толстокожей.

По пятницам, проведя вечер перед телевизором, я, по укоренившейся профессиональной привычке, до поздней ночи вдумчиво изучал литературу о Гитлере.

В одну из таких ночей я лег в постель рядом с Бабеттой и сообщил ей, что еще в шестьдесят восьмом году ректор посоветовал мне как-то изменить имя и внешность, если я хочу, чтобы меня всерьез считали новатором в гитлероведении. «Джек Глэдни» не годится, сказал он и спросил, какими еще именами я мог бы воспользоваться. В конце концов мы сошлись на том, что мне следует выдумать дополнительную букву для инициалов и назваться Дж. Е. К. Глэдни – и этот ярлык я ношу с тех пор, словно костюм с чужого плеча.

Ректор предостерег меня против того, что он назвал моим хроническим неумением себя подать. Настоятельно посоветовал прибавить в весе. Ему хотелось, чтобы я «дорос» до Гитлера. Сам он был человеком высокого роста, с брюшком, румянцем на щеках, двойным подбородком, большими ногами – и к тому же тупицей. Устрашающее сочетание. Я тоже отличался немалым ростом, большими руками и ногами, но, по крайней мере, в его глазах, крайне нуждался в дородности, в облике, говорящем о нездоровой невоздержанности в еде, о многословии и склонности

преувеличивать, о неуклюжести и солидности. Похоже, он намекал, что сумей я стать более уродливым, это очень помогло бы мне сделать карьеру.

Таким образом, благодаря Гитлеру, я узнал, каким мне следует стать и к чему стремиться, хотя в этих стараниях я порой решаюсь на эксперименты. Темные очки в массивной черной оправе появились по моему предложению как альтернатива густой, косматой бороде, отпустить которую не позволила мне тогдашняя жена. Бабетта сказала, что ей нравятся инициалы «Дж. Е. К.» и она не считает их признакам погони за дешевой популярностью. По ее мнению, они наводят на мысль о достоинстве, важности и престиже.

Я – лживый тип, старающийся во всем соответствовать имени.

5

Давайте наслаждаться бессмысленными деньками, пока у нас есть такая возможность, сказал я себе, опасаясь, как бы кто-нибудь не начал ловко торопить события.

За завтраком Бабетта вслух, с выражением, прочла все наши гороскопы. Дошла до моего, и я постарался не слушать, хотя, наверное, слушать хотел – стремился, наверное, получить какие-то сведения.

После ужина, поднимаясь наверх, я услышал, как по телевизору сказали: «Давайте сядем в позу полулотоса и подумаем о наших позвоночниках».

В ту ночь, едва я уснул, мне показалось, будто я проваливаюсь сквозь самого себя, с замиранием сердца погружаюсь на небольшую глубину. Я проснулся весь дрожа и вперил взор в темноту, осознав, что у меня произошло более или менее нормальное сокращение мышц, известное как миоклонический спазм. Неужели это так и происходит – внезапно, окончательно и бесповоротно? Разве смерть, подумал я, не должна быть сродни прыжку ласточкой, грациозному, с раскинутыми, как крылья, руками и плавным входом в воду, чья поверхность остается гладкой?

В сушилке кувыркались синие джинсы.

В супермаркете мы случайно встретили Марри Джея Зискинда. В его корзинке были однотипные продукты и напитки, низкосортные товары в простой белой упаковке с незатейливыми этикетками. На белой жестянке значилось: «КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ПЕРСИКИ». На белой пачке копченой грудинки отсутствовал целлофановый квадратик, в котором должен виднеться образец. На белой обертке баночки поджаренных орешков имелась надпись «АРАХИС НЕСОРТОВОЙ». Марри то и дело кивал Бабетте, пока я их знакомил.

– Это новый аскетизм, – сказал он. – Бесцветная упаковка. Меня она привлекает. Я чувствую, что не только экономлю деньги, но и способствую некоему духовному единению. Такое впечатление, будто идет Третья мировая война. Все кругом белое. У нас отняли яркие цвета и бросили их на борьбу с врагом.

Глядя в глаза Бабетте, он брал покупки из нашей тележки и обнюхивал их.

– Я раньше покупал эти орешки. Это шарики и кубики с трещинками и щербинками. Многие рассыпались. На дне баночки полно крошек. Зато вкусные. Но больше всего мне нравится сама упаковка. Вы были правы, Джек. Это последний всплеск

авангардизма. Новые смелые формы. Способность потрясать.

Неподалеку от входа, прямо на прилавок с дешевыми книжками, упала женщина. Из кабинки на возвышении в дальнем углу, вышел грузный мужчина и, вытянув шею, чтобы лучше видеть, осторожно двинулся к ней. Одна из кассирш сказала: «Леон, петрушка», – а он, приближаясь к упавшей женщине, ответил: «Семьдесят девять». Нагрудный карман его пиджака был набит фломастерами.

– Выходит, вы готовите пищу в пансионе, – сказала Бабетта.

– У меня в комнате разрешено пользоваться небольшой плиткой. Там я просто счастлив. Я читаю программу телевидения. Читаю объявления в «Современном уфологе». Мне хочется окунуться в магию и ужас Америки. Мой семинар пользуется успехом. Студенты сообразительны и активны. Они задают вопросы, а я отвечаю. Они конспектируют мои лекции. Я и сам такого не ожидал, честное слово.

Он взял наш пузырек сильного болеутоляющего и обнюхал ободок защитного колпачка. Понюхал наши мускатные дыни, бутылки газировки и имбирного эля. Бабетта направилась в отдел замороженных продуктов – часть магазина, куда не советовал мне заходить врач.

– Волосы вашей жены – настоящее чудо, – сказал Марри, пристально вглядываясь в мое лицо как бы выражая мне свое глубокое уважение, основанное на этой новой информации.

– Да, это верно, – сказал я.

– Ее волосы имеют большое значение.

– Кажется, я понимаю, что вы имеете в виду.

– Надеюсь, вы цените эту женщину.

– Само собой.

– Ведь такие женщины на дороге не валяются.

– Знаю.

– Наверняка она проявляет доброту к детям. Мало того, бьюсь об заклад, что она просто незаменима в случае семейной трагедии. Женщины такого типа владеют собой, способны проявлять стойкость и оказывать поддержку.

– На самом-то деле, она сходит с ума. Чуть с ума не сошла, когда умерла ее мать.

– Что же тут удивительного?

– Она чуть с ума не сошла, когда Стеффи позвонила из лагеря и сказала, что сломала руку. Нам пришлось всю ночь гнать машину. Я случайно заехал на просеку лесозаготовительной компании. Бабетта рыдала.

– Ее дочь страдает вдали от дома, среди посторонних людей. Что ж тут удивительного?

– Не ее дочь. Моя.

– Даже не родная дочь!

– Да.

– Поразительно! Должен признать, я восхищен.

Выходили мы все втроем, пытаясь лавировать среди разбросанных у входа книжек своими тележками. Марри вкатил одну на автостоянку, помог нам забросить и запихнуть все наши двойные пакеты с покупками в «универсал». Въезжали и выезжали машины. Женщина-полицейский в своей наглухо закрытой малолитражке объезжала участок, разыскивая красные флажки на счетчиках стоянки. Мы добавили к нашему грузу единственный легкий пакет Марри с белыми предметами и через Элм-стрит направились к его пансиону. Мне казалось, что мыс Бабеттой – при такой массе разнообразных покупок, при том несказанном изобилии, о котором свидетельствовали набитые до отказа пакеты, их вес, величина и количество, привычные рисунки и яркие надписи на упаковках, их гигантские размеры, флюоресцентные этикетки купленных со скидкой товаров для многодетных семей, при том ощущении достатка, что мы испытывали, при ощущении благополучия, уверенности и довольства, возникавшем где-то в глубине души благодаря этим продуктам, – казалось, что мы достигли полноты жизни, неведомой тем, кто нуждается в меньшем, на меньшее рассчитывает, тем, кто строит планы на будущее вокруг вечерних прогулок в одиночестве.

Прощаясь, Марри взял Бабетту за руку: – Я бы пригласил вас к себе, да комната слишком тесна для двоих, если они не готовы к интимной связи.

Марри способен смотреть трусливо и в то же время открыто. Взгляд этот равным образом говорит как о предчувствии краха, так и о вере в торжество сладострастия. По словам Марри, когда-то, во времена запутанных городских связей, он полагал, что женщину можно соблазнить только одним способом – при помощи явного, открытого вожделения. Он всячески старался избегать самоуничижения, насмешек над собой, двусмысленности, иронии, утонченности, ранимости, утраты вкуса к жизни в цивилизованном мире и восприятия истории как трагедии – именно того, что, по его словам, ему больше всего присуще. Из всех этих элементов в свою программу откровенной похоти он постепенно включает лишь один – ранимость. Он старается выработать в себе такую ранимость, которую женщины сочтут привлекательной. Над этим он трудится сознательно, как человек, поднимающий тяжести в спортзале с зеркалом. Но пока что его усилия вылились только в этот полутрусливый взгляд,

робкий и вкрадчивый.

Марри поблагодарил нас за то, что мы его подвезли. Мы наблюдали, как он идет к покосившейся, подпертой шлакоблоками веранде, где невидящим взглядом смотрит прямо перед собой человек в кресле-качалке.

6

У Генриха появились залысины. Это заставляет задуматься. Не употребляла ли его мать при беременности какое-либо вещество, изменяющее наследственность? А может, это я в чем-то виноват? Вдруг я, сам того не зная, растил его близ свалки химикатов, на пути перемещения воздушных потоков, в которых содержатся промышленные отходы, способные вызывать выпадение волос. Великолепные закаты? (Говорят, лет тридцать-сорок тому назад закаты в здешних краях были совсем не так чудесны.) Вину человека перед историей и перед множеством его сородичей усугубляет развитие технологии, вероломное убийство, совершаемое изо дня вдень.

Мальчику четырнадцать. Он склонен к уверткам и подвержен переменам настроения, но порой бывает пугающе покладист. У меня такое чувство, что его готовность уступать нашим просьбам и требованиям – тайное средство осуждения. Бабетта боится, что в конце концов он забаррикадируется в комнате и будет поливать свинцом из автомата безлюдную аллею, покуда не примчатся по его душу целые команды бойцов спецназа в бронежилетах, со своими утолщенными стволами и мегафонами.

– Вечером будет дождь.

– Он уже идет, – сказал я.

– По радио сказали, вечером.

Я вез его в школу в первый раз после того, как у него перестало болеть горло и спала температура. Движение остановила женщина в желтом плаще, и дорогу перешли несколько детей. Я представил, как она рекламирует по телевидению суп: снимает клеенчатую шапочку и входит в светлую кухню, где над дымящейся кастрюлей похлебки из омаров стоит ее муженек – коротышка, жить которому осталось месяца полтора.

– Посмотри на лобовое стекло, – сказал я. – Дождь это или нет?

– Я говорю только о том, что передали по радио.

– Радио не может заставить нас перестать верить нашим ощущениям.

– Нашим ощущениям? Да наши ощущения сплошь и рядом нас обманывают. Это доказано лабораторными испытаниями. Неужели тебе ничего не известно обо всех теоремах, согласно которым ничто не является тем, чем кажется? За пределами нашего разума не существует ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Так называемые законы движения – сплошная

мистификация. Даже звук может ввести человеческий разум в заблуждение. Если звука не слышно, это не значит, что его нет. Его слышат собаки, и другие животные. А я уверен, что есть звуки, которых даже собаки не слышат. Но они существуют в воздухе, в виде волн. Возможно, они никогда не затихают. Резкие, высокие, очень высокие. Исходят неизвестно откуда.

– Так идет дождь, – спросил я, – или нет?

– Мне бы не хотелось отвечать.

– А если бы кто-нибудь приставил к твоему виску пистолет?

– Кто? Ты, что ли?

– Кто-нибудь. Человек в шинели и дымчатых очках. Приставляет к твоему виску пистолет и говорит: «Идет дождь или нет? Ты всего лишь должен сказать правду, и тогда я уберу пушку и улечу отсюда первым же рейсом».

– Какая правда ему нужна? Правда какого-нибудь типа, летающего по другой галактике почти со скоростью света? Или правда того, кто движется по орбите вокруг нейтронной звезды? Возможно, сумей эти существа увидеть нас в телескоп, им показалось бы, что наш рост – шестьдесят пять сантиметров и что дождь идет не сегодня, а вчера.

– Он же к *твоему* виску пистолет приставил. Ему нужна твоя правда.

– Да какой смысл в моей правде? Моя правда ничего не значит. Что если этот парень с пушкой родом с планеты совсем в другой солнечной системе? То, что мы зовем дождем, он называет мылом. То, что мы зовем яблоками, он называет дождем. Что же я в таком случае должен ему сказать?

– Его зовут Фрэнк Дж. Смолли, и родом он из Сент-Луиса.

– Он хочет знать, идет ли дождь сейчас, в данную минуту?

– Здесь и сейчас. Совершенно верно.

– А существует ли такое понятие как «сейчас»? «Сейчас» настает и проходит, едва успеешь произнести это слово. Как я могу утверждать, что сейчас идет дождь, если стоит мне об этом сказать, и так называемое «сейчас» превратится в «тогда»?

– Ты же сам сказал, что не существует ни прошлого, ни настоящего, ни будущего.

– Они есть только в наших глаголах. Больше нигде мы их не найдем.

– Дождь – существительное. Так идет ли дождь здесь, в этом самом месте, в момент времени, растянутый на ближайшие две минуты, в течение которых ты соблаговолишь ответить на вопрос?

– Если ты намерен говорить об этом самом месте, сидя в автомобиле, который явно движется, тогда именно это, по-моему,

и мешает нам вести дискуссию.

– Просто ответь на вопрос, ладно, Генрих?

– Самое большее, что я могу сделать, – высказать предположение.

– Либо дождь идет, либо нет, – сказал я.

– Вот именно. К этому я и клоню. Приходится строить догадки. А в результате – что в лоб, что по лбу.

– Но ты же видишь, что дождь идет.

– А ты видишь, что солнце движется по небу. Но движется ли солнце по небу на самом деле, или это земля вращается?

– Эта аналогия не годится.

– Ты так уверен, что это дождь. Откуда ты знаешь, что это не серная кислота с заводов на другом берегу реки? Откуда ты знаешь, что это не радиоактивные осадки от какой-нибудь войны в Китае? Ты хочешь получить ответ здесь и сейчас. А ты сумеешь доказать – причем здесь и сейчас, – что это именно дождь? Откуда мне знать: может, то, что ты называешь дождем, на самом деле – вовсе не дождь. Да и вообще – что такое дождь?

– Это то, что льется с неба и от чего ты становишься, что называется, мокрым.

– Я не мокрый. А ты?

– Отлично, – сказал я. – Достаточно.

– Нет, серьезно, ты мокрый?

– Превосходно! – сказал я ему. – Торжество неопределенности, сумбура и хаоса. Звездный час науки.

– Издевайся, издевайся.

– Софисты и казуисты переживают свой звездный час.

– Давай, издевайся, мне все равно.

Родительница Генриха нынче живет в ашраме. Взяв себе имя Мать Деви, она занимается коммерческой стороной дела. Ашрам расположен на окраине Табба, штат Монтана, бывшего городка медеплавильщиков, именуемого теперь Дхарамсалапур. Как обычно, ходят слухи о сексуальной свободе, сексуальном рабстве, наркотиках, нудизме, промывке мозгов, скверной гигиене, уклонении от уплаты налогов, культе обезьян, пытках, долгой и мучительной смерти.

Я смотрел, как Генрих под проливным дождем идет к дверям школы. Движения его были нарочито замедленными, а ярдов за десять до входа он снял свою камуфляжную кепку. В такие минуты во мне просыпается животное чувство безоглядной любви, желание набросить на него свой пиджак, крепко прижать к груди и ни на шаг от себя не отпускать, защищать его. Похоже, он притягивает к себе опасность – она носится в воздухе, следует за Генрихом по пятам из комнаты в комнату. Бабетта печет его

любимое печенье. Мы смотрим, как он сидит за своим некрашеным письменным столом, заваленным книгами и журналами. Он трудится до глубокой ночи, обдумывая ходы в шахматной партии, которую играет по переписке с убийцей, сидящим в тюрьме.

Следующий день выдался теплым и светлым, и студенты Колледжа-на-Холме сидели на газонах и в окнах общежития, слушали свои магнитофоны и принимали солнечные ванны. В воздухе витают грустные проводы лета, истома последнего дня, когда можно еще разок пройтись босиком и вдохнуть запах скошенного клевера. Я вошел в «Дуплекс Искусств», наше новейшее здание, цепляющее облака сооружение цвета морской волны, с фасадом из анодированного алюминия и флигелями. На первом этаже располагался кинозал, помещение с наклонным полом, застланным темными коврами, и с двумя сотнями плюшевых кресел. Я сел на слабо освещенное крайнее место в первом ряду и стал дожидаться своих старшекурсников.

Все они специализировались по Гитлеру, входили в единственную группу, которой я еще преподавал, три часа в неделю вел занятия по истории нацизма, рассчитанные только на продвинутых студентов последнего курса и имевшие целью глубокое проникновение – с исторической точки зрения и на строго научной основе – в сущность неослабевающего массового влечения к фашистской тирании, с особым акцентом на парадах, митингах и мундирах; три зачета, письменные работы.

В каждом семестре я устраивал просмотр учебного киноматериала: пропагандистских фильмов, кадров партийных съездов, фрагментов мистических киноэпопей с парадами альпинистов и гимнастов. Из всего этого я смонтировал восемьдесят минут импрессионистской документалки. В ней преобладали массовые сцены. Крупные планы, дрожащие кадры: тысячи людей выходят со стадиона после выступления Геббельса, люди собираются в толпы, прорываются сквозь движущийся транспорт. Залы, увешанные флагами со свастикой, похоронные венки, знаки различия с черепом и костями. Стройные многотысячные шеренги знаменосцев перед неподвижными вертикальными лучами ста тридцати зенитных прожекторов – геометрическая похоть, официозная партитура мощного массового желания. Дикторского голоса не было. Только лозунги, песни, арии, речи, выкрики, аплодисменты, обвинения, вопли.

Я поднялся, встал перед центральным проходом между рядами и повернулся лицом к входной двери.

Они появились в залитом солнцем дверном проеме – вошли в своих шортах и майках с номерами, в своих немнущихся

рубашках, своих водолазках и полосатых футболках. Пока они занимали места, я обратил внимание на их затаенное благоговение, неопределенное ожидание. У одних были тетради и маленькие фонарики, другие принесли конспекты лекций в ярких папках. Один за другим студенты усаживались, со стуком опуская сиденья, перешептываясь и шелестя бумагами. Я прислонился к краю авансцены, дожидаясь, когда войдут последние несколько человек и кто-нибудь плотно закроет двери, чтобы оградить нас от соблазнов жаркого летнего дня.

Вскоре наступило молчание. Пора произносить вступительное слово. Дождавшись, когда тишина на минуту сделалась более напряженной, я, чтобы легче было жестикулировать, высвободил руки из складок профессорской мантии.

После просмотра кто-то задал вопрос о заговоре с целью убийства Гитлера. В завязавшейся дискуссии зашла речь о заговорах вообще. Неожиданно для себя я сказал собравшемуся поголовью:

– Целью всех заговоров, как правило, является смерть. Такова сущность заговоров. Политических, террористических, тех интриг, что плетут влюбленные, сюжетных интриг в художественной прозе, интриг, составляющих часть детских игр. Мы понемногу приближаемся к смерти всякий раз, когда плетем интриги. Это сродни договору, который должны подписать все – как заговорщики, так и те, кому предстоит стать мишенями заговора.

Неужели это правда? Зачем я это сказал? Что это значит?

7

Дважды в неделю, по вечерам, Бабетта ходит в расположенную на другом конце города конгрегационалистскую церковь и там, в подвале, читает взрослым людям лекции по исправлению осанки. В основном, учит их правильно стоять, сидеть и ходить. Большинство ее слушателей – люди преклонного возраста. Непонятно, зачем им вообще улучшать свою осанку. Похоже, мы верим, что если по всем правилам заботиться о своем внешнем виде, можно отдалить смертный час. Иногда я хожу в церковный подвал вместе с женой и смотрю, как она стоит, поворачивается, принимает разнообразные изящные позы, грациозно жестикулирует. Она рассказывает о йоге, кендо, о состоянии транса. Упоминает о дервишах-суфистах, об альпинистах-шерпах. Старики слушают и кивают. Все имеет отношение к делу, почти все берется на вооружение. Меня неизменно удивляют их доверчивость и благосклонность, их трогательная убежденность. В своем стремлении избавиться от неправильной осанки, всю жизнь уродовавшей их тела, они почти ничего не подвергают сомнению, стараются все обратить себе на пользу. Это конец скептицизма.

Домой мы возвращались при луне, похожей на ярко-желтый цветок. Наш дом в конце улицы казался развалюхой. Свет с веранды падал на трехколесный велосипед из гнутого пластика, на штабель парафиновых поленьев, что способны три часа гореть разноцветным пламенем. На кухне Девиза учила уроки, не спуская глаз с Уайлдера, который приплелся вниз, только чтобы сесть на пол и уставиться в окошко духовки. Тишина в коридорах, тени на покатом газоне. Мы закрыли дверь и разделись. На кровати – кавардак. Журналы, карнизы для занавесок, запачканный сажей детский носок. Ставя карнизы в угол, Бабетта мурлыкала песенку из какого-то бродвейского мюзикла. Мы обнялись, осторожно, боком повалились на кровать, потом легли поудобнее, окунаясь в плоть друг друга и пытаясь сбросить запутавшиеся в ногах простыни. На теле Бабетты имелись продолговатые углубления, места, где рука могла остановиться и исчезнуть во тьме, места, благодаря которым замедлялся темп.

Нам казалось, что в подвале кто-то обитает.

– Чем хочешь заняться? – спросила Бабетта.

– Всем, чем хочешь ты.

– Я хочу заняться тем, что нравится тебе больше всего.

– Больше всего мне нравится угождать тебе, – сказал я.

– Мне хочется сделать тебя счастливым, Джек.

– Я счастлив, когда тебе угождаю.

– Я хочу делать только то, чего хочешь ты.

– А я – то, что нравится больше всего тебе.

– Но ты угождаешь мне уже тем, что позволяешь угодить тебе, – сказала она.

– Как партнер мужского пола я считаю, что угождать – моя обязанность.

– Даже не знаю, что и думать: то ли это свидетельство заботы и чуткости, то ли речи сексиста.

– Разве мужчина не должен быть внимательным к своей партнерше?

– Твоей партнершей я бываю, когда мы играем в теннис, чем, кстати, неплохо бы снова заняться. В других отношениях я – твоя жена. Хочешь, я тебе почитаю?

– Первый сорт.

– Ты же любишь, когда я читаю какую-нибудь эротическую чепуху.

– Я думал, тебе тоже нравится.

– По-моему, чтение вслух приносит пользу и доставляет удовольствие главным образом слушателю. Разве не так? Старику Тридуэллу я читаю отнюдь не потому, что меня возбуждают эти бульварные газетенки.

– Тридуэлл слепой, а я – нет. Я думал, тебе нравится читать эротические отрывки.

– Если ты получаешь от этого удовольствие, тогда нравится.

– Но это должно доставлять удовольствие и тебе, Баб. Каково было бы в противном случае мне?

– Мне доставляет удовольствие то, что ты наслаждаешься моим чтением.

– У меня такое чувство, будто мы по очереди взваливаем друг на друга некое бремя. Бремя человека, которому угождают.

– Я хочу почитать тебе, Джек. Честное слово.

– Ты совершенно уверена, на все сто? Если нет, давай лучше не будем.

В конце коридора кто-то включил телевизор, и женский голос произнес: «Если его можно без труда разбить на куски, он называется глинистым сланцем. Когда намокнет, он пахнет глиной».

Мы слушали, как тихо движется под гору ночной поток машин.

– Эпоху выбери сама, – сказал я. – Не хочешь почитать об этрусских невольницах, о грузинских распутницах? По-моему, у нас есть литература о публичных домах, где практиковалось бичевание. А как насчет средних веков? У нас есть что-то про

инкубов и суккубов. Про монашек в ассортименте.

– Все, что пожелаешь.

– Лучше ты выбери. Так будет сексуальнее.

– Один выбирает, другой читает. Разве мы не добиваемся равновесия, какого-то компромисса? Разве не взаимные уступки делают все это сексуальным?

– Неопределенность, напряженное ожидание. Первый сорт. Я выберу сам.

– А я прочту, – сказала она. – Только смотри, не выбери что-нибудь про мужчин внутри женщин, цитата, или про мужчин, входящих в женщин. «Я вошел в нее». «Он вошел в меня». Мы же не вестибюли и не лифты. «Я хотела, чтобы он оказался внутри меня», – как будто он мог бы целиком вползти внутрь, зарегистрироваться у портье, поспать, поесть и так далее. Можем мы об этом договориться? Мне все равно, чем занимаются эти люди, лишь бы ни они не входили, ни в них.

– Договорились.

– «Я вошел в нее и начал совершать толчки».

– Полностью согласен, – сказал я.

– «Войди в меня, войди в меня, да, да!»

– Идиотское словоупотребление, абсолютно нелепое.

– «Введи себя, Рекс. Я хочу, чтобы ты был внутри меня, чтобы вошел энергично, вошел глубоко, да, вот так, о-о!»

Я почувствовал первые признаки эрекции. Как глупо, совсем не вяжется с контекстом. Бабетту рассмешили ее же слова. По телевизору сказали: «До тех пор, пока флоридские хирурги не вставили искусственный плавник».

Мы с Бабеттой ничего не скрываем друг от друга. Я рассказываю ей обо всем так же, как в свое время – каждой из жен. Разумеется, по мере того, как растет количество браков, рассказывать приходится все больше. Однако, утверждая, что придаю большое значение раскрытию всех секретов, я не имею в виду такие пустяки, как пикантные подробности или дешевые разоблачения. Это особая форма духовного обновления и знак доверительности в отношениях. Любовь способствует развитию личности, достаточно стойкой, чтобы позволить себе оставаться на попечении и под защитой другого человека. Мыс Бабеттой предлагаем наши жизни заинтересованному вниманию друг друга, вертим их при свете луны в своих бледных руках, говорим до поздней ночи об отцах и матерях, о детстве, друзьях, пробуждении чувств, о бывших возлюбленных и давних страхах (за исключением страха смерти). Нельзя опустить ни единой подробности – должны быть упомянуты даже собака, которую донимали клещи, или соседский мальчишка, на спор слопавший

какое-то насекомое. Запах кладовок с провизией, послеполуденная опустошенность, масса новых впечатлений, новых фактов и страстей, боль, утрата, разочарование, безмерный восторг. В этих пространных ночных рассказах мы оставляем промежутки между тогдашним восприятием явлений и нынешним их описанием. Это места, зарезервированные для иронии, сочувствия и доверчивой радости – средств нашего избавления от прошлого.

Свой выбор я остановил на двадцатом столетии. Надев халат, пошел по коридору в комнату Генриха за похабным журнальчиком, в котором Бабетта могла бы отыскать что-нибудь подходящее для чтения, – в изданиях такого сорта публикуются послания читателей, подробно описывающих свой сексуальный опыт. По-моему, это один из немногих примеров вклада современной фантазии в историю эротики. В подобных письмах заключена двойная игра воображения. Люди облекают вымышленные эпизоды в письменную форму, а потом видят все это в журнале, который читает вся страна. Что возбуждает больше?

В комнате Уайлдер смотрел, как Генрих производит физический опыт со стальными шариками и салатницей. Генрих был в махровом халате. Шею он обмотал одним полотенцем, голову – другим. Велел мне поискать внизу.

В куче тряпок я обнаружил семейные альбомы, некоторые – пятидесятилетней давности. Я принес их в спальню. Несколько часов, сидя в постели, мы разглядывали снимки. Дети морщатся на солнышке, как от боли, женщины в широкополых шляпах от солнца; мужчины заслоняют глаза от яркого сияния так, словно в прошлом свет обладал неким качеством, которого мы больше не замечаем, воскресным слепящим блеском, что вынуждал принарядившихся перед церковной службой людей судорожно кривить лица и стоять несколько вполоборота к будущему с застывшими натянутыми улыбками: в ящике фотоаппарата им явно что-то не нравится.

Кто умрет раньше?

8

Моя борьба с немецким языком началась в середине октября и продолжалась почти весь учебный год. Как самый крупный в Северной Америке специалист по Гитлеру, я долго пытался скрыть тот факт, что не знаю немецкого. Я не умел ни говорить, ни читать, не понимал ни слова из услышанного, не мог даже записать простейшее предложение. Считанное количество моих коллег-гитлероведов хорошо владели немецким, другие либо бегло говорили, либо неплохо понимали устную речь. Ни один студент Колледжа-на-Холме не мог выбрать своим основным предметом науку о Гитлере, не посвятив по меньшей мере год изучению немецкого. Короче говоря, я жил на грани неслыханного позора.

Немецкий язык. Грубый, изломанный, злобный, напыщенный и безжалостный. Так или иначе, с ним приходилось сталкиваться всем. Разве не потуги самого Гитлера объясниться по-немецки были ключевым подтекстом его огромной демагогической автобиографии, надиктованной в крепости-тюрьме среди холмов Баварии? Грамматика и синтаксис. Вероятно, этот парень чувствовал, что лишен свободы не только в прямом смысле.

Я предпринял несколько попыток выучить немецкий – серьезных исследований происхождения и строя языка, его корней. Я почувствовал его смертоносную мощь. Мне хотелось хорошо говорить по-немецки, употреблять немецкие фразы как заклинание, как защиту. Чем чаще я увиливал от изучения современной речи, правил и произношения, тем важнее казалось дальнейшее продвижение вперед. То, к чему мы прикасаемся с неохотой, нередко кажется единственным средством нашего спасения. Но я потерпел поражение в борьбе с основными звуками, с непривычней нордической резкостью слогов и слов, с властной манерой говорить. Между задней частью языка и нёбом у меня творилось нечто непонятное, отчего все мои попытки произносить немецкие слова оказывались бесплодными.

Я был полон решимости попробовать еще раз.

Поскольку я достиг высокого профессионального статуса, поскольку мои лекции отличались хорошей посещаемостью, а мои статьи публиковались в авторитетных журналах, поскольку, находясь на территории колледжа, я всегда носил профессорскую мантию и темные очки, поскольку во мне было двести тридцать фунтов при росте в шесть футов три дюйма, больших ручищах и большом размере ноги, я понимал, что мои уроки немецкого придется хранить в тайне.

Я обратился к человеку, не имевшему отношения к колледжу, – к тому типу, о котором рассказывал Марри Джей Зискинд. Они вместе квартировали и столовались в обшитом зеленой дранкой доме на Мидлбрук. Парню было за пятьдесят, и при ходьбе он пошаркивал ногами. У него были редеющие волосы и льстивая физиономия, а рукава рубашки он закатывал так, что виднелось теплое нижнее белье.

В цвете его лица преобладал оттенок, который я назвал бы телесным. Звали его Говард Данлоп. Он сказал, что раньше был хиропрактиком, но не объяснил, почему оставил это занятие, и ни словом не обмолвился о том, когда и зачем выучил немецкий, впрочем, что-то в его манере помешало мне спросить.

Мы сидели в пансионе, в его тесной темной комнатке. У окна стояла гладильная доска на ножках. На туалетном столике громоздились обшарпанные эмалированные кастрюли и подносы с посудой. Мебель шаткая, сиротская. Самые необходимые предметы обстановки располагались возле стен: открытая батарея отопления, раскладушка, застланная тонким шерстяным одеялом. Данлоп сидел на краешке стула с прямой спинкой и нараспев читал общие места из учебника грамматики. Когда он переходил с английского на немецкий, казалось, у него в гортани повреждена какая-то связка. В голосе внезапно появлялись нотки душевного волнения, слышались бульканье и скрип, звучавшие так, словно в каком-то звере пробуждалось властолюбие. Он таращил на меня глаза и жестикулировал, он хрипел, он был на грани смерти от удушья. Звуки он исторгал из-под основания языка, резкие выкрики, пропитанные страстью. Данлоп всего-навсего демонстрировал некоторые особенности произношения, однако, судя по изменениям в его лице и голосе, можно было подумать, что он совершает переход на иной уровень бытия.

Я сидел и кое-что записывал.

Час прошел быстро. В ответ на мою просьбу никому не говорить о наших занятиях Данлоп лишь едва заметно пожал плечами. Мне пришло в голову, что в краткой характеристике, данной Марри соседям по пансиону, именно этот тип фигурирует как мужчина, который никогда не выходит из своей комнаты.

Я заглянул к Марри и пригласил его к нам на обед. Он тотчас отложил экземпляр «Американского трансвестита» и надел свой вельветовый пиджак. Когда мы вышли на веранду, Марри успел поведать сидевшему там хозяину пансиона о неисправном кране в ванной на втором этаже. Хозяин, дюжий краснощекий мужик, отличался таким крепким и несокрушимым здоровьем, что казалось, будто он прямо у нас на глазах переносит сердечный приступ.

– В конце концов он кран починит, – говорил Марри, пока мы шли к Элм-стрит. – Рано или поздно он чинит все. Он весьма умело обращается со всеми теми маленькими инструментами, принадлежностями и устройствами, о которых никогда не слыхали жители больших городов. Названия этих штуковин известны разве что в отдаленных поселениях, небольших городках да в сельской местности. Жаль только, что он такой расист.

– Откуда вы знаете, что он расист?

– Люди, которые умеют чинить сломанные вещи, как правило – расисты.

– Что вы имеете в виду?

– Вспомните всех, кто когда-либо приходил к вам домой что-то чинить. Они ведь все были расистами, правда?

– Не знаю.

– Они приезжали на маленьких грузовичках с раздвижной лестницей на крыше и каким-нибудь пластмассовым амулетом на зеркальце заднего вида – так ведь?

– Не знаю, Марри.

– Это же очевидно, – сказал он.

Он спросил, почему я решил выучить немецкий именно в этом году – я же столько лет выходил сухим из воды. Я объяснил, что будущей весной в Колледже-на-Холме должна состояться конференция по Гитлеру. Три дня лекций, семинаров и заседаний. Специалисты по Гитлеру из семнадцати штатов и девяти зарубежных стран, в том числе – настоящие немцы.

Дома Дениза сунула в кухонный пресс влажный мешок с мусором и включила агрегат. Плунжер начал опускаться со страшным скрежетом, от которого стыла в жилах кровь. Входили и выходили дети, капала в раковину вода, на самом проходе покачивалась, дребезжа, стиральная машина. Казалось, эти преходящие обстоятельства поглотили все внимание Марри. Жалобный вой металла, лопающиеся бутылки, расплющенная пластмасса. Дениза внимательно слушала, желая удостовериться, что в этом оглушительном шуме содержатся все необходимые акустические элементы, а значит, машина работает должным образом. Генрих говорил с кем-то по телефону:

– У животных инцест весьма распространен. Выходит, его никак не назовешь противоестественным!

Вернулась с пробежки Бабетта, промокшая до нитки. Марри, пройдя через всю кухню, пожал ей руку. Она тяжело опустилась на стул и стала взглядом искать Уайлдера. Дениза явно проводила в уме сравнение между спортивным костюмом своей

матери и мокрым мешком, который она загрузила в пресс. Эта издевательская связь читалась в ее глазах. Именно такие дополнительные уровни существования, экстрасенсорные озарения и изменчивые нюансы бытия, такие неожиданно возникающие очаги взаимопонимания вселяли в меня веру, что вся наша семья – и взрослые, и дети – это труппа иллюзионистов, способных творить необъяснимые вещи.

– Мы должны кипятить воду, – сказала Стеффи.

– Зачем?

– Так сказали по радио.

– Они всегда велят воду кипятить, – сказала Бабетта. – Новое поветрие, вроде совета поворачивать руль в ту сторону, куда заносит машину. А вот, наконец, и Уайлдер. Думаю, можно поесть.

Малыш вошел развалистой походкой, качая большой головой, а его мать принялась радостно гримасничать, корчить счастливые и диковинные рожи.

– Нейтрино проникают прямо сквозь землю, – сказал Генрих в телефонную трубку.

– Да-да-да, – сказала Бабетта.

9

Во вторник пришлось эвакуировать начальную школу. У детей начались головные боли и воспалились глаза, появился металлический привкус во рту. Один учитель принялся кататься по полу и говорить на иностранных языках. Никто понятия не имел, что стряслось. По словам тех, кто проводил расследование, дело, возможно, было в системе вентиляции, в краске или лаке, в пенопластовой изоляции, в электрообмотке, в пище из школьной столовой, в излучении миникомпьютеров, в огнеупорном асбестовом покрытии, в клее на коробках, в испарениях хлорированного бассейна, а может, и в чем-то более таинственном, с более тонкой структурой, более прочно вплетенном в саму основу положения вещей.

Всю неделю Дениза и Стеффи сидели дома, а люди в респираторах и защитных костюмах из милекса методично обследовали здание школы инфракрасными детекторами и измерительными приборами. Ввиду того, что и сам милекс – материал подозрительный, результаты не внушали особого доверия, и пришлось запланировать повторное, более тщательное обследование.

Мы с Бабеттой, обеими девочками и Уайлдером направились в супермаркет. Едва успев войти, столкнулись с Марри. В супермаркете я его встречал уже четыре или пять раз – то есть, там с ним виделся примерно так же часто, как на территории колледжа. Он схватил Бабетту за левый локоть и бочком обошел вокруг, словно вдыхая запах ее волос.

– Восхитительный обед, – сказал он. – Я и сам стряпать люблю, что удваивает мою признательность к тем, кто прекрасно готовит.

– Милости просим в любое время, – сказала она, пытаясь повернуться к нему лицом.

Мы вместе двинулись вглубь магазина, откуда веяло прохладой. Уайлдер сидел в тележке для покупок и по дороге пытался хватать с полок товар. Мне пришло в голову, что он уже слишком большой и слишком взрослый, чтобы кататься в магазинных тележках. При этом интересно, почему его словарный запас до сих пор ограничивается двадцатью пятью словами.

– Мне здесь очень хорошо, – сказал Марри.

– В Блэксмите?

– В Блэксмите, в супермаркете, в пансионе, на Холме. Мне кажется, я каждый день узнаю нечто важное. О смерти и болезнях, о загробной жизни и космическом пространстве. Здесь все это

видится гораздо яснее. Я могу размышлять и наблюдать.

Мы вошли в отдел продуктов общего типа, где Марри остановился со своей пластмассовой корзинкой и принялся рыться в куче белых банок и коробок. Я не совсем понял, о чем он толковал. Что именно, по его мнению, видится гораздо яснее? О чем он может размышлять, за чем наблюдать?

Стеффи взяла меня за руку, и мы пошли мимо ларей с фруктами, рядами тянувшихся футов на сорок пять вдоль стены. Лари стояли по диагонали, и на их зеркальные задние стенки то и дело натыкались руками покупатели, пытавшиеся достать фрукты из верхних рядов. По радио объявили: «"Клинекс Софтик", ваш грузовик загораживает вход». Когда кто-нибудь брал из определенного места в кучке плод, оттуда падали на пол два-три яблока или лимона, шесть сортов яблок, экзотические дыни нескольких пастельных тонов. Казалось, все только что поспели, их обрызгали водой и до блеска начистили. Люди срывали с крючков тонкие целлофановые пакеты и пытались понять, с какого конца они открываются. До меня дошло, что весь магазин буквально тонет в шуме, оглашается монотонным гудением труб, дребезжанием и звяканьем тележек, звуками громкоговорителя, жужжанием кофемолок, детскими криками. А на фоне всего этого – или в качестве фона – приглушенный, неведомо откуда доносящийся рев, словно где-то непосредственно за пределами человеческого понимания роится некая форма жизни.

– Ты извинилась перед Денизой?

– Потом, наверно, извинюсь, – сказала Стеффи. – Напомни.

– Она милая девочка, ей хочется стать твоей старшей сестрой и, если позволишь, подругой.

– Насчет подруги не знаю. Тебе не кажется, что она любит командовать?

– Ты не только извинись, но и верни ей «Настольный справочник терапевта».

– Она все время эту книжку читает. Тебе это не кажется странным?

– По крайней мере, она хоть что-то читает.

– Нуда, списки наркотиков и лекарств. А хочешь знать, почему?

– Почему?

– Потому что пытается выяснить, каковы побочные эффекты у той дряни, которую глотает Баб.

– А что глотает Баб?

– Почем я знаю? У Денизы спроси.

– Откуда ты знаешь, что она что-то глотает?

– Спроси у Денизы.

– А почему бы у Баб не спросить?

– Спроси у Баб, – сказала она.

Марри вышел из прохода между полками и пошел рядом с Бабеттой, прямо перед нами. Взял из ее тележки двойной рулон бумажных полотенец и понюхал. Девиза встретила подружек, и они направились к высокому шаткому стеллажу с макулатурой у выхода – книжонки с названиями, напечатанными рельефным шрифтом, отливающим металлическим блеском, с яркими символами возведенного в культ насилия и бурных любовных страстей. На голове у Девизы был зеленый козырек. Я услышал, как Бабетта рассказывает Марри: Дениза вот уже три недели носит козырек по четырнадцать часов в сутки. Без него не выходит из дома и даже отказывается покидать свою комнату. Не снимала его ни в школе, пока не отменили занятия, ни в туалете, ни в кресле стоматолога, ни за обеденным столом. Похоже, нечто в этом козырьке благотворно воздействует на нее, предлагает обрести цельность и самое себя.

– Это связующее звено между нею и окружающим миром, – сказал Марри. Он помогал Бабетте толкать ее груженую тележку. Я услышал, как он говорит:

– Тибетцы верят, что существует некое промежуточное состояние между смертью и вторым рождением. Смерть – это, по существу, период ожидания. Вскоре вместилищем души становится новое чрево. В это время душа вновь в какой-то степени обретает божественность, утрачиваемую при рождении. – Он принялся изучать профиль Бабетты, словно пытаясь обнаружить какую-то реакцию. – Вот об этом я и размышляю всякий раз, как прихожу сюда. Это место духовно заряжает нас, подготавливает, это врата, начало пути. Смотрите, как светло. Здесь полным-полно экстрасенсорных данных.

Жена улыбнулась ему.

– Все завуалировано символикой, окутано тайной и скрыто под пластами культурных факторов. Но все это – экстрасенсорные данные, без сомнения. Большие двери плавно открываются и закрываются сами собой. Волны энергии, характерное излучение. Здесь есть все буквы и числа, все цвета спектра, все голоса и звуки, все кодовые слова и ритуальные фразы. Вопрос лишь в расшифровке, приведении в порядок, очищении от наслоений невыразимости. Впрочем, едва ли мы этого захотим, да и едва ли это послужит какой-либо полезной цели. У нас все-таки не Тибет. Да и сам Тибет уже давно не тот.

Он изучал ее профиль. Она положила в тележку какой-то йогурт.

– Тибетцы стараются воспринимать смерть такой, какая она

есть. А смерть есть конец привязанности к вещам. Постигнуть эту простую истину нелегко. Но стоит нам перестать отрицать смерть, как мы сможем спокойно умирать себе дальше, а затем и пережить второе рождение, вновь появившись на свет из материнского чрева, или оказаться в иудео-христианском загробном мире, или обрести опыт внетелесного существования, или отправиться в путешествие на НЛО – и так далее, называйте как угодно. Мы сумеем совершить этот переход, ясно видя образ будущего, не испытывая ни благоговения, ни страха. Нам не придется из последних сил цепляться за жизнь, как, впрочем, и за смерть. Мы просто пойдем к плавно открывающимся дверям. Смотрите, как ярко все освещено. Это место изолировано, автономно. Оно вне времени. Еще и поэтому я размышляю о Тибете. Там смерть – это искусство. Входит священник, садится, прогоняет плачущих родственников и велит изолировать помещение, плотно закрыть двери, окна. Ему предстоит позаботиться о важном деле. Песнопения, нумерология, гороскопы, декламация. Здесь мы не умираем – мы делаем покупки. Но разница менее заметна, чем вы думаете.

Он уже понизил голос почти до шепота, и я попытался подойти поближе так, чтобы не столкнулись наши с Бабеттой тележки. Я хотел услышать все.

– Такие большие, чистые, современные супермаркеты для меня – просто откровение. Я всю жизнь ходил в допотопные маленькие магазинчики с застекленными горками, уставленными подносами, на которых лежало нечто бледных расцветок, мягкое, мокрое и комковатое, с такими высокими прилавками, что, заказывая продукты, приходилось стоять на цыпочках. Крики, акценты. В больших городах никто не обращает внимания на неотвратимую смерть. Смерть – одно из свойств атмосферы. Она повсюду и в то же время ее нет нигде. Умирая, люди кричат, чтобы их заметили, запомнили хоть на пару секунд. Смерть в квартире, а не в отдельном собственном доме, способна, по-моему, тяготить душу еще несколько последующих жизней. В маленьком городке есть дома, есть растения на подоконниках эркеров. Люди уделяют смерти больше внимания. У покойников есть лица, автомобили. Если вы не знаете имени, то знаете название улицы, кличку собаки. «Он ездил на оранжевой "мазде"». Вам известны о человеке какие-то бесполезные сведения – они становятся важнейшими данными для установления личности и определения ее места в космосе, когда человек внезапно умирает после недолгой болезни: в своей постели, лежа на подушках в тон стеганому одеялу, в среду, в дождливый день, с высокой температурой и небольшой гиперемией в пазухах и груди, думая

об отданной в химчистку одежде.

– А где Уайлдер? – спросила Бабетта и, обернувшись, устремила на меня взгляд, означавший, что с того момента, как она видела малыша в последний раз, прошло минут десять. Другие взгляды, не столь грустные и виноватые, свидетельствовали о более длительных промежутках времени и более глубоких безднах рассеянности. К примеру: *«А я и не знала, что киты – млекопитающие».* Чем больше промежуток времени, чем бессмысленнее взгляд, тем опаснее положение, будто чувство вины – роскошь, которую она позволяет себе, только если опасность минимальна.

– Как же ему удалось выбраться из тележки, а я не заметила?

Трое взрослых встали в начале проходов и вгляделись в поток плавно движущихся тел с тележками. Потом мы заглянули еще в три прохода, вытягивая шеи и слегка покачиваясь, чтобы улучшить обзор. Справа я то и дело видел цветные пятнышки, но когда поворачивал голову, они исчезали. Цветные пятнышки я видел уже много лет, но в таком большом количестве, такими пестрыми и подвижными – еще никогда. Марри обнаружил Уайлдера в тележке другой женщины. Женщина помахала рукой Бабетте и направилась к нам. Она жила на нашей улице с дочерью-подростком и младенцем-азиатом по имени Чон Дук. Все называли младенца по имени чуть ли не тоном гордых собственников, но никто не знал, ни чей Чон ребенок, ни откуда он или она взялось.

– «Клинекс Софтйк», «Клинекс Софтйк»!

Стеффи держала меня за руку не как ласковая собственница, а так – что дошло до меня не сразу, – словно желала подбодрить. Я слегка удивился. Крепко сжимая мою руку, она хотела помочь мне вновь обрести уверенность в себе, хотела избавить меня от приступов меланхолии, которые, по ее мнению, постоянно угрожали моей персоне.

Прежде чем направиться к экспресс-кассе, Марри пригласил нас на обед – на будущей неделе, в субботу.

– Ответ можете дать хоть в последнюю минуту.

– Мы придем, – сказала Бабетта.

– Я ничего особенного не готовлю, поэтому просто позвоните заранее и сообщите, не изменились ли ваши планы. Впрочем, даже звонить не обязательно. Если вы не придете, я пойму, что планы изменились и вам не удалось меня предупредить.

– Марри, мы придем.

– Приводите детей.

– Нет.

– Отлично. Но если вдруг решите их привести, ничего

страшного. Не хочу, чтобы вы подумали, будто я вас в чем-то ограничиваю. Не считайте, что связали себя жесткими обязательствами. Либо вы придете, либо нет. Я в любом случае должен есть, так что если планы изменятся, и вам придется отказаться от обещания, особой катастрофы не случится. Просто не забудьте, что если вы решите заглянуть на огонек, с детьми или без них, я буду у себя. У нас еще есть время до мая или июня, так что в будущей субботе нет никакой мистики.

– А на следующий семестр вернетесь? – спросил я.

– Меня просят прочесть курс лекций о кинематографе автокатастроф.

– Так прочтите.

– Непременно.

В очереди к кассе я потерся о Бабетту. Она прижалась ко мне спиной, а я обнял ее и положил руки ей на грудь. Она крутнула бедрами, а я понюхал ее волосы и прошептал: «Грязная блондинка». Покупатели выписывали чеки, рослые парни укладывали товары в пакеты. У касс, у ларей с фруктами и полок с замороженными продуктами, среди машин на стоянке не все говорили по-английски. Все чаще и чаще я слышал разговоры на языках, которых не мог опознать, а понять – и подавно, хотя высокие парни были коренными американцами, как и кассирши, низкорослые толстушки в синих блузках, эластичных брюках и крошечных белых эспадрильях. Пока очередь медленно продвигалась вперед, приближаясь к последней полке с товарами – мятными освежителями дыхания и ингаляторами от насморка, – я попытался втиснуть руки Бабетте под юбку и обхватить ее живот.

Именно на автостоянке у супермаркета мы впервые услыхали о том, что во время осмотра начальной школы погиб человек – один из тех, в респираторах и костюмах из милекса, обутых в тяжелые ботинки, неуклюжих. По слухам, упал и умер в классе на втором этаже.

10

Плата за обучение в Колледже-на-Холме, включая плотный воскресный завтрак, составляет четырнадцать тысяч долларов. По-моему, есть какая-то связь между этой кругленькой суммой и тем, что студенты проделывают со своими телами в читальных залах библиотеки. Они сидят на широких мягких скамейках в разнообразных неловких позах, явно рассчитанных на то, чтобы играть роль опознавательных знаков некой сплоченной группы или тайной организации. Сидят, то сжавшись в комок, то расправив плечи и широко расставив ноги, то подвернув колени внутрь, то изогнувшись дугой, то чуть ли не завязавшись морским узлом, а то и почти вверх ногами. Позы эти столь нарочиты, что вполне сгодились бы для классической пантомимы. Во всем – элемент избранничества и чрезмерной утонченности. Порою кажется, будто меня занесло в какой-то восточный сон, слишком смутный для истолкования. Однако общаются они только на языке курса экономики, на одной из доступных, убогих разновидностей этого языка, принятой в обществе людей, которые съезжаются в начале учебного года на «универсалах».

Дениза смотрела, как ее мать снимает целлофановую ленточку с бесплатной пачки из шестнадцати пластиков жевательной резинки в отдельных обертках. Вновь обратившись к записным книжкам, лежавшим перед ней на письменном столе, она прищурилась. Лицо одиннадцатилетней девочки превратилось в маску умело сдерживаемого раздражения.

Выждав долгую минуту, она спокойно сказала:

– Да будет тебе известно: от этой гадости лабораторные животные заболевают раком.

– Ты же сама хотела, чтобы я жевала резинку без сахара, Дениза. Это была твоя идея.

– Тогда на пачке не было предупреждения. Теперь предупреждение напечатали, и мне будет трудно поверить, что ты его не заметила.

Она переписывала имена и телефоны из старой книжки в новую. Адресов там не было. Ее друзья имели только телефонные номера. Племя людей с семибитовым аналоговым сознанием.

– Я с удовольствием буду делать одно из двух, – сказала Бабетта. – Это зависит только от тебя. Буду жевать либо резинку с сахаром и искусственным красителем, либо резинку без сахара, бесцветную, ту, что причиняет вред здоровью крыс.

Стеффи положила телефонную трубку.

– Вообще не надо жевать, – сказала она. – Это тебе когда-

нибудь приходило в голову?

Бабетта разбивала яйца в деревянную салатницу. Бросила на меня взгляд, в котором отражалось удивление: как эта девочка может одновременно говорить по телефону и слушать нас? Мне захотелось ответить: это потому, что она считает нас интересными людьми.

Бабетта обратилась к девочкам:

– Слушайте, я л ибо жую резинку, либо курю. Если хотите, чтобы я снова начала курить, отберите у меня жвачку и «Ментo-Липтус».

– Почему непременно надо делать одно из двух? – спросила Стеффи. – Разве нельзя ни того, ни другого не делать?

– А почему бы не делать и то и другое? – сказала Дениза, старательно принимая невозмутимый вид. – Тебе же именно этого хочется, правда? Давайте все начнем делать то, что хотим, а? Вот только в школу мы завтра пойти не сможем, даже если захотим, потому что в здании зачем-то производят дезинфекцию.

Зазвонил телефон. Стеффи схватила трубку.

– Никакого преступления я не совершаю, – сказала Бабетта. – Я хочу только изредка жевать несчастный кусочек безвкусной резинки.

– Нет, все не так просто, – сказала Дениза.

– Но это же не преступление. Да и жую-то я не больше двух маленьких кусочков в день.

– Значит, больше не можешь.

– Нет, могу, Дениза. И хочу. Оказывается, жвачка меня успокаивает. Не надо поднимать шум по пустякам.

Стеффи ухитрилась привлечь наше внимание одной лишь силой мольбы на лице. Рука ее лежала на микрофоне трубки. Она не говорила, а только беззвучно шевелила губами:

«Стоверы хотят прийти».

– Родители или дети? – спросила Бабетта. Моя дочь пожала плечами.

– Они нам не нужны, – сказала Бабетта.

– Не пускай их, – сказала Дениза.

– А что сказать?

– Скажи все, что хочешь.

– Главное – сюда их не пускай.

– Они зануды.

– Скажи, пускай дома сидят.

Стеффи отошла подальше вместе с телефоном и повернулась так, словно хотела заслонить его своим телом. В ее взгляде сквозили страх и возбуждение.

– Маленький кусочек жвачки не может причинить никакого

вреда, – сказала Бабетта.

– Наверно, ты права. Все это ерунда. Всего лишь предупреждение на пачке.

Стеффи повесила трубку.

– Всего лишь опасно для здоровья, – сказала она.

– Всего лишь крысы, – сказала Дениза. – Наверно, ты права. Все это ерунда.

– Может, она думает, что они скончались во сне.

– Всего лишь никчемные грызуны, так что какая разница?

– Какая разница, что за шум по пустякам? – сказала Стеффи.

– К тому же, хотелось бы верить, что она жует только два кусочка в день, ведь она то и дело все забывает.

– Что это я забываю? – спросила Бабетта.

– Так, ничего особенного, – сказала Дениза. – Все это ерунда.

– Что я забываю?

– Валяй, жуй свою жвачку. Не обращай внимания на предупреждение. Мне все равно.

Я поднял Уайлдера со стула и громко чмокнул его в ухо, а он съежился от удовольствия. Потом я посадил его на стойку и пошел наверх искать Генриха. Тот сидел у себя в комнате и изучал расположение пластмассовых шахматных фигур.

– Все еще играешь с тем парнем, что сидит в тюрьме? Ну и как идут дела?

– Неплохо. Кажется, я загнал его в угол.

– Что ты знаешь об этом парне? Я давно хотел спросить.

– То есть, кого он убил? Вот что нынче важнее всего. Забота о жертве.

– Ты уже очень долго играешь в шахматы с этим человеком. Что тебе о нем известно кроме того, что он приговорен к пожизненному заключению за убийство? Молодой ли он, старый, черный, белый? Вы хоть что-то сообщаете друг другу помимо шахматных ходов?

– Иногда мы переписываемся.

– Кого он убил?

– На него оказывали давление.

– Ну и что дальше?

– Положение стало безвыходным.

– Тогда он взял да и застрелил кого-то.

– Кого?

– Каких-то людей в Айрон-Сити.

– Сколько?

– Пятерых.

– Пять человек.

– Не считая полицейского, которого убил позже.

– Шесть человек. У него была маниакальная страсть к оружию? Был целый арсенал, припрятанный в его убогой комнатенке неподалеку от шестиэтажного бетонного гаража?

– Несколько пистолетов да винтовка со скользящим затвором и оптикой.

– С оптическим прицелом. Откуда он стрелял? С путепровода, из окна арендованной комнаты? А может, вошел в бар, в прачечную, в контору, где раньше работал, и открыл беспорядочную пальбу? Люди бросаются врассыпную, прячутся под столами. На улице все думают, что начался фейерверк. Я как раз ждал автобуса, когда услышал такой треск, точно фейерверк начался.

– Он поднялся на крышу.

– Снайпер на крыше. А перед тем, как подняться на крышу, он сделал запись в дневнике? А может, записал свой голос на магнитофон, сходил в кино или, чтобы освежить все это в памяти, прочел книжки о других людях, совершавших массовые убийства?

– Записал свой голос.

– Записал свой голос. И что он сделал с записью?

– Послал людям, которых любил, попросил прощения.

– «У меня нет другого выхода, братцы». Жертвы были совершенно незнакомыми людьми? Или он имел на них зуб? Может, его с работы уволили? А голосов он часом не слышал?

– Это были совершенно незнакомые люди.

– Он слышал голоса?

– По телевизору.

– Обращались только к нему? Его выбрали?

– Велели ему войти в историю. Ему было двадцать семь. Безработный, разведен, машина на кирпичах вместо колес. Жизнь дала трещину.

– Настойчивые голоса, оказывающие давление. А как он вел себя с прессой? Раздавал интервью, писал письма редактору местной газеты, пытался заключить договор об издании книги?

– В Айрон-Сити нет прессы. Когда он об этом задумался, было уже поздно. По его словам, доведись начать все сызнова, он совершил бы не обычное убийство, а политическое.

– Сделал бы более тщательный отбор, убил одного знаменитого человека, прославился.

– Теперь он знает, что не войдет в историю.

– Как и я.

– Но у тебя есть Гитлер.

– Что правда то правда.

– А что есть у Томми Роя Фостера?

– Ну хорошо, обо всем этом он рассказывает тебе в письмах. А

ты о чем пишешь, когда отвечаешь?

– О том, что лысею.

Я взглянул на него. Он был в тренировочном костюме, на шее – полотенце, махровые потнички на запястьях.

– Ты знаешь, что сказала бы твоя мама насчет этой игры в шахматы по переписке.

– Я знаю, что сказал бы ты. Ты уже это говоришь.

– Как там твоя мама? Она писала тебе в последнее время?

– Она хочет, чтобы летом я приехал в ашрам.

– А ты хочешь?

– Кто знает, чего я хочу? Кто знает, чего хотят все? Разве можно вообще быть в чем-то уверенным? Разве все это не зависит от химического состава мозга, от сигналов, посылаемых во все стороны, от электрической энергии в коре? Откуда тебе известно, что ты на самом деле чего-то хочешь? Может, это просто какой-то нервный импульс в голове? В каком-нибудь неприметном месте одного из полушарий головного мозга происходит некое незначительное изменение, и вот мне вдруг хочется поехать в Монтану – или не хочется. Откуда мне знать, что я и вправду хочу поехать, что это не результат деятельности каких-нибудь нейронов или чего-то подобного? Может, дело просто в случайном сигнале, полученном спинным мозгом, а я, оказавшись вдруг в Монтане, начинаю понимать, что вовсе не хотел туда ехать. Я не могу управлять процессами, происходящими у меня в мозге, и потому понятия не имею, чего захочу через десять секунд, а уж насчет Монтаны будущим летом и подавно не знаю. Все дело в этих процессах в мозге, и никто понятия не имеет ни о себе как о личности, ни о каком-нибудь нейроне, который попросту либо случайно возбуждается, либо случайно не возбуждается. Не потому ли Томми Рой убил тех людей?

Утром я направился в банк. Там подошел к кассе-автомату, чтобы проверить остаток своего счета. Вставил карточку, ввел секретный код, напечатал запрос. Сумма на экране приблизительно соответствовала моим собственным подсчетам, она тускло высветилась после долгого изучения документов, сложных арифметических действий. Безмерно благодарный, я вздохнул с облегчением. Система помиловала мою душу грешную. Я почувствовал ее поддержку и одобрение. Аппаратное обеспечение системы, ее главное электронное устройство заперто в одном из помещений какого-то далекого большого города. Какая замечательная слаженность действий. Я осознал, что сейчас было засвидетельствовано и подтверждено существование чего-то очень ценного лично для меня – но не денег, отнюдь не денег.

Двое вооруженных охранников вывели из банка психически неуравновешенного субъекта. Система была невидима и потому производила еще более глубокое впечатление, вызывала еще большее беспокойство при взаимодействии с ней. Но мы сходились во взглядах, по крайней мере, до поры до времени. Сети, схемы, потоки, гармонии.

11

Я проснулся в предсмертном поту, не в силах совладать со своими мучительными страхами. В самом центре моего существа возникла пауза. Ни желания, ни физических сил вставать с постели и ходить по неосвещенному дому, хватаясь за стены и перила лестницы. Пробираться ощупью, вновь обживать свое тело, возвращаться к жизни. Пот тонкими струйками стекал по моим бокам. Электронные часы на приемнике показывали 3:51. В такие моменты числа бывают только нечетными. К чему бы? Может, смерть закодирована нечетным числом? Существуют ли числа, опасные для жизни, числа, несущие в себе угрозу иного рода? Бабетта что-то пробормотала во сне, и я придвинулся поближе, вдыхая жар ее тела.

В конце концов я уснул, но вскоре проснулся от запаха подгоревших тостов. Должно быть, Стеффи. Тосты у нее подгорают часто, причем она делает это нарочно, когда вздумается. Она любит этот запах, пристрастилась к нему; это самый дорогой для нее аромат. Он доставляет ей гораздо больше удовольствия, чем дым костра, нагар со свечей или запах пороха, который ветер разносит по всей улице, когда Четвертого июля устраивают фейерверк. Стеффи создала свою систему ценностей: подгоревший ржаной, подгоревший белый и так далее.

Я надел халат и спустился вниз. Мне то и дело приходилось надевать свой банный халат и куда-нибудь идти, чтобы серьезно потолковать с кем-нибудь из детей. На кухне были Стеффи и Бабетта. Поразительно. Я думал, жена еще в постели.

– Хочешь тост? – спросила Стеффи.

– На будущей неделе мне стукнет пятьдесят один.

– Это ж еще не старость, правда?

– Я уже двадцать пять лет чувствую себя одинаково.

– Плохо. А моей маме сколько?

– Еще молодая. Ей было всего двадцать, когда мы в первый раз поженились.

– Она моложе Баб?

– Почти ровесницы. Так что не думай, будто я из тех мужиков, которые все время ищут женщин помоложе.

Я и сам толком не знал, кому предназначаются мои ответы – Стеффи или Бабетте. Такое часто случается на кухне, где, как сказал бы Марри, исходные элементы расположены на многочисленных непостижимых уровнях.

– Она по-прежнему служит в ЦРУ? – спросила Стеффи.

– Вообще-то, об этом говорить не следует. К тому же, она

всего лишь внештатный агент.

– Что это значит?

– Это значит, что она, как и многие в наше время, занимается этим ради приработка.

– Чем именно она занимается? – спросила Бабетта.

– Ей звонят из Бразилии. Это сигнал к началу работы.

– А потом?

– Она возит по всей Латинской Америке чемодан с деньгами.

– И все? Это и я смогла бы.

– Иногда ей присылают книги на рецензию.

– Я с ней встречалась? – спросила Бабетта.

– Нет.

– А я знаю, как ее зовут?

– Дейна Бридлав.

Пока я называл имя и фамилию, Стеффи повторила их беззвучно.

– Надеюсь, ты не собираешься это есть, – сказал я ей.

– Я всегда ем свои тосты.

Зазвонил телефон, и я взял трубку. Со мной поздоровался весьма приятный женский голос, сообщивший, что он синтезирован компьютером для изучения рынка с целью определения современных уровней потребительского спроса. Он сейчас задаст ряд вопросов, делая после каждого вопроса паузу, чтобы дать мне возможность ответить.

Я передал трубку Стеффи. Когда стало ясно, что она поглощена беседой с компьютером, я вполголоса заговорил с Бабеттой.

– Она любила плести интриги.

– Кто?

– Дейна. Любила втягивать меня в разные делишки.

– В какие, например?

– В распри. В двойную игру с тем, чтобы настроить одних друзей против других. В семейные интриги, в интриги на факультете.

– По-моему, все это – дело житейское.

– Со мной она говорила по-английски, а по телефону – по-испански или по-португальски.

Стеффи, извиваясь и оттягивая свободной рукой свитер, пыталась прочесть ярлык.

– Тебе почти пятьдесят один. Как ощущение? – спросила Бабетта.

– Точно такое же, как в пятьдесят.

– Вот только числа разные – одно четное, другое нечетное, – заметила она.

Вечером, в комнате Марри с ее серовато-белыми стенами, после эффектного блюда из корнуоллской курицы в форме лягушки, приготовленного на плитке с двумя конфорками, мы пересели с металлических складных стульев на койку, чтобы выпить кофе.

– Когда я был спортивным журналистом, – сказал Марри, – я постоянно путешествовал, жил в самолетах и гостиницах, в чаду стадионов, а в собственной квартире ни разу не почувствовал себя как дома. Теперь у меня есть пристанище.

– Вы тут сотворили чудо, – сказала Бабетта, уныло скользя взглядом по комнате.

– Пристанище тесное, темное, скромное, – сказал он самодовольно. – Вместилище мысли.

Я жестом показал на старое четырехэтажное здание, занимающее несколько акров на другой стороне улицы:

– У вас не слышно шума из психиатрической больницы?

– Вы имеете в виду побои и крики? Интересно, что люди до сих пор называют это учреждение психиатрической больницей. Вероятно, все дело в поразительном архитектурном стиле, в крутой крыше, высоких дымовых трубах, колоннах, в разбросанных там и сям завитушках, то ли причудливых, то ли мрачных – никак не могу понять. Здание не похоже ни на санаторий для душевнобольных, ни на интернат для инвалидов и престарелых. Оно похоже именно на психиатрическую больницу.

Его брюки начинали лосниться на коленях.

– Жаль, вы не привели детей. Мне хочется узнать маленьких детей поближе. Наше общество – это общество детей. Своим студентам я говорю, что они уже слишком стары, чтобы играть важную роль в процессе развития общества. С каждой минутой они отдаляются друг от друга. «Даже сейчас, – говорю я им, – пока мы здесь сидим, вы сворачиваете со столбовой дороги, лишаетесь возможности получить признание как группа, лишаетесь привлекательности для рекламодателей и людей, занятых массовым производством в сфере культуры. Дети – вот истинная универсалия общества. А ваше время давно истекло, вы уже поплыли по течению, ощущать свою отчужденность от продуктов, которые потребляете. Кому же они предназначены? Каково ваше место в системе сбыта? После окончания колледжа вы непременно почувствуете страшное одиночество и неудовлетворенность группы потребителей, оторвавшихся от жизни. Это лишь вопрос времени». Потом я стучу карандашом по столу, дабы обратить их внимание на то, что время летит с устрашающей быстротой. Мы сидели на койке и потому, чтобы обратиться к Бабетте, которую заслоняла поднятая мною чашка,

Марри пришлось наклониться далеко вперед.

– Сколько у вас детей, в общей сложности?

Она, похоже, задумалась:

– Ну, Уайлдер, конечно, потом Дениза.

Марри пил кофе маленькими глотками и пытался искоса смотреть на нее, держа чашку у нижней губы.

– Еще Юджин, который в этом году живет у своего папы в Западной Австралии. Юджину восемь лет. Его папа занимается исследовательской работой в аутбэке. Он также и папа Уайлдера.

– Мальчик растет без телевизора, – сказал я, – поэтому Марри, возможно, стоит потолковать с ним. Ведь он, в сущности, дитя природы, дикарь, найденыш из буша, умный и грамотный, но не знакомый с теми фундаментальными идеями и кодами, что служат признаками уникальности человеческого рода.

– Телевидение – проблема лишь в том случае, если вы разучились смотреть и слушать, – сказал Марри. – Мы со студентами постоянно обсуждаем этот вопрос. Они начинают сознавать, что должны взбунтоваться против телевидения точно так же, как предшествующее поколение взбунтовалось против родителей и своей страны. А я говорю, что им придется снова учиться смотреть на все глазами детей. Не обращать внимания на содержание. Выражаясь вашими словами, Джек, находить идеи и коды.

– А они что на это говорят?

– Что телевидение – сродни рекламной макулатуре в почтовом ящике. Но я говорю студентам, что не могу с этим согласиться, Я говорю им, что уже больше двух месяцев сижу в этой комнате, до утра смотрю телевизор, внимательно слушаю, делаю заметки. Впечатление просто обескураживающее, смею вас заверить, почти мистическое.

– И к какому выводу вы пришли?

Марри с важным видом скрестил ноги и, с улыбкой глядя прямо перед собой, опустил чашку себе на колени.

– Излучение и волны, – сказал он. – Я уже понял, что для американской семьи телевидение – первородная сила. Неприступное, не подвластное времени, изолированное, автономное. Оно подобно мифу, что рождается прямо в наших гостиных, подобно чему-то пережитому как бы во сне, предсознательно. Я просто в восторге, Джек.

Он посмотрел на меня, по-прежнему улыбаясь – почти заискивающе.

– Вы должны научиться смотреть. Должны отбросить предубеждения и воспринимать информацию. Телевидение предлагает нашему вниманию невероятное количество

экстрасенсорных данных. Делает общедоступными воспоминания древности, зари человечества, радушно принимает нас в вещательной сети, в сетке подвижных пятнышек, из которых состоит изображение на экране. Там есть свет, есть звук. Я спрашиваю своих студентов: «Чего же еще вы хотите?» Взгляните на обилие данных, скрытых в сети, в яркой упаковке, в рекламных песенках и роликах, якобы взятых из жизни, в товарах, со свистом вылетающих из темноты, в закодированных посланиях, в бесконечных повторах, напоминающих церковные песнопения, мантры. «Кока – это класс, кока – это класс, кока – это класс!» В сущности, среда изобилует священными догматами, следует лишь вновь научиться реагировать непредвзято и превозмочь раздражение, усталость и отвращение.

– Но студенты с вами не согласны.

– Они ненавидят его сильнее, чем рекламную макулатуру. По их словам, телевидение – предсмертные судороги человеческого сознания. Они стыдятся своего телевизионного прошлого. Им хочется говорить о кино.

Марри встал и снова наполнил наши чашки.

– Откуда у вас такие познания? – спросила Бабетта.

– Я из Нью-Йорка.

– Чем больше вы говорите, тем больше, по-моему, заискиваете. Такое впечатление, будто вы пытаетесь нас как-то обмануть.

– Лучшая беседа – обольщение.

– Вы были женаты? – спросила она.

– Один раз, недолго. Я писал репортажи о командах «Джетс», «Метс» и «Нетс». Наверняка я сейчас кажусь вам весьма странным типом, одиноким чудаком, этаким добровольным затворником, которому не нужно ничего, кроме телевизора и полок с комиксами в суперобложках. Однако не думайте, что я не оценил бы визит умной женщины в юбке с разрезом и туфлях на шпильках, с эффектными аксессуарами, приди она, к примеру, в два или три часа ночи.

Когда мы шли домой, моросил дождь. Я обнимал Бабетту за талию. Улицы были безлюдны. Во всех магазинах по Элм-стрит было темно, два банка освещались тусклыми лампочками, неоновые очки в витрине магазина оптики отбрасывали на тротуар причудливые узоры света.

«Дакрон», «Орлон», «Лайкра Спандекс».

– Я знаю, что забываю все на свете, – сказала Бабетта, – но понятия не имела, что это так бросается в глаза.

– Ничего подобного.

– Ты слышал, что сказала Дениза? Когда это было – на

прошлой неделе?

– Дениза умна и настырна. А больше никто ничего не замечает.

– Я набираю номер и забываю, кому звоню. Прихожу в магазин и забываю, что надо купить. Кто-то мне что-то говорит, я забываю это, мне говорят еще раз, я забываю, мне снова говорят – и при этом как-то странно улыбаются.

– У всех нас память дырявая, – сказал я.

– Я забываю имена, лица, номера телефонов, адреса, время и место встреч, правила, инструкции.

– Вообще-то нечто подобное происходит почти со всеми.

– Я забываю, что Стеффи не любит, когда ее называют Стефани. Иногда я называю ее Денизой. Я забываю, где поставила машину, а потом очень долго не могу вспомнить, как эта машина выглядит.

– Забывчивостью уже пропитаны и воздух, и вода. Она проникла в трофическую цепь.

– Возможно, все дело в моей жевательной резинке. Не слишком странное предположение?

– А может, и кое в чем другом.

– То есть?

– Ты же употребляешь кое-что помимо жевательной резинки.

– Откуда ты взял?

– Из вторых рук – от Стеффи.

– А ей кто сказал?

– Дениза.

Она задумалась, допустив, что, если слухи или предположения исходят от Денизы, они, скорее всего, верны.

– И что же я, по словам Денизы, употребляю?

– Я хотел сначала у тебя спросить, а уж потом – у нее.

– Насколько мне известно, Джек, я не употребляю ничего такого, чем можно было бы объяснить мои провалы памяти. С другой стороны, я не старуха, у меня не было ушибов головы, да и в семье не наблюдалось никаких отклонений, кроме загиба шейки матки.

– Судя по твоим словам, Дениза, возможно, права.

– Не исключено.

– Судя по твоим словам, ты употребляешь то, что в качестве побочного эффекта ухудшает память.

– Либо употребляю и не помню, либо не употребляю и не помню. Вся моя жизнь – «либо-либо». Я жую либо обычную резинку, либо резинку без сахара. Либо жую резинку, либо курю. Либо курю, либо толстею. Либо толстею, либо бегаю по ступенькам стадиона.

– Такая жизнь кажется довольно скучной.

– Надеюсь, она будет длиться вечно.

Вскоре мостовые и тротуары покрылись листвой. Листья кружили в воздухе и, шурша, падали с наклонных крыш. Каждый день временами дул сильный ветер, деревья обнажались все больше, а на задние дворы, на небольшие газоны перед домами вышли пенсионеры с граблями. Вдоль бордюров кособокими шеренгами выстроились черные мешки.

На День всех святых за угощением к нам явилась вереница испуганных ребятишек.

12

На уроки немецкого я ходил два раза в неделю, в конце дня, и с каждым следующим визитом смеркалось все раньше. В своей работе Говард Данлоп придерживался правила, согласно которому весь урок мы должны сидеть лицом друг к другу. Когда он демонстрировал произношение согласных, дифтонгов, долгих и кратких гласных, я должен был изучать положение его языка. Когда же я пытался воспроизводить эти злополучные звуки, Данлоп, в свою очередь, внимательно смотрел мне в рот.

Стоило ему приступить к своим голосовым экзерсисам, как его безмятежное, неподвижное лицо – плоский овал, напрочь лишенный характерных черт, – преображалось. Он начинал кривляться. Жуткое зрелище и, стыдно признаться, захватывающее – таким, вероятно, видится припадок, если наблюдать за больным в лабораторных условиях. Данлоп втягивал голову в плечи, прищуривался, гримасничал, как обезьяна. Когда наставал мой черед произносить эти шумные звуки, я, лишь бы угодить учителю, старательно подражал: кривил губы и зажмуривался, понимая, что при такой неумеренной, искаженной артикуляции все это наверняка звучит так, словно вдруг, вопреки всем законам природы, говорить пытаются дерево или камень. Когда я открывал глаза, Данлоп сидел, наклонившись почти вплотную к моим губам, и заглядывал мне в рот. Мне становилось интересно, что он там видит.

В начале и конце каждого урока повисало напряженное молчание. Я пытался завязать разговор о пустяках, заставить Данлопа рассказать о том времени, когда он был хиропрактиком, о его жизни до преподавания немецкого. Он отводил глаза и смотрел куда-то мимо, но не потому, что я ему наскучил. Во взгляде не отражалось ни раздражения, ни желания избежать расспросов – просто у него был такой отрешенный вид, что казалось: события его жизни никак не связаны между собой. Когда же он все-таки говорил – об остальных жильцах или о хозяине пансиона, – голос его делался немного ворчливым, в нем слышалась протяжная нотка недовольства. Ему очень хотелось верить, что он прожил жизнь среди людей, которые никогда не понимали сути вещей.

– Вы многим даете уроки?

– Немецкого?

– Да.

– Немецкий у меня изучаете только вы. Раньше и другие

приходили. Нынче немецкий язык не в чести. Для подобных вещей характерна цикличность, как, впрочем, и для всего остального.

– А что еще вы преподаете?

– Греческий, латынь, морскую навигацию.

– Люди приезжают сюда изучать морскую навигацию?

– Сейчас уже не так часто, как раньше.

– Просто поразительно, сколько людей занимаются в наше время преподаванием, – сказал я. – На каждого человека приходится по преподавателю. Все мои знакомые либо преподают, либо учатся. Как вы думаете, чем это чревато?

Он отвел глаза и посмотрел на дверцу стенного шкафа.

– А еще что-нибудь вы преподаете? – спросил я.

– Метеорологию.

– Метеорологию. А это как вышло?

– Смерть матери меня подкосила. Я совсем упал духом, потерял веру в Бога. Я был безутешен, полностью замкнулся в себе. Но однажды случайно увидел по телевизору сводку погоды. Энергичный молодой человек со светящейся указкой стоял перед разноцветной спутниковой фотографией и предсказывал погоду на ближайшие пять дней. Я сидел, зачарованный его самоуверенностью и мастерством. Казалось, этот молодой человек получает с метеоспутника сообщение, которое потом передает лично мне, сидящему на раскладном стуле. Я занялся метеорологией в поисках утешения. Читал синоптические карты, собирал книги о погоде, присутствовал при запуске метеозондов. Мне стало ясно, что изучение погоды – мое призвание. Благодаря этому занятию я чувствовал себя так спокойно и уверенно, как никогда прежде. Роса, иней и туман. Снежные шквалы. Струйное течение. По-моему, в струйном течении есть некое величие. Я начал вылезать из своей скорлупы, разговаривать с людьми на улице. «Приятный денек». «Похоже, будет дождь». «Сегодня жарковато, не правда ли?» На погоду все обращают внимание. Встав с постели, вы первым делом подходите к окну и смотрите, какая погода. Так делаете вы, так делаю я. Я составил список целей, которых рассчитывал добиться в метеорологии. Прошел заочный курс, получил степень бакалавра и официальное разрешение преподавать этот предмет в аудиториях вместимостью не более ста человек. Я преподавал метеорологию в подвалах церквей, на трейлерных стоянках, в рабочих кабинетах и гостиных. Люди приходили слушать мои лекции в Миллерз-Крике, Ламбервиле, Уотертауне. Рабочие, домохозяйки, торговцы, полицейские и пожарные. Я кое-что видел у них в главах: жажду, непреодолимое желание.

В манжетах его теплой нижней рубашки были маленькие дырочки. Мы стояли посреди комнаты. Я ждал продолжения. Было то время года, то время дня, когда ткань вещей пропитывается легкой щемящей печалью. Сумерки, тишина, лютый холод. Неизъяснимая тоска до мозга костей.

Когда я пришел домой, на кухне отрабатывал замах, упражняясь в гольфе, Боб Парди. Боб – отец Денизы. Он сказал, что в городе проездом – направляется в Глассборо устраивать презентацию – и хочет сводить нас всех в ресторан.

Боб взмахнул сцепленными руками над левым плечом и плавным движением проводил мяч. Дениза наблюдала за ним, сидя на табуретке у окна. На нем был кардиган с начесом, рукава закрывали запястья.

– Что за презентация? – спросила Дениза.

– Да так, ничего особенного. Схемы, стрелки. Главное – пустить пыль в глаза. Это простейший инструмент охвата клиентуры, дорогая.

– Ты что, опять сменил работу?

– Собираю средства. Работы, кстати, по горло, можешь не сомневаться.

– Что за средства?

– Да всякие-разные, все, что под руку попадется, понимаешь? Люди с удовольствием отдают мне продуктовые талоны, фавюры. Ну и отлично, я не против.

Он наклонился, чтобы загнать мяч в лунку. Бабетта смотрела на него, прислонившись к дверце холодильника и скрестив руки на фу-ди. Наверху чей-то голос произнес с британским акцентом: «Существуют особые формы головокружения, при которых не кружится голова».

– На что идут эти средства? – спросила Дениза.

– Есть небольшая организация, о которой тебе, возможно, приходилось слышать, – называется «Фонд готовности к ядерной катастрофе». По существу – законный фонд помощи оборонной промышленности. Существует на всякий случай.

– На какой, к примеру?

– На тот, к примеру, если я вдруг фохнусь в голодный обморок. Может, все-таки доберемся до мяса на ребрышках, а? Волка ноги кормят. Что скажешь, Бабетта? А то еще немного, и я займусь самоедством.

– Какая же по счету эта работа?

– Отстань, Дениза.

– Ладно, все это ерунда. Делай что хочешь, мне все равно.

Боб повел троих старших в «Уэгон Уил». Я повез Бабетту в дом на реке, где она должна была читать вслух слепому мистеру

Тридуэллу, жившему там с сестрой. Уайлдер сидел между нами и играл купленными в супермаркете бульварными газетами – этому чтиву которым Тридуэлл отдавал предпочтение. Бабетта, читавшая вслух незрячим людям на общественных началах, не вполне одобряла страсть пожилого господина к темным, отвратительным сторонам жизни, полагая, что люди с физическими недостатками чувствуют моральную потребность в более возвышенных развлечениях. Если уж эти люди не будут вдохновлять нас на победы человеческого достоинства, на кого же нам тогда рассчитывать? Они должны подавать хороший пример, такой же, как Бабетта – чтица и поборница высокой морали. Но в силу профессионального отношения к своему долгу, она на полном серьезе, как ребенку, читала старику о мертвецах, которые оставляют сообщения на автоответчиках.

Мы с Уайлдером остались ждать в машине. План был такой: после чтения мы втроем встречаемся с компанией из «Уэгон Уил а» в ресторане «Динки Донат», где они съедят десерт, а мы пообедаем. Дабы скоротать эту часть вечера, я взял с собой «Майн Кампф».

Дом Тридуэллов представлял собой каркасное строение с гниющими решетками на веранде. Меньше чем через пять минут Бабетта вынырнула из дома, нерешительно подошла к дальнему краю веранды и оглядела неосвещенный двор. Потом медленно направилась к машине.

– Дверь была открыта. Я вошла – никого. Посмотрела вокруг – ни души. Поднялась наверх – никаких признаков жизни. Судя по всему, ничего не пропало.

– Что ты знаешь о его сестре?

– Она старше и, вероятно, хуже его сохранилась, вот разве что не слепая.

В двух ближайших домах было темно, оба продавались, а в четырех других о поведении Тридуэллов в течение последних нескольких дней никто ничего не знал. Мы поехали в управление полиции штата и поговорили со служащей, сидевшей за консолью компьютера. Она сообщила, что каждые одиннадцать секунд кто-нибудь да пропадает, и записала наш рассказ на магнитофон.

В «Динки Донате» Боб Парди сидел молча, а семья ела и вела беседу. Дряблая кожа на розовом лице игрока в гольф уже обвисала с черепа, да и все его тело, казалось, обмякло, а потому он выглядел жалко – как человек, которому строго-настрого приказали похудеть. Он сделал себе дорогую стрижку с укладкой – с добавлением некоторого количества краски, с использованием некоторого количества технических средств, – но казалось, что эта прическа нуждается в более светлой голове. Я отдавал себе

отчет: Бабетта внимательно разглядывает его, пытаясь постичь смысл четырех бурных лет, которые они прожили в браке, охватить умом всю панораму этой бойни. Он пил, играл в карты, съезжал на машине к воде прямо по насыпи, терял и бросал работу, ездил под чужим именем в Коултаун, где платил женщине, чтобы она говорила с ним по-шведски в постели. Именно шведский язык и бесил Бабетту – а может, и стремление мужа во всем признаваться, – и она неумело пыталась его колотить: тыльными сторонами ладоней, локтями, запястьями. Бывшие возлюбленные, давние страхи. Теперь же Бабетта смотрела на него с нежностью и сочувствием, и в ее задумчивых любящих глазах отражалось такое великодушие, что казалось, будто она перебирает в уме все магические заклинания против его нынешней полосы невезения. И все же, вновь принимаясь листать свою книгу, я уже знал, что это всего лишь мимолетное чувство, одно из тех проявлений доброты, которых никто не в силах понять.

На другой день, еще до полудня, дно реки начали чистить драгой.

13

Студенты редко покидают территорию колледжа. В самом Блэксмите им нечего делать – ни подходящего пристанища, ни соблазнов. У них своя особая еда, свои фильмы, музыка, театр, виды спорта, темы для разговоров и секс. Это городок химчисток и магазинов оптики. Витрины фирм, торгующих недвижимостью, украшены фотографиями едва различимых викторианских домов. Эти снимки никто не менял уже много лет. Дома то ли проданы, то ли исчезли с лица земли, то ли стоят в других городках, других штатах. Это город благотворительных аукционов и дворовых распродаж, когда вещи, отслужившие свой срок, выносят на подъездные аллеи и оставляют под присмотром детей.

Бабетта позвонила мне в мой кабинет в Сентенари-холле. Сказала, что Генрих надел свою камуфляжную кепку, взял фотоаппарат «Инстаматик» и пошел на берег реки смотреть, как ищут тела на дне; пока он стоял там, поступило сообщение о том, что Тридуэллов, живых, но в сильном шоке, нашли в заброшенной кондитерской палатке на территории «Мидвиллидж-молла» – огромного торгового центра на автомагистрали. По-видимому, они заблудились и два дня бродили по комплексу, растерянные, испуганные, а потом нашли убежище в захламленном киоске. В киоске они провели еще два дня, и сестра, от слабости едва держась на ногах, отваживалась выходить оттуда и в поисках объедков рылась в урнах с героями мультиков на пружинных крышках. Лишь по счастливой случайности, пока они сидели в киоске, не похолодало. Никто еще не знал, почему они не просили о помощи. Вероятно, из-за того, что территория была незнакомой и такой громадной, да в силу преклонного возраста им казалось, что они брошены на произвол судьбы, помощи ждать неоткуда, а люди вдалеке очень опасны. Тридуэллы вообще нечасто выходили из дома. Никто еще даже понятия не имел, каким образом они ухитрились добраться до торгового комплекса. Возможно, внучатая племянница привезла их туда на своей машине и высадила, а потом забыла забрать. По словам Бабетты, найти внучатую племянницу и расспросить не удалось.

За день до удачного окончания поисков полиция, пытаясь установить местонахождение и узнать судьбу Тридуэллов, обратилась за помощью к экстрасенсу. Об этом подробно писали в местной газете. Ясновидящая эта жила в трейлере, где-то в загородной рощице. Она желала, чтобы ее называли не иначе, как Адель Т. Согласно сообщению в газете, пока Адель Т. и начальник полиции Холлис Райт сидели в трейлере, она разглядывала

фотографии Тридуэллов и обнюхивала предметы из их гардероба. Потом попросила начальника оставить ее одну на час. Совершила некие обряды, поела риса с «далем» и впала в транс. Как сказано далее в газете, изменяя таким образом свое состояние, она пыталась получить экстрасенсорную информацию обо всех материальных объектах, местонахождение которых хотела определить, в данном случае – о Старике Тридуэлле и его сестре. Когда начальник полиции Райт вновь зашел в трейлер, Адель Т. велела ему забыть о реке и сосредоточить поиски на участке суши, с виду напоминающем лунный ландшафт, в радиусе пятнадцати миль от дома Тридуэллов. Полицейские тотчас направились к гипсовому карьеру в десяти милях ниже по течению реки, где нашли дорожную сумку, а в ней – пистолет и два килограмма чистого героина.

Полицейские и раньше иногда обращались к Адели Т. за советом и благодаря ей нашли тела двух человек, насмерть забитых дубинками, одного сирийца в холодильнике и тайник с помеченными банкнотами на сумму в шестьсот тысяч долларов, хотя, как сообщается в заключении, в каждом из этих случаев полиция искала что-то другое.

Американская тайна все непостижимее.

14

Сгрудившись у окна в маленькой комнатке Стеффи, мы любовались пленительным закатом. Отсутствовал только Генрих – вероятно, он либо скептически относился к невинным коллективным развлечениям, либо считал, что в нынешних закатах есть нечто зловещее.

Спустя некоторое время я, сидя в постели в банном халате, занимался немецким. Я бормотал под нос слова и задавался вопросом, удастся ли на весенней конференции ограничить демонстрацию знания немецкого языка кратким вступительным словом, или остальные участники потребуют, чтобы немецкая речь звучала постоянно – на лекциях, за едой, во время пустячных разговоров – как признак нашей серьезности, нашей уникальности в мировой системе гуманитарного образования.

По телевизору сказали: «И другие тенденции, которые могли бы оказать огромное влияние на ваш портфель ценных бумаг».

Вошла Дениза и легла поперек в ногах кровати, положив голову на согнутые руки и отвернувшись от меня. Сколько принципов, контр-принципов, социально-исторических обобщений вместила в себя эта незамысловатая поза? Прошла целая минута.

– Что будем делать с Баб? – спросила Дениза.

– В каком смысле?

– Она же ничего не может запомнить.

– Баб не спрашивала у тебя, принимает ли она лекарства?

– Нет.

– Не принимает или не спрашивала?

– Не спрашивала.

– А должна была спросить, – сказал я.

– А вот и не спросила.

– Откуда тебе известно, что она принимает лекарства?

– В мусоре под раковиной я видела пузырек, прописанный врачом, с ее фамилией и названием лекарства.

– Как оно называется?

– «Дилар». По одной таблетке раз в три дня. Значит, оно, похоже, опасное, вызывает привыкание или что-нибудь в этом роде.

– А что сказано о диларе в твоем лекарственном справочнике?

– Нет его там. Я долго искала. Там четыре алфавитных указателя.

– Наверно, оно недавно поступило в продажу. Хочешь, я еще

раз посмотрю?

– Я уже смотрела. Смотрела!

– Всегда можно позвонить ее врачу. Но я не хочу делать из мухи слона. Все принимают какие-нибудь лекарства, все время от времени что-нибудь забывают.

– Не так, как мама.

– Я постоянно все забываю.

– А что ты принимаешь?

– Таблетки от давления, от стресса, от аллергии, глазные капли, аспирин. Дело житейское.

– Я заглянула в аптечку в вашей ванной.

– Дилара нет?

– Я думала, может, там новый пузырек появился.

– Врач прописал тридцать таблеток. Вот и все. Дело житейское. Все что-нибудь принимают.

– И все же я хочу быть в курсе, – сказала она.

За все это время она ни разу не повернулась ко мне. В подобных ситуациях хорошо готовить заговоры, плести хитроумные интриги, строить тайные планы. Но потом Дениза переменила позу, приподнявшись на локте, и задумчиво посмотрела на меня с края кровати:

– Можно задать тебе один вопрос?

– Конечно.

– Ты не рассердишься?

– Содержимое моей аптечки тебе уже известно. Какие еще тайны остались?

– Почему ты назвал Генриха Генрихом?

– Законный вопрос.

– Ты не обязан отвечать.

– Вопрос естественный. По-моему, ты имеешь право его задать.

– Так почему же?

– Это имя показалось мне эффектным, звучным. В нем есть что-то властное.

– Он назван в честь какого-нибудь человека?

– Нет. Он родился вскоре после того, как я создал кафедру, и мне, наверное, захотелось возблагодарить судьбу. Сделать что-нибудь на немецкий лад. Я чувствовал, что нужен какой-то жест.

– Генрих Герхардт Глэдни?

– Я считал, что в этом имени звучит властность, которая, возможно, проявится и в характере мальчика. Считал имя эффектным, ярким, да и до сих пор считаю. Мне хотелось защитить сына, сделать так, чтобы он ничего не боялся. В то время детям давали имена Ким, Келли и Трейси.

Мы надолго замолчали. Дениза по-прежнему смотрела на меня. У нее довольно мелкие черты лица, и в минуты сосредоточенности она слегка походила на драчливую мартышку.

– По-твоему, я просчитался?

– Не мне судить.

– В немецких именах, в немецком языке, да и вообще во всем немецком есть нечто особенное. Я не знаю, что именно. Оно просто есть. Центральная фигура тут, конечно, Гитлер.

– Вчера вечером его опять показывали.

– Его показывают постоянно. Без него у нас и телевидения бы не было.

– Немцы же проиграли войну, – сказала она. – Выходит, они были не такие уж великие?

– Веское соображение. Но дело не в величии. Это не вопрос добра и зла. Я и сам не знаю, в чем тут дело. Взгляни таким образом: одни люди всегда носят одежду любимого цвета, другие ходят с оружием, третьи надевают форму и чувствуют себя более важными, сильными, защищенными. На таких вещах и сосредоточены все мои навязчивые идеи.

Вошла Стеффи с Денизиным зеленым козырьком на голове. Я понятия не имел, что это значит. Она взобралась на кровать, и мы втроем принялись листать мой немецко-английский словарь в поисках слов, которые на обоих языках звучат почти одинаково – таких, как «оргия» и «туфля».

Пробежав по коридору, в комнату ворвался Генрих:

– Пошли быстрей, авиакатастрофу показывают!

Он выскочил за дверь, девчонки спрыгнули с кровати, и все трое помчались к телевизору.

Я сидел в постели, слегка ошарашенный. Их стремительный, шумный уход встряхнул всю комнату на молекулярном уровне. Казалось, среди обломков невидимой материи все сводится к одному вопросу: что здесь происходит? Когда я добрался до комнаты в конце коридора, на экране с краю оставался только клуб черного дыма. Но катастрофу показали еще дважды – один раз в замедленном повторе, когда комментатор пытался объяснить, почему упал самолет. Учебно-тренировочный реактивный самолет на авиационной выставке в Новой Зеландии.

У нас два чулана, чьи двери открываются сами собой.

В тот вечер, в пятницу, мы по обыкновению собрались перед телевизором с едой из китайского ресторана. На экране были наводнения, землетрясения, грязевые потоки, извержения вулканов. Никогда еще мы так внимательно не относились к своим обязанностям, к своему пятничному собранию. Генрих не замыкался в себе, мне не было скучно. Стеффи, которую едва не

довел до слез муж из телепостановки, повздоривший с женой, казалось, совершенно увлекли эти отрывки из документальных фильмов о бедствиях и смерти. Бабетта попыталась переключить телевизор на комедийный сериал о компании детей разных национальностей, сооружающих собственный спутник связи. Ее потряс наш энергичный протест. Все остальное время мы молча смотрели, как сползают в океан дома, ярко вспыхивают в потоке лавы целые деревни. Каждая катастрофа пробуждала в нас желание увидеть новую, увидеть нечто более крупное, грандиозное, более опустошительное.

В понедельник, войдя в кабинет, я обнаружил, что на стуле, придвинутом к столу, сидит Марри – причем с таким видом, словно дожидается медсестру с манжетой для измерения кровяного давления. Он сказал, что его замысел относительно Элвиса Пресли не получает должной поддержки на кафедре американской культуры. Руководитель кафедры, Альфонс Стомпанато, по-видимому, считает, что свое преимущественное право на это доказал другой преподаватель, трехсотфунтовый бывший телохранитель звезд рок-н-ролла по имени Димитриос Кодзакис: когда Король умер, он полетел в Мемфис, взял интервью у членов свиты и семьи Короля и как «толкователь этого феномена» сам дал интервью местному телевидению.

Как признал Марри, ход был довольно удачный. Я сказал, что готов заглянуть на его следующую лекцию – неофициально, без предупреждения, просто для того, чтобы придать происходящему некоторую значимость, поддержать Марри влиянием и авторитетом, коими, возможно, пользуются моя должность, мой предмет, да и сам я как частное лицо. Он медленно кивнул, теребя бороду.

В обеденный перерыв я заметил только одно свободное место – за столиком нью-йоркских эмифантов. Во главе стола сидел Альфонс: даже в закусочной колледжа он отличался внушительным видом. Здоровенный угрюмый детина со шрамами на бровях и сединой во всклокоченной бороде. Именно такую бороду я отпустил бы в шестьдесят девятом, если бы против этого не возражала Дженет Сейвори, моя вторая жена, мать Генриха. «Пускай эта льстивая улыбка будет видна во всю ширь, – сказала она своим бесстрастным тоненьким голоском. – Этим достигается больший эффект, чем ты думаешь».

В любое свое занятие Альфонс привносил дух всепобеждающей целеустремленности. Он знал четыре языка, обладал фотографической памятью, производил в уме сложные математические расчеты. Как-то сказал мне, что добиться успеха

в Нью-Йорке можно, лишь научившись выражать недовольство так, чтобы это было интересно. Воздух насыщен гневом и раздражением. Никто не будет терпимо относиться к вашим личным неприятностям, если, рассказывая о них, вы не сумеете позабавить людей. Альфонс и сам порой бывал завораживающе забавным. Благодаря особой манере держаться он мог без труда отвергать и разбивать в пух и прах любые взгляды, противоречащие его собственным. Рассуждая о популярной культуре, он пользовался непостижимой логикой религиозного фанатика, который убивает за свои убеждения. Дыхание его делалось тяжелым, аритмичным, насупленные брови, казалось, срастались. Остальные эмигранты, по-видимому, считали его вызывающее поведение и ядовитые насмешки подходящим контекстом для своих стараний. Они играли об него в пристенок.

Я спросил его:

– Почему это, Альфонс, добропорядочных, благонамеренных и здравомыслящих людей так увлекает зрелище катастрофы по телевизору?

Я рассказал ему о том недавнем вечере, когда лава, грязь и разбушевавшаяся водная стихия вызвали у нас с детьми такой интерес.

– Нам хотелось еще и еще.

– Это естественно, нормально, – ободряюще кивнул он. – Такое с каждым случается.

– Почему?

– Потому что мы страдаем разжижением мозгов. Нас постоянно засыпают информацией, и чтобы этот процесс иногда прекращался, нужна какая-нибудь катастрофа.

– Ясное дело, – сказал Лашер. Худощавый человек с холеным лицом и прилизанными волосами.

– Это непрерывный поток, – сказал Альфонс. – Слова, образы, числа, факты, графики, статистические данные, частицы, волны, пятнышки, пылинки. Наше внимание привлекают лишь катастрофы. Они нужны нам, мы без них не можем, мы на них рассчитываем. Пока они происходят где-нибудь в другом месте. Вот чем, кстати, хороша Калифорния. Грязевые потоки, лесные пожары, береговая эрозия, землетрясения, массовые убийства и так далее. Мы можем спокойно, с удовольствием наблюдать за этими бедствиями, поскольку полагаем, что Калифорния получает по заслугам. Калифорниицы выдумали понятие стиля жизни. Одно это служит оправданием их участи.

Кодзакис смял банку диетической пепси-колы и бросил в урну.

– Вполне подходит для съемок катастроф и Япония, – сказал

Альфонс. – В значительной степени остается неиспользованной Индия. С их периодами голода, сезонами дождей, религиозными распрями, крушениями поездов, тонущими судами и тому подобным открываются потрясающие возможности. Однако тамошние катастрофы, как правило, нигде не освещаются. Три строчки в газете. Ни отснятых кинокадров, ни спутниковых трансляций. Вот почему Калифорния имеет такое большое значение. Мы не только с удовольствием наблюдаем, как эти люди несут наказание за свой беззаботный образ жизни, но и знаем, что ничего не упустим. Камеры на своих местах. Они всё безучастно фиксируют. Ни одно ужасное мгновение не остается незамеченным.

– Значит, по-вашему, телевизионные катастрофы вызывают острый интерес практически у всех.

– Для большинства людей во всем мире есть только два места. То, где они живут, и их телевизор. Все, что передают по телевидению, мы имеем полное право считать увлекательным.

– Даже не знаю, радоваться мне или страдать из-за того, что мои ощущения разделяет масса народу.

– Страдать, – сказал он.

– Ясное дело, – сказал Лашер. – Все мы страдаем. Но так, что и от этого можем получать удовольствие.

– Вот что происходит, когда внимание не сосредоточено должным образом, – сказал Марри. – У людей начинается разжижение мозгов. А все потому, что они разучились слушать и смотреть по-детски. Разучились собирать исходные данные. В отношении экстрасенсорного восприятия лесной пожар на телеэкране находится на более низком уровне, чем десятисекундная реклама автоматической посудомоечной машины. У рекламного ролика более сильные эманации и волны. Но мы изменили сравнительную значимость этих явлений. Вот почему у людей устают глаза, уши, мозги и нервная система. Все дело в неверном подходе.

Граппа небрежно швырнул в Лашера половинку намазанной маслом булочки, угодив ему в плечо. Граппа был бледным, пухлым, как младенец. Булочку он бросил, желая привлечь внимание Лашера.

Граппа спросил его:

– Ты чистил когда-нибудь зубы пальцем?

– Я чистил зубы пальцем, когда впервые ночевал в доме родителей жены, еще до женитьбы. Ее родители уехали тогда на выходные в Эшбери-Парк. Вся семья пользовалась только зубной пастой «Ипана».

– А для меня забытая щетка – это уже фетиш, – сказал

Кодзакис. – Я чистил зубы пальцем в Вудстоке, Алтамонте, Монтерее, да и во время дюжины других основополагающих мероприятий.

Граппа посмотрел на Марри.

– Я чистил зубы пальцем после боя Али с Форманом в Заире, – сказал Марри. – Это самая южная точка, в которой я чистил зубы пальцем.

Лашер посмотрел на Граппу:

– Ты хезал когда-нибудь на унитазе без сиденья?

Граппа был настроен лирически:

– Огромный вонючий мужской туалет на заправочной станции «Сокони-Мобил» на Бостонском почтовом тракте, когда мой отец впервые выехал на машине за пределы города. Заправочная станция с крылатым красным конем. Хотите, расскажу про машину? Могу подробно ее описать, вплоть до самой мелкой детали.

– Таким вещам не учат, – сказал Лашер. – Пользоваться унитазами без сидений. Мочиться в умывальники. Существует культура общественных уборных. Все эти огромные закусочные, кинотеатры, заправочные станции. Весь дух дороги. На американском Западе. Я всюду мочился в раковины. Я крался через границу, чтобы помочиться в раковины Манитобы и Альберты. В том-то все и дело. Бескрайние небеса запада. Мотели «Бест Вестерн». Придорожные закусочные и рестораны для автомобилистов. Поэзия дороги, равнин, пустыни. Грязные, вонючие уборные. Когда я мочился в раковину в Юте, было двадцать два градуса мороза. Самая низкая температура, при которой я когда-либо мочился в раковину.

Альфонс Стомпанато строго посмотрел на Лашера.

– Где ты был, когда погиб Джеймс Дин? – угрожающе спросил он.

– В доме родителей жены, еще до женитьбы, слушал «Бальный зал притворства» на старой настольной модели «Эмерсона». «Моторола» со светящейся круговой шкалой тогда уже устарела.

– Похоже, ты много времени проводил в доме родителей жены и постоянно дрючился, – сказал Альфонс.

– Мы были детьми. Согласно культурным стереотипам, по-настоящему дрючиться было еще рано.

– Чем же вы занимались?

– Она моя жена, Альфонс. Ты хочешь, чтобы я рассказал об этом за столом всей честной компании?

– Джеймс Дин умер, а ты лапаешь какую-то двенадцатилетнюю девчонку. – Альфонс свирепо посмотрел на

Димитриоса Кодзакиса.

– А ты где был, когда погиб Джеймс Дин?

– В подсобке дядиного ресторана в «Астории», в Куинсе, пылесосил «Гувером».

Альфонс посмотрел на Граппу.

– А ты где был, черт подери? – спросил он так, словно как раз в этот момент ему в голову пришла мысль, что без некоторых сведений о местопребывании Граппы смерть актера нельзя считать окончательной.

– Я точно знаю, где я был, Альфонс. Дайка подумать.

– И где же ты был, сукин сын?

– О таких вещах я всегда помню все, вплоть до мельчайших подробностей. Но я был мечтательным юношей. У меня в жизни бывают подобные проблемы.

– Ты увлеченно дрочил. Ты это хочешь сказать?

– Спроси про Джоан Кроуфорд.

– Тридцатое сентября тысяча девятьсот пятьдесят пятого года. Умирает Джеймс Дин. Где же Николас Граппа и чем он занимается?

– Спроси меня про Гейбла, спроси про Монро.

– Серебристый «порш» с быстротою молнии приближается к перекрестку. Затормозить перед седаном «форд» уже нет времени. Вдребезги бьется стекло, пронзительно скрежещет металл. На месте водителя сидит Джимми Дин со сломанной шеей, множественными переломами и рваными ранами. Пять сорок пять пополудни по времени тихоокеанского побережья. Где же Николас Граппа, король онанистов Бронкса?

– Спроси про Джеффа Чандлера.

– Ты мужик средних лет, Ники, а все собственным детством торгуешь.

– Спроси меня про Джона Гарфилда, спроси про Монти Клифта.

Кодзакис представлял собой крупный, располневший монолит тела. До того, как войти в здешний профессорско-преподавательский состав, он служил личным телохранителем у Малыша Ричарда и возглавлял команды охранников на рок-концертах.

Эллиот Лашер швырнул в него куском сырой морковки, потом спросил:

– Ты когда-нибудь заставлял женщину сдирать у тебя со спины облупившуюся кожу после нескольких дней на пляже?

– Коко-Бич, Флорида. Просто потрясающе. Едва ли не самое великолепное ощущение в жизни.

– А она была голая? – спросил Лашер.

– До пояса, – сказал Кодзакис.

– Сверху или снизу? – спросил Лашер.

Я смотрел, как Граппа бросается крекером в Марри. Он запустил крекер, как фрисби, с замахом от левого плеча.

15

Я надел темные очки, попытался принять невозмутимый вид и вошел в комнату. В креслах, на диванах и на бежевом ковре сидели двадцать пять или тридцать молодых мужчин и женщин, многие – в одежде осенних расцветок. Между ними, не умолкая, расхаживал Марри, чья правая рука манерно дрожала. Завидев меня, он застенчиво улыбнулся. Я встал у стены и, пытаясь выглядеть посолиднее, скрестил руки на груди под черной мантией.

Марри произносил содержательный монолог:

– Знала ли мать, что Элвис умрет молодым? Она говорила о наемных убийцах. Говорила о жизни. О жизни звезды такого типа и такой величины. Разве эта жизнь не структурирована таким образом, чтобы сразить вас во цвете лет? В этом вся суть, не правда ли? Существуют правила, принципы. Если вы недостаточно умны и тактичны, чтобы умереть молодыми, вам придется исчезнуть, спрятаться, словно из чувства стыда, словно прося прощения. Мать волновалась из-за его сомнамбулизма. Она боялась, как бы он не вышел в окно. У меня есть свое мнение о матерях. Матери и вправду все знают. В фольклоре все сказано верно.

– Гитлер обожал свою мать, – сказал я.

Прилив внимания, не выраженного словами, заметного лишь по определенной конвергенции тишины, по внутреннему напряжению. Марри, разумеется, продолжал двигаться, но уже чуть медленнее, осторожно пробираясь между креслами, между людьми, сидящими на полу. Я стоял у стены, скрестив руки на груди.

– Элвис и Глэдис любили обниматься и целоваться, – сказал Марри. – Пока он не начал превращаться в зрелого мужчину, они спали в одной постели. Они постоянно друг с другом сюсюкали.

– Гитлер был ленивым ребенком. В его табеле успеваемости было полным-полно неудов. Но Клара любила его, баловала, уделяла ему столько внимания, сколько не мог уделять отец. Это была женщина тихого нрава, скромная и набожная, к тому же она хорошо готовила и умела хозяйничать.

– Глэдис каждый день провожала Элвиса в школу и обратно. Она защищала его в мелких уличных потасовках, набрасывалась на каждого мальчишку, который пытался его задирать.

– Гитлер предавался мечтам. Он брал уроки игры на рояле, делал наброски музеев и вилл. Нередко он сидел дома без дела. Клара это терпела. Он первым из ее детей остался в живых.

Остальные трое умерли в раннем детстве.

– Элвис доверял Глэдис. Он приводил и знакомил с ней своих девушек.

– Гитлер посвятил матери стихотворение. Мать и племянница были женщинами, оказавшими самое большое влияние на его убеждения.

– Когда Элвис поступил на военную службу, Глэдис заболела и впала в депрессию. Возможно, она опасалась не только за него, но и за себя. Ее психика подавала только нехорошие сигналы. Преобладали дурные предчувствия и мрачные мысли.

– Почти не вызывает сомнений тот факт, что Гитлер был, так сказать, маменькиным сынком.

Один из молодых людей, продолжая записывать, рассеянно пробормотал: «Muttersöhnchen». Я взглянул на него с опаской. Затем, не сумев сдержать внезапного порыва, оторвался от стены и принялся ходить взад и вперед, как Марри, время от времени останавливаясь – жестикулировать, слушать, глазеть в окно или на потолок.

– Когда состояние Глэдис ухудшилось, Элвис, с трудом переносивший ее отсутствие, старался не спускать с нее глаз. Он дежурил у ее постели в больнице.

– Когда мать тяжело заболела, Гитлер, желая быть к ней поближе, поставил на кухне кровать. Он готовил и убирал.

– Когда Глэдис умерла, Элвис с ума сходил от горя. Он ласкал и целовал ее, когда она лежала в гробу. Сюсюкал с ней, пока гроб не опустили в могилу.

– Похороны Клары обошлись в триста семьдесят крон. На могиле Гитлер плакал, а потом у него начался период депрессии и жалости к себе. Он чувствовал себя безмерно одиноким. Он потерял не только горячо любимую маму, но и ощущение домашнего очага.

– Вполне вероятно, что смерть Глэдис вызвала кардинальный сдвиг в мироощущении Короля. Мать была для него якорем спасения, вселяла в него чувство безопасности. Он стал удаляться от реального мира, начал сам постепенно угасать.

– До конца своих дней Гитлер видеть не мог елочных игрушек, потому что его мать умерла возле рождественской елки.

– Элвис угрожал людям смертью, грозили ли смертью и ему. Он стал посещать и осматривать морги, заинтересовался НЛО. Начал изучать «Bardo Thodol», общеизвестную как «Тибетская книга мертвых». Это руководство по умиранию и перевоплощению.

– Много лет спустя, в тисках собственного мифа и безысходного одиночества, Гитлер хранил портрет матери в

своем спартанском жилище в Оберзальцберге. У него начало звенеть в левом ухе.

Посреди комнаты мы с Марри встречались, едва не сталкиваясь. Вошел Альфонс Стомпанато, за ним – несколько студентов, привлеченных, вероятно, некоей магнитной волной возбуждения, неким безумием, насыщавшим воздух. С мрачным видом завкафедрой грузно уселся в кресло, а мы с Марри, обойдя друг друга и избежав обмена взглядами, направились в разные стороны.

– Элвис выполнил условия договора. Неумеренность во всем, деградация, самоубийственный образ жизни, нелепые поступки, тучность и ряд инсультов, до которых он довел себя сам. Его место в легендах надежно защищено. От скептиков он откупился своей ранней смертью, ужасной, безвременной. Возможно, его мать задолго до собственной кончины видела все это, как на девятнадцатидюймовом экране.

Марри с удовольствием уступил мне место – отошел в угол комнаты и сел на пол, предоставив мне расхаживать и жестикулировать в одиночестве, под надежной защитой моей профессиональной ауры силы, безумия и смерти.

– Гитлер называл себя одиноким путником из небытия. Он постоянно сосал леденцы, произносил перед людьми нескончаемые монологи, используя такие спонтанные ассоциации, словно устная речь возникла где-то во внеземных просторах, а сам он – всего лишь медиум откровения. Интересно было бы выяснить, обращался ли он мысленно, сидя в «фюрербункере» под горящим городом, к первому периоду своего пребывания у власти. Вспоминал ли о небольших группах туристов, посещавших маленькую деревушку, где родилась его мать и где он обычно проводил лето с двоюродными родственниками, катаясь на телегах, запряженных волами, и мастеря воздушных змеев? Туристы приезжали, чтобы воздать должное памятным местам, родине Клары. Они входили в дом на ферме, опасливо выискивая что-нибудь интересное. Мальчишки влезали на крышу. Со временем число туристов стало расти. Они делали снимки, украдкой засовывали в карманы всякие безделушки. Потом приезжали целые орды, и толпы людей, заполнявшие двор, распевали патриотические песни, малевали свастики на стенах, на боках домашнего скота. Целые толпы собирались и возле его виллы в горах – так много народу, что он не мог выйти из дома. Люди подбирали камешки, по которым он ходил, и увозили с собой на память. Толпы приходили слушать его речи, эротически возбужденные толпы, те народные массы, которые он однажды назвал своей единственной невестой.

Произнося речь, он закрывал глаза, сжимал кулаки, вертелся, обливался потом, превращал свой голос в оружие, приводившее людей в трепет. Кто-то назвал эти выступления «убийствами на сексуальной почве». Толпы приходили, чтобы поддаться гипнозу голоса, партийных гимнов, факельных шествий.

Я уставился на ковер и молча досчитал до семи.

– Однако постойте. Каким знакомым все это кажется, почти привычным. Собираются толпы, люди приходят в возбуждение, тесно прижимаются друг к другу – они жаждут самозабвенного восторга. Разве это не привычное явление? Нам же все это знакомо. Но те толпы наверняка чем-то отличались от нынешних. Чем же? Позвольте мне шепотом произнести это страшное слово – из древнеанглийского языка, из древненемецкого, из древнеисландского. «Смерть». Многие люди собирались в те толпы во имя смерти. Они приходили почтить память умерших. Процессии, пение, речи, диалоги с покойниками, перечисление имен погибших. Они приходили, чтобы увидеть костры и фейерверки, тысячи приспущенных флагов, тысячи скорбящих в военной форме. Там были шеренги войск и авиационные эскадрильи, замысловатые театральные задники, кроваво-красные знамена и черные парадные мундиры. Люди собирались в толпы для того, чтобы поставить заслон собственной смерти. Влиться в толпу – значит спастись от гибели. Отстать от толпы – значит рисковать жизнью как отдельная личность, в одиночестве смотреть смерти в лицо. Главным образом, по этой причине толпы и собирались. Люди приходили, чтобы влиться в толпу.

Марри сидел у противоположной стены. В глазах его отражалась глубокая благодарность. Я не поскупился на энергию и безумие, имевшиеся в моем распоряжении, и допустил, чтобы мой предмет стал ассоциироваться с гораздо менее значительной фигурой – с парнем, который сидел в креслах фирмы «Лэй-Зи-Бой» и палил по телевизорам. Это далеко не пустяк. Каждый из нас должен сохранять некую ауру, и, делясь своею с другом, я рисковал всем, что ставило меня вне критики.

Вокруг собрались люди, студенты и преподаватели, и в негромком шуме почти неслышных замечаний и доносящихся со всех сторон голосов до меня дошло, что мы уже сделались толпой. Не сказал бы, что в тот момент мне нужна была толпа. В тот момент – меньше всего. В колледже смерть – вопрос сугубо профессиональный. Он не причинял мне беспокойства, я неплохо в нем разбирался. Марри протиснулся ко мне и, раздвигая толпу дрожащей рукой, проводил меня до выхода.

16

В тот день, в два часа пополудни, расплакался Уайлдер. В шесть он все еще плакал, сидя в кухне на полу и глядя в окошко духовки, а мы второпях ужинали, то перешагивая через него, то обходя вокруг, чтобы добраться до плиты или холодильника. Бабетта ела, не спуская с него глаз. Ей предстояло еще учить свою группу сидеть, стоять и ходить. До начала занятий полтора часа. Бабетта бросила на меня беспомощный, умоляющий взгляд. Она уже утешала Уайлдера, брала на руки и ласкала, проверяла его зубы, купала в ванне, осматривала, щекотала, кормила, уговаривала заползти в виниловый тоннель. Вскоре в подвале церкви должны собраться ее старики.

То был ритмичный плач, обдуманное заявление в форме резкой, назойливой пульсации. Порой казалось, что Уайлдер вот-вот сорвется на нытье, жалобный скулеж животного, прерывистый и слабый, но ритмичность сохранялась, темп возрастал, а на вымытом розовом личике отражалась скорбь.

– Отвезем его к врачу, – сказал я. – Потом подброшу тебя к церкви.

– А врач станет осматривать плачущего ребенка? К тому же его доктор сейчас не принимает.

– А твой?

– По-моему, принимает. Но ребенок просто плачет, Джек. Что я скажу врачу? «Мой сынишка плачет»?

– А он ничем не болен?

Ощущения кризиса пока не было. Только отчаяние и раздражение. Однако решив отправиться к врачу, мы тут же разнервничались и заторопились. Искали куртку и ботинки Уайлдера, пытались вспомнить, что он ел за последние сутки, старались предугадать вопросы, которые будет задавать доктор, и тщательно репетировали свои ответы. Казалось, договориться об ответах крайне важно, даже если мы не уверены, что они правильные. Врачи теряют интерес к людям, которые друг другу возражают. Мои отношения с врачами были издавна проникнуты этим ужасом – вдруг они потеряют интерес ко мне, прикажут своим регистраторшам вызывать меня в кабинет последним, решат, что я умираю, и на этом успокоятся.

Бабетта с Уайлдером вошли в медицинский центр, а я остался ждать в машине. Врачебные кабинеты повергают меня в депрессию сильнее, чем больницы: вся тамошняя обстановка наполнена безрезультатным ожиданием, а порой один из пациентов уходит с хорошими вестями, пожав антисептическую

руку доктора, и громко смеется, смеется в ответ на каждое слово, едва ли не лопается от смеха, от избытка энергии, демонстративно игнорирует прочих пациентов, когда, все так же вызывающе смеясь, идет через приемную, – они уже стали для него чужими, он больше не имеет отношения к их еженедельному унынию, к их суетному, бесславному умиранию. Я бы охотнее зашел в отделение скорой помощи, в какой-нибудь городской рассадник страха, куда людей привозят с пулями в животах, с глубокими ножевыми ранениями, с сонными от опиатов глазами и со сломанными иглами, торчащими из рук. Подобные вещи не имеют ничего общего с моей собственной возможной смертью, ненасильственной, тихой, как сама провинция, отмеченной глубокими раздумьями.

Они вышли из небольшого светлого вестибюля. На улице было холодно, пустынно и темно. Мальчик шел рядом с матерью, держа ее за руку, по-прежнему плача, и оба казались таким дилетантским воплощением скорби и печали, что я едва не рассмеялся – не над печалью, а над тем, как они ее изображали, над несоответствием между их горем и его внешними проявлениями. Мои чувства жалости и милосердия изрядно притупились, когда я увидел, как они переходят тротуар, закутанные в теплую одежду, как стоически плачет ребенок, как мать с растрепанными волосами сутулится при ходьбе: вид у парочки был жалкий и удрученный. Не способны адекватно выразить горе, нестерпимые душевные муки. Не этим ли объясняется существование профессиональных плакальщиков? Те оберегают бдение у фоба от комичного пафоса.

– Что сказал доктор?

– Велел дать ему таблетку аспирина и уложить спать.

– То же самое говорила Дениза.

– Я ему об этом сказала. А он: «Ну и почему же вы этого не сделали?»

– Действительно, почему?

– Она еще ребенок, а не врач – вот почему.

– Ты ему это сказала?

– Не знаю, что я ему сказала, – ответила она. – Я сама никогда не могу взять в толк, что говорю врачам, а уж что они мне говорят – и подавно. Какие-то помехи в воздухе возникают.

– Я тебя очень хорошо понимаю.

– Это все равно что вести разговор, выйдя в открытый космос, когда люди болтаются там в этих тяжелых скафандрах.

– Все плывет и парит в невесомости.

– Я постоянно вру докторам.

– Я тоже.

– Но почему?

Когда я завел мотор, до меня дошло, что характер и тембр плача стали другими. Назойливый ритм сменился протяжным, невнятным и скорбным звуком. Уайлдер уже голосил, и в голосе этом звучали горькие жалобы, типичные для Ближнего Востока, излилась боль, столь доступная пониманию, что, переполняя человека, она уничтожает все прямые причины ее возникновения. Было в этом плаче нечто необратимое, исходящее из глубины души. Звук врожденного безысходного отчаяния.

– Что же делать?

– Придумай что-нибудь, – сказала Бабетта.

– До начала твоих занятий еще пятнадцать минут. Давай отвезем его в больницу, в приемную скорой помощи. Просто интересно, что они скажут.

– Нельзя же везти ребенка в отделение скорой помощи только потому, что он плачет. Наверное, это как раз тот редкий случай, когда неотложка не требуется.

– Я подожду в машине, – сказал я.

– А что я им скажу? «Мой сынишка плачет»? Да и вообще, есть там отделение скорой помощи?

– Ты что, не помнишь? Мы же этим летом отвозили туда Стоверов.

– Зачем?

– Их машина была в ремонте.

– Ладно, замнем.

– Они надышались каким-то аэрозольным пятновыводителем.

– Отвези меня на занятия, – сказала она.

Осанка. Когда я остановился у церкви, некоторые ученики Бабетты уже спускались по ступенькам ко входу в подвал. Бабетта в отчаянии устремила на сына пронизывающий умоляющий взгляд. Он плакал уже почти шесть часов. Добежав по тротуару до церкви, она скрылась в здании.

Я хотел было отвезти Уайлдера в больницу. Но если врач, который тщательно осмотрел мальчика в своем уютном кабинете с картинами в причудливых позолоченных рамах на стене, не сумел найти никакого недуга, что смогли бы сделать специалисты по оказанию первой помощи, люди, обученные бросаться на грудные клетки и колотить по остановившимся сердцам?

Я взял Уайлдера на руки и посадил спиной к рулю, лицом ко мне, положив его ноги себе на бедра. Горькие стенания продолжались волна за волной. Звук стал таким звонким и чистым, что его уже можно было слушать, осознанно постигать, настроив мысленный регистр, как в театре или концертном зале. Уайлдер не ревел и не хныкал. Он громко жаловался на нечто

невыразимое, причем в такой манере, которая взволновала меня яркостью и силой воздействия. То была старинная погребальная песнь, только еще выразительнее из-за неколебимой монотонности. Настоящий вой. Сунув руки Уайлдеру под мышки, я посадил его прямо. Пока плач продолжался, направление моих мыслей странным образом изменилось. Я вдруг понял: мне особо не хочется, чтобы малыш умолк. Может, не так уж и страшно, подумал я, что придется посидеть еще немного и послушать. Мы посмотрели друг на друга. За этим апатичным, сонным личиком скрывался сложный процесс мышления. Поддерживая Уайлдера одной рукой, другой я вслух, по-немецки, сосчитал его пальцы в варежках. Неутешный плач все не смолкал, он окатывал меня проливным дождем. В некотором смысле, я в него проник. Я подставил под него лицо и грудь, мне показалось, что Уайлдер уже исчез в этом громком стенании и что, сумей я отыскать его в том неведомом затерянном месте, где он оказался, мы вдвоем смогли бы безрассудно сотворить некое чудо, дабы понять наконец друг друга. Я принимал на себя этот плач всем телом. Может, не так уж и страшно, думал я, что придется сидеть еще часа четыре с работающими мотором и обогревателем и слушать эту однозвучную жалобную песнь. Быть может, это благотворный плач, быть может, как ни странно, он приносит утешение. Я проник в него, провалился, позволил ему поглотить меня и скрылся в нем. Малыш плакал с открытыми глазами и с закрытыми, засовывая ручонки в карманы, то надевая, то снимая варежки. Я сидел и глубокомысленно кивал. Поддавшись внезапному порыву, я перевернул Уайлдера, посадил к себе на колени и завел машину, разрешив ему порулить. Однажды мы уже проехали так ярдов двадцать – воскресным августовским вечером, когда вся наша улица погрузилась в сонный полумрак. И вновь он был послушен, не переставал плакать ни за рулем, ни когда мы несколько раз повернули за угол, и я опять остановил машину у конгрегационалистской церкви. Я пересадил малыша на свою левую ногу, обнял, притянул к себе и постепенно начал забываться беззаботным сном. Плач уже звучал где-то вдали, сделавшись прерывистым. Время от времени мимо проезжали машины. Я прислонился к двери, одним лишь большим пальцем ощущая дыхание малыша. Спустя некоторое время в окошко постучалась Бабетта, и Уайлдер пополз по сиденью поднять защелку и впустить ее. Она села в машину, поправила шляпку, подобрала с пола скомканную бумажную салфетку.

На полпути домой плач прекратился. Неожиданно, без изменения интонации и силы звука. Бабетта молчала, я не сводил глаз с дороги. Уайлдер сидел между нами, уставившись на

приемник. Я ждал, когда Бабетта бросит на меня взгляд у него за спиной, поверх его головы, когда станет ясно, что ей стало легче, и в глазах ее будут радость и беспокойство пополам с надеждой. Мне нужен был какой-то намек, чтобы разобраться в собственных чувствах. Но она смотрела прямо перед собой, словно боясь, что от малейшего изменения в сенситивной ткани звуков, жестов, выражений ребенок вновь расплачется.

Дома никто не проронил ни слова. Все молча ходили из комнаты в комнату, издалека бросая на Уайлдера угодливые, почтительные взгляды. Когда он попросил молока, Дениза босиком, в пижаме, неслышно бросилась на кухню, сознавая, что экономностью движений и легкостью шага сумеет не нарушить ту драматическую атмосферу серьезности, которая воцарилась в доме с приходом малыша. Молоко он выпил моментально, залпом, по-прежнему полностью одетый, с варежками, приколотыми к рукаву булавкой.

Они смотрели на него чуть ли не в благоговейном страхе. Почти семь часов непрерывного жалобного плача. Казалось, Уайлдер только что вернулся из долгих странствий по неким далеким святым местам, по песчаным равнинам или заснеженным степям – по местам, где люди говорят такие вещи, любуются такими зрелищами, преодолевают такие расстояния, которые у нас, погрязших в своих тяжких будничных трудах, могут вызывать лишь удивление, смешанное с благоговением, то чувство, что мы приберегаем для самых благородных и многотрудных подвигов.

17

Однажды ночью, в постели, Бабетта сказала:

– Правда, здорово, что у нас столько детей?

– Скоро еще один ребенок появится.

– Кто?

– Через пару дней приезжает Би.

– Отлично. Кем бы еще обзавестись?

На другой день Дениза решила без обиняков заговорить со своей матерью о лекарстве, которое она то ли принимает, то ли нет. Девочка надеялась хитростью вынудить Бабетту признать или допустить свою вину, в крайнем случае – разнервничаться. Такую тактику мы с ней не обсуждали, но я не мог не восхищаться, как искусно она выбрала момент. Набившись вшестером в машину, мы направились в «Мид-виллидж», и Дениза, попросту дождавшись, когда разговор естественным образом прервался, безразлично обратилась со своим вопросом к Бабеттиному затылку:

– Ты что-нибудь знаешь про дилар?

– Это чернокожая девочка, которая гостит у Стоверов?

– Это Дакар, – сказала Стеффи.

– Дакар – это не имя, а место, откуда она родом, – сказала Дениза. – Страна на африканском берегу слоновой кости.

– Столица – Лагос, – сказала Бабетта. – Я знаю, потому что смотрела фильм про серфингистов, которые путешествуют по всему свету.

– «Идеальная волна», – сказал Генрих. – Я смотрел его по телевизору.

– А как же девочку зовут? – спросила Стеффи.

– Не знаю, – сказала Бабетта, – но фильм называется не «Идеальная волна». Идеальная волна – то, что они искали.

– Они приезжают на Гавайи, – объяснила Дениза Стеффи, – и ждут, когда появятся приливные волны из Японии. Эти волны называются оригами.

– А фильм называется «Долгое жаркое лето», – сказала ее мать.

– «Долгое жаркое лето», – сказал Генрих, – это, между прочим, пьеса Теннесси Эрни Уильямса.

– Не важно, – сказала Бабетта, – ведь ты все равно не можешь обеспечивать авторское право на названия.

– Если эта девчонка – африканка, – сказала Стеффи, – то интересно знать, каталась ли она когда-нибудь на верблюде.

– Спроси лучше про «ауди-турбо».

– Спроси про «тойоту-супра».

– А что верблюды запасают у себя в горбах? – спросила Бабетта. – Пищу или воду? Я никогда толком не могла понять.

– Бывают одногорбые верблюды и двугорбые, – сообщил ей Генрих. – Так что это смотря какого ты имеешь в виду.

– Значит, по-твоему, двугорбый верблюд в одном горбе запасает пищу, а в другом – воду?

– Главное в верблюдах то, – сказал он, – что верблюжье мясо считается деликатесом.

– А я думала, это мясо аллигатора, – сказала Дениза.

– Кто ввез верблюдов в Америку? – спросила Бабетта. – На западе некоторое время на них возили продовольствие для кули, которые строили длинные железные дороги, соединившиеся в Огдене, штат Юта. Я еще не забыла экзамены по истории.

– Ты уверена, что говоришь не о гуанако? – спросил Генрих.

– Гуанако обитали в Перу, – сказала Дениза. – В Перу есть гуанако, викунья и еще одно животное. В Боливии есть олово. В Чили – медь и железо.

– Даю пять долларов тому, – сказал Генрих, – кто назовет мне население Боливии.

– Боливийцы, – сказала моя дочь.

Семья – колыбель всемирной дезинформации. В семейной жизни нечто наверняка порождает ложные представления о действительности. Чрезмерная скученность, шум и суета бытия. А может, и нечто более серьезное, к примеру – стремление остаться в живых. Марри утверждает, что все мы – хрупкие создания, окруженные миром враждебных фактов. Факты – угроза нашему счастью, нашей безопасности. Докапываясь до сути вещей, мы, возможно, тем самым ослабляем связи между собой. В процессе своего развития семья постепенно отгораживается от окружающего мира. Незначительные заблуждения делаются крупными, распространяются выдумки. Я говорю Марри, что невежество и путаница мыслей никак не могут способствовать укреплению семейных уз. Что за фантазия, что за извращенное представление. Он спрашивает, почему самые прочные семейные узы существуют в наименее развитых обществах. Неведение есть средство выживания, утверждает он. Чернокнижие и суеверия, укореняясь в клане, превращаются в твердую ортодоксальную веру. Семья прочнее всего там, где неправильное истолкование объективной реальности наиболее вероятно. Что за жестокая теория! – возмущаюсь я. Но Марри настаивает на том, что она верна.

В торговом центре, в огромном магазине хозтоваров, я встретил Эрика Массингейла, бывшего специалиста по сбыту

микрочипов, который изменил свой образ жизни, приехав сюда преподавать в компьютерном центре на Холме. Худой и бледный тип со зловещей ухмылкой.

– Вы не надели темные очки, Джек.

– Я ношу их только в колледже.

– Понял.

Каждый своим путем мы направились в глубь магазина. Все громадное пространство оглашалось эхом такого сильного шума, словно там вымирал целый биологический вид крупного рогатого скота. Люди покупали семиметровые приставные лестницы, наждачную бумагу шести сортов, мотопилы, которыми можно валить деревья. Длинные, ярко освещенные проходы были забиты гигантскими метлами, тяжелыми мешками с торфом и навозом, огромными мусорными ящиками фирмы «Раббермейд». Точно тропические фрукты, висели канаты с красиво заплетенными коричневыми прядями, толстыми и крепкими. Как же все-таки приятна с виду и на ощупь бухта каната. Я купил пятьдесят футов манильской пеньки – просто чтобы иметь ее под рукой, показать сыну, поговорить о том, из чего и как она делается. Люди говорили по-английски, по-вьетнамски, на хинди и родственных языках.

У кассовых терминалов я вновь столкнулся с Массингейлом.

– Мы с вами еще никогда не виделись за территорией колледжа, Джек. Без очков и мантии вы выглядите совсем по-другому. Где вы этот свитер раздобыли? Это же турецкий армейский свитер? По почте заказали, да?

Он окинул меня взглядом, пощупал водоотталкивающую ткань куртки, которую я нес на руке. Потом отступил, изменив угол обзора, едва заметно кивнул и прикинул что-то в уме, отчего его ухмылка постепенно сделалась самодовольной.

– Кажется, эти туфли мне знакомы, – сказал он.

В каком это, интересно, смысле ему знакомы мои туфли?

– Вы совершенно другой человек, Джек.

– Что значит «другой», Эрик?

– А вы не обидитесь? – спросил он, и ухмылка, исполнившись тайного смысла, стала сладострастной.

– Конечно нет. С какой стати?

– Обещайте, что не обидитесь.

– Не обижусь.

– У вас такой невинный вид, Джек. Этакий большой, безобидный стареющий парень, каких тысячи.

– Ну и на что тут обижаться? – спросил я, а потом заплатил за веревку и торопливо направился к выходу.

После этой встречи мне захотелось побродить по магазинам.

Я разыскал остальных, и мы, пройдя через две автостоянки, направились в главное сооружение «Мидвиллиджа» – десятиэтажное здание с внутренним двором, где имелись водопады, променады и сад. Бабетта с детьми, озадаченные, но возбужденные моим стремлением к приобретательству, заходили со мной в лифт, в лавки, расположенные на разных ярусах, шли через большие магазины и универмаги. Когда я никак не мог выбрать одну из двух рубашек, они уговорили меня купить обе. Когда я сказал, что проголодался, они угостили меня пивом с греческим шашлыком и солеными крендельками. Девочки вдвоем уходили вперед на разведку, пытаясь найти то, что, по их мнению, могло мне понадобиться или захотеться, бегом возвращались, хватали за руки, звали за собой. Они показывали мне дорогу к безграничному благоденствию. В модных лавках и магазинах деликатесов толпился народ. Снизу, с огромного двора, доносилась органная музыка. Мы вдыхали запахи шоколада, воздушной кукурузы, одеколона; вдыхали запахи ковров и мехов, висячих батонов салями и ядовитого винила. Моя семья торжествовала. Наконец-то я стал одним из них и, как они, ходил по магазинам. Они давали мне советы, придирались ради меня к продавцам. Я то и дело видел свое отражение в какой-нибудь зеркальной поверхности. Мы шли от магазина к магазину, игнорируя не только товары в определенных отделах, не только целые отделы, но и сами магазины, гигантские корпорации, которые по той или иной причине не приходились нам по вкусу. Ведь впереди всегда был еще один магазин, еще три этажа, восемь этажей, был подвал, полный терок для сыра и кривых ножей. Покупки я делал безрассудно и самозабвенно. Я покупал те вещи, что были нужны в ближайшее время, и те, что могли неожиданно понадобиться в далеком будущем. Я ходил по магазинам просто из любви к искусству – оглядывая прилавки, ощупывая и тщательно осматривая товары, которые не собирался покупать, и тут же покупая их. В поисках неких эфемерных узоров я заставлял продавцов рыться в альбомах с образцами тканей и в альбомах выкроек. Я начал чувствовать себя более полноценной личностью, расти в собственных глазах. Преисполнившись сознания собственной важности, я нашел в своем характере новые черты, обнаружил в себе качества, о существовании которых уже успел позабыть. Все вокруг лучилось ярким светом. Мы переходили от мебели к мужской одежде, останавливаясь возле косметики. На отделанных зеркалами колоннах, в изделиях из стекла и хрома, на телемониторах в помещениях охраны возникали наши изображения. Я обменивал деньги на товар. Чем больше денег я тратил, тем менее важным это казалось. Я был значительнее этих

сумм. Этими суммами я буквально сорил. К тому же суммы эти возвращались ко мне в виде экзистенциального кредита. Чувствуя себя широкой натурой, склонной к безграничной щедрости, я велел детям немедленно выбрать себе подарки на Рождество. Я чувствовал, что способен на широкие жесты, и был уверен, что произвел впечатление на детей. Они тут же разбежались в разные стороны. У каждого вдруг объявилась склонность к самостоятельности, замкнутости, даже к скрытности. Время от времени кто-нибудь возвращался и называл выбранный предмет Бабетте, следя затем, чтобы больше никто не узнал, что это такое. Лично мне докучать подробностями не следовало. Я был благодетелем, я раздавал подарки, взятки, премии, бакшиш. Дети знали: в сложившейся ситуации на мое участие в обсуждении формальностей приобретения подарков рассчитывать нельзя. Мы поели еще раз. Оркестр исполнял популярные мелодии. И на десятом этаже слышались голоса из сада с променадами, гул голосов, чье эхо вихрем разносилось по громадной галерее, смешиваясь с гомоном всех ярусов, шарканьем ног и звоном колокольчиков, с глухим шумом эскалаторов, со звуками людского пиршества, с радостным гудением толпы, неутомимо ведущей некие деловые операции.

Домой мы ехали молча. Потом, желая побыть в одиночестве, разошлись по своим комнатам. Немного погодя я посмотрел на Стеффи, сидевшую перед телевизором. Она шевелила губами, пытаясь синхронно повторять каждое услышанное слово.

18

Провинциалам свойственно – и приятно – с недоверием относиться к большому городу. Какие бы руководящие принципы ни рождались в средоточии идей и активной культурной деятельности, все они расцениваются как извращение, как тот или иной вид порнографии. Так обстоят дела в маленьких городках.

Но Блэксмит расположен вдали от больших городов. Если нас и удручает предчувствие беды, то совсем не так, как жителей других маленьких городков. Мы не препятствуем ходу истории и ее разлагающему влиянию. Сосредоточься все наше недовольство на чем-то одном, это наверняка был бы телевизор – место, где таится внешний источник мучений, причина страхов и тайных желаний. Безусловно, как символ пагубного влияния Колледж-на-Холме возмущения почти не заслуживает. Это учебное заведение расположено на вечно безмятежном краю городского ландшафта, в более или менее живописном месте, почти на отшибе, в стороне от политических бурь. Обычно подобные места особых подозрений не вызывают.

В легкий снегопад я поехал в аэропорт неподалеку от Айрон-Сити – сравнительно большого города, погрязшего в общественных беспорядках, скорее центра одичания и битого стекла, чем места, где городская жизнь полностью пришла в упадок. Рейсом из Вашингтона, с двумя посадками и одной пересадкой, прилетала Би, моя двенадцатилетняя дочь. Однако в зоне прилета – тесном запыленном обломке третьего мира в состоянии вечной реконструкции – появилась ее мать, Твиди Браунер. Я решил было, что Би умерла, а Твиди приехала сообщить мне об этом лично.

– А где Би?

– Прилетит сегодня, попозже. Потому я и здесь. Хочу побыть с ней немного. Завтра я должна ехать в Бостон. Семейные дела.

– Но где она?

– У своего отца.

– Ее отец – это я, Твиди.

– У Малькольма Ханта, дурачок. У моего мужа.

– Это твой муж, а не ее отец.

– Ты еще любишь меня, Пупсик?

Она звала меня Пупсиком – так же, как ее мать когда-то называла ее отца. Все Браунеры мужского пола звались Пупсиками. Когда мужская линия увяла, подарив миру ряд эстетов и бездарей, так стали нарекать всех мужчин,

породнившихся с семьей путем заключения брака – конечно, в разумных пределах. Я был первым из таких мужчин, и всякий раз, когда меня так называли, готовился услышать в голосах новоявленных родственников нотку чрезмерно утонченной иронии. Я полагал, что ирония появляется в голосе, если традиция делается слишком изменчивой. Ирония, гнусавость, сарказм, самопародия и так далее. Насмехаясь над собой, они тем самым наказывали меня. Но при этом они были очень милы, совершенно искренни, даже благодарны мне за то, что я позволяю им вести себя столь несдержанно.

На Твиди были шетландский свитер, юбка из твида, гольфы и дешевые мягкие ботинки. Вокруг нее витал дух протестантской ветхости, слабая аура, в которой боролось за выживание ее бренное тело. Светлая кожа худого лица, глаза слегка навыкате, признаки переутомления и недомогания: мешки под глазами и складки у рта, на виске бьется жилка, вены вздулись на руках и на шее. Просторный свитер обсыпан сигаретным пеплом.

– В третий раз спрашиваю: где она?

– Примерно в Индонезии. Малькольм глубоко законспирирован. Организует коммунистическое возрождение. Часть хитроумного плана по свержению Кастро. Поехали отсюда, Пупсик, пока не собралась толпа детишек милостыню просить.

– Она летит одна?

– Почему нет?

– От Дальнего Востока до Айрон-Сити не так просто добраться.

– Если нужно, Би с любыми трудностями справится. По правде сказать, она хочет писать книги о путешествиях. Хорошо держится на лошади.

Твиди глубоко затянулась и ловко, быстрыми струйками, выпустила дым из носа и изо рта – трюк этот она обычно проделывала, если хотела выразить крайнее недовольство окружающей обстановкой. В аэропорту не было ни баров, ни ресторанов – только буфет с расфасованными бутербродами, где хозяйничал некий тип с сектантскими отметинами на лице. Мы получили багаж Твиди, вышли, сели в машину и поехали через Айрон-Сити, мимо заброшенных заводов, по преимущественно безлюдным проспектам, по городу холмов, редких мощеных улиц, разбросанных тут и там прекрасных старинных домов, праздничных венков в окнах.

– Пупсик, я несчастна.

– Почему?

– Откровенно говоря, я думала, ты будешь вечно меня любить. Мне нужна твоя поддержка. Малькольм почти все время в

разъездах.

– Мы разводимся, ты забираешь у меня все деньги, выходишь за состоятельного, элегантного дипломата из хорошей семьи, который тайно засылает агентов в засекреченные и недоступные районы.

– Малькольма всегда тянуло к джунглям.

Мы ехали вдоль железной дороги. В бурьяне валялось множество пенопластовых стаканчиков, выброшенных из окон вагонов или принесенных ветром со станции, расположенной южнее.

– А Дженет в Монтану потянуло, в ашрам, – сказал я.

– Дженет Сейвори? Боже правый, это еще зачем?

– Теперь ее зовут Мать Деви. Заведует хозяйственной деятельностью ашрама. Инвестиции, недвижимость, налоговые убежища. Дженет всегда к этому стремилась. К душевному спокойствию на выгодных условиях.

– У Дженет дивные кости черепа.

– Она талантливая проныра.

– Ты говоришь об этом с такой злобой. Я и не знала, что ты злой, Пупсик.

– Не злой, а глупый.

– Что значит проныра? Она скрытничала так же, как Малькольм?

– Она не говорила мне, сколько зарабатывает. По-моему, она читала мою почту. Сразу после рождения Генриха она втянула меня в сложные инвестиционные махинации с участием целой компании разноязыких людей. Сказала, что обладает информацией.

– Но она просчиталась, и вы потеряли кучу денег.

– Мы нажили кучу денег. Я запутался, угодил в ее сети. Она постоянно плела интриги. Оказалась под угрозой моя уверенность в будущем. Моя надежда на долгую и тихую, небогатую событиями жизнь. Дженет хотела оформить нас в качестве юридического лица. Нам звонили из Лихтенштейна, с Гебрид. Вымышленные места, коварные планы.

– Все это не похоже на ту Дженет Сейвори, с которой я провела восхитительные полчаса. На широкоскулую Дженет с надтреснутым ядовитым голосом.

– Все вы широкоскулые. Все до одной. У каждой дивные кости черепа. Слава богу, хоть есть Бабетта с ее продолговатым полным лицом.

– Неужели тут нигде нельзя культурно поесть? – спросила Твиди. – Должно же где-то быть заведение со скатертями и холодными кусочками масла. Как-то раз мы с Малькольмом пили

чай с полковником Каддафи. Обаятельный и безжалостный мужчина, один из немногих наших знакомых террористов, который всей своей жизнью оправдывает свою скандальную репутацию.

Снегопад кончился. Мы ехали через район товарных складов: еще более пустынные улицы, безжизненность и анонимность запечатлевались в памяти как неизбывная тоска по чему-то, давно и безвозвратно утраченному. Унылые кафе, еще одна железнодорожная ветка, товарные вагоны на запасном пути. Твиди непрерывно куриладлинные сигареты, раздраженно пуская во все стороны струйки дыма.

– Боже, Пупсик, мы были хороши вместе.

– В чем хороши?

– Дурачок, ты должен смотреть на меня с нежностью и тоской, со скорбной улыбкой.

– Ты перед сном надевала перчатки.

– И сейчас надеваю.

– Перчатки, наглазники и носки.

– Ты знаешь мои недостатки. Всегда знал. Я крайне чувствительна ко многим вещам.

– К солнцу, воздуху, пище, воде, сексу.

– Эти вещи канцерогенны, все до единой.

– А что за семейные дела в Бостоне?

– Я должна убедить маму в том, что Малькольм не умер. Почему-то она к нему очень привязалась.

– Почему она решила, что он умер?

– Когда Малькольм с головой уходит в конспиративную работу, складывается такое впечатление, будто его никогда и не было. Он не только исчезает в данный период, но и перестает существовать в прошлом. Иногда я спрашиваю себя, действительно ли мужчина, за которого я вышла, – Малькольм Хант, или это совершенно другой человек, сам действующий под чужой личиной. Откровенно говоря, это очень тревожит. Я не знаю, какая часть жизни Малькольма подлинная, а какая – служба в разведке. Надеюсь, Би сможет немного прояснить ситуацию.

От внезапного порыва ветра закачались светофоры на проводах. Главная улица города: ряд магазинов уцененных товаров, места, где обналичивают чеки, оптовые базы. Высокое здание бывшего кинотеатра в мавританском стиле, ныне – что замечательно – мечеть. Бесцветные сооружения под названиями «Терминал-Билдинг», «Консерв-Билдинг», «Коммерц-Билдинг». Как это напоминает классические кадры поздних сожалений.

– Серый день в Айрон-Сити, – сказал я. – Лучше уж, наверно, вернуться в аэропорт.

– Как там Гитлер?

– Отлично. Человек солидный, надежный.

– Ты хорошо выглядишь, Пупсик.

– Но не очень хорошо себя чувствую.

– Ты никогда не чувствовал себя хорошо. Старый Пупсик. Ты всегда был старым Пупсиком. Мы любили друг друга, правда? Обо всем друг другу рассказывали, не забывали о такте и хороших манерах. А Малькольм мне ничего не рассказывает. Что он за человек? Чем занимается?

Она сидела поджав ноги, лицом ко мне, и стряхивала пепел в свои ботинки, оставшиеся на резиновом коврике.

– А правда, чудесно было расти нормальными, здоровыми людьми среди кобыл и меринов, с папой, который носит синие блейзеры и отутюженные серые фланелевые брюки?

– Откуда я знаю?

– Мама стояла, бывало, в увитой зеленью беседке с охапкой срезанных цветов в руках. Просто стояла. Вела себя естественно.

В аэропорту мы ждали – в мареве гипсовой пыли, сваленной в кучи щебенки и торчащей арматуры. За полчаса до ожидаемого прибытия Би через продуваемый насквозь тоннель в зону прилета гуськом потянулись пассажиры другого рейса. Бледные и ошарашенные, сгорбившиеся от усталости, они волокли по полу свою ручную кладь. Вышли двадцать, тридцать, сорок человек – не говоря ни слова, потупившись, не глядя по сторонам. Некоторые прихрамывали, некоторые плакали. Из тоннеля появились новые пассажиры: взрослые с хнычущими детьми, дрожащие старики, священник в черном облачении с перекосившимся воротничком, в одном ботинке. Твиди помогла женщине с двумя маленькими детьми. Я подошел к коренастому малому с пивным животиком, в фуражке почтальона и пуховом жилете, а он посмотрел на меня так, точно я нагло вторгся в его пространственно-временное измерение, незаконно перешел границу. Остановив его и повернув к себе лицом, я спросил, что случилось в полете. Пока мимо гуськом шли люди, он тяжело, утомленно дышал. Потом кивнул, не сводя с меня кроткого взгляда.

В полете отказали три двигателя, и самолет резко потерял высоту – с тридцати четырех до двенадцати тысяч футов. Мили на четыре, то есть. Когда начался этот крутой планирующий спуск, люди принялись вскакивать с мест, они падали, толкались, воспаряли над креслами. Потом пошли нешуточные крики и стоны. Почти тотчас из кабины экипажа по внутренней связи донесся чей-то голос: «Мы падаем с неба! Мы терпим крушение! Мы – сверкающий серебристый лайнер смертников!» Эту вспышку

эмоций пассажиры восприняли как свидетельство почти полной потери авторитета, компетентности и присутствия духа; она вызвала новые приступы безутешных рыданий. Из буфетного отсека выкатывались разные предметы, проходы завалило стаканчиками, кухонной посудой, верхней одеждой и пледами. Стюардесса, прижатая крутым снижением к переборке, пыталась отыскать нужное место в справочнике под названием «Руководство по катастрофам». Потом из кабины экипажа послышался другой голос, уже удивительно спокойный и отчетливый, вселивший было в пассажиров смутную надежду, веру в то, что кто-то все же сохранил самообладание: «Рейс два-три-один компании «Американ» – для бортового самописца. Теперь мы знаем, каково это на самом деле. Хуже, чем мы себе представляли. На тренажере катастроф в Денвере нас к этому не готовили. Страх наш чист, совершенно свободен от тревог и внешних воздействий, он сродни трансцендентальной медитации. Менее чем через три минуты мы, так сказать, коснемся земли. Наши тела найдут в каком-нибудь окутанном дымом поле, в ужасающих позах смерти. Я люблю тебя, Лэнс». Массовые рыдания на сей раз возобновились с минутной задержкой. Лэнс? Что за люди управляют этим самолетом? В плаче появились нотки горького разочарования.

Пока парень в пуховике рассказывал эту историю, нас обступали пассажиры, выходившие из тоннеля. Никто не произносил ни слова, никто не перебивал, не пытался приукрасить рассказ.

На борту самолета по проходу, по телам и осколкам, ползала стюардесса, велевшая людям в каждом ряду снять обувь, вынуть из карманов острые предметы и сесть в позе эмбриона. В другом конце салона кто-то пытался справиться со спасательным жилетом. Некоторые члены экипажа решили сделать вид, будто считанные секунды остались не до аварии, а до аварийной посадки. В конце концов, различие – всего в одном слове. Не означает ли это, что оба способа прекращения полета практически равноценны? Много ли значит одно-единственное слово? Вопрос в данных обстоятельствах обнадеживающий, если не размышлять о нем слишком долго, а как раз в тот момент времени на размышление не оставалось. Казалось, самая существенная разница между аварией и аварийной посадкой состоит в том, что к аварийной посадке можно сознательно подготовиться. Именно это все и пытались сделать. Весть разнеслась по всему самолету, люди повторяли термин, передавая его по рядам: «Аварийная посадка, аварийная посадка». Они поняли, как легко, прибавив всего одно слово, сохранить

контроль над будущим, продлить его – если не в действительности, то хотя бы в сознании. Все похлопали себя по карманам в поисках шариковых ручек и съежились в креслах, приняв позу эмбриона.

Когда рассказчик дошел до этого места, вокруг уже столпилось много народу – не только люди, недавно вынырнувшие из тоннеля, но и те, что выбрались из самолета одними из первых. Вернулись послушать. Еще не готовые разойтись, не готовые вновь обживать свои бренные земные тела, они не спешили расставаться со своим страхом, хотели сохранить его хотя бы на некоторое время, не дать ему рассеяться. Подходили все новые люди, вокруг нас уже толпились почти все пассажиры самолета. Ничего не имея против, они давали парню в фуражке и жилете говорить от их лица. Никто не ставил его рассказ под сомнение, никто не добавлял личных переживаний. Казалось, им рассказывают о том, что произошло с кем-то другим. Все слушали внимательно, даже с любопытством, но в то же время совершенно непредубежденно. Люди доверились ему, позволив рассказать о том, что они сами чувствовали и говорили.

В тот момент снижения, когда по всему самолету зазвучал термин «аварийная посадка» с резко выраженным ударением на втором слове, из-за занавесок в салон второго класса, хватаясь за что попало, взобрались, буквально вскарабкались, пассажиры первого класса, не желавшие первыми удариться о землю. Среди пассажиров, летевших вторым классом, нашлись такие, кто считал, что их надо принудительно вернуть обратно. Мнение выражалось не столько словами, сколько жуткими нечленораздельными звуками, большей частью напоминавшими назойливое мычание насильно откормленных коров. Внезапно снова заработали двигатели. Все наладилось. Мощность, устойчивость, управление. Пассажиры, уже готовые к удару, не сразу уловили новый поток информации. Новые звуки, другая траектория полета, чувство, что сидишь в прочной трубе, а не в какой-нибудь полиуретановой обертке. Загорелся принятый во всем мире знак, запрещающий курение: рука с сигаретой. Появились стюардессы с надушенными салфетками – вытирать кровь и блевотину. Сидевшие в позе эмбриона медленно выпрямились и вяло откинулись на спинки кресел. Четыре мили повального страха. Никто не знал, что сказать. Жить – значит, испытывать обилие ощущений, воспринимать десятки, сотни вещей. Между рядами, профессионально улыбаясь и любезно заводя пустые разговоры с пассажирами, прошел первый помощник командира. Всем своим цветущим видом он излучал уверенность, присущую пилотам больших пассажирских

лайнеров. Люди смотрели на него и не понимали, чего они так испугались.

Люди, теснившие друг друга, оттолкнули меня от рассказчика. Собралось уже больше сотни человек – волоком притащили по пыльному полу свои наплечные сумки и складные одежные саквояжи. Едва успев понять, что меня оттеснили почти за пределы слышимости, я увидел рядом Би: ее спокойное маленькое личико белело под копной курчавых волос. Она бросилась ко мне в объятия; от нее несло реактивным выхлопом.

– А где пресса? – спросила она.

– В Айрон-Сити нет прессы.

– Выходит, они зря терпели все эти муки?

Мы разыскали Твиди и направились к машине. На окраине города на дороге образовалась пробка, и нам пришлось долго стоять возле заброшенного литейного завода. Тысяча разбитых окон, разбитые уличные фонари, сгустившиеся сумерки. Би уселась в позе лотоса на заднем сиденье. После путешествия из Сурабайи в Айрон-Сити, через часовые пояса, громадные территории, безбрежные океанские просторы, дни и ночи, набольших и маленьких самолетах, летом и зимой, она выглядела на удивление хорошо отдохнувшей. И вот мы сидим в темноте, дожидаясь, когда отбуксируют заглохшую легковушку или опустится подъемный мост. Би считала, что эти привычные превратности судьбы, связанные в наше время с путешествиями, комментариев не заслуживают. Она сидела и молча слушала, как Твиди объясняет мне, почему родителям не нужно беспокоиться о детях, совершающих подобные перелеты в одиночку. Самые безопасные места для детей и глубоких стариков – самолеты и аэропорты. О них заботятся, им улыбаются, все восхищаются их смелостью и находчивостью. Люди доброжелательно расспрашивают их, предлагают пледы, угощают конфетами.

– Каждая девочка должна иметь возможность полететь за тысячу миль в одиночку, – сказала Твиди, – ради самоуважения и независимости суждений, и при этом взять с собой одежду и туалетные принадлежности по собственному выбору. Чем раньше мы отправляем детей в полет, тем лучше. Примерно так же учат плавать и кататься на коньках. Надо следить, чтобы они начинали с юных лет. Этим достижением Би, среди прочих, я больше всего горжусь. Когда ей было девять, я отправила ее в Бостон на самолете компании «Истерн». И запретила бабушке Браунер встречать ее в аэропорту. Научиться выбираться из аэропорта ничуть не менее важно, чем привыкнуть летать самолетами. Слишком многие родители игнорируют эту стадию развития ребенка. Би уже вполне освоилась с перелетами между

побережьями. В десять лет она впервые полетела на гигантском аэробусе, сделала пересадку в аэропорту О'Хэйр, чуть не опоздала на самолет в Лос-Анджелесе. Две недели спустя она улетела на «Конкорде» в Лондон. Там ждал Малькольм с маленькой бутылочкой шампанского.

Впереди пришли в движение стоп-сигналы, вереница машин тронулась.

Не будь механических повреждений, турбулентности и террористических актов, воздушное путешествие со скоростью звука могло бы, по словам Твиди, служить человечеству последним известным прибежищем благородной жизни и цивилизованности.

19

Порой Би приводила нас в смущение. Вероятно, так все гости невольно наказывают услужливых хозяев. Казалось, она всем своим видом излучает раздражающе яркий свет. Мы стали представляться себе кучкой людей, которые совершают необдуманные поступки, избегают принятия решений, бывают то бестолковыми, то эмоционально неустойчивыми, повсюду оставляют мокрые полотенца, никогда не знают, куда задевали самого младшего члена семьи. Вдруг стало мерещиться, что каждый наш поступок нуждается в оправдании. Больше всех робела моя жена. Если Дениза была маленьким комиссаром, пилившим нас для очистки совести, то Би – молчаливым свидетелем, подвергавшим сомнению сам смысл нашей жизни. Я наблюдал за Бабеттой, которая в ужасе уставилась на свои сложенные чашечкой ладони.

Этот щебет издавала всего-навсего батарея отопления.

Би молча презирала остроты, саркастические замечания и прочие семейные штучки. На год старше Денизы, выше ростом, худее, бледнее, она сочетала в себе черты практичной девчонки и эфирного создания. Будто в душе она – не автор книг о путешествиях, кем, по словам ее матери, хотела стать, а просто путешественница, выбравшая более отвлеченный род деятельности – коллекционирование впечатлений с их детальным анализом при полном нежелании что-либо записывать.

Девочка уравновешенная и внимательная, из джунглей она привозила нам в подарок резные поделки. В школу и на уроки танцев ездила на такси, немного говорила по-китайски, а однажды отправила телеграфом деньги оставшейся без средств подруге. Я восхищался ею сдержанно и смущенно, чувствуя при этом некую скрытую угрозу: будто она вовсе не моя дочь, а не полетам развитая и самостоятельная подруга одной из моих дочерей. Неужели Марри был прав? Неужели мы и вправду – хрупкая ячейка общества, окруженная враждебными фактами? Должен ли я поощрять невежество, предрассудки и суеверия, чтобы защищать свою семью от внешнего мира?

В первый день Рождества Би сидела у камина в нашей обычно пустующей гостиной и смотрела на бирюзовое пламя. На ней была хламида цвета хаки – вроде повседневная, но с виду недешевая. Я сидел в кресле с тремя или четырьмя подарками на коленях – ленточки болтались, оберточная бумага разодрана. На полу рядом с креслом лежал мой зачитанный экземпляр «Майн Кампф». Остальные ушли на кухню готовить ужин или поднялись

наверх, чтобы в спокойной обстановке как следует рассмотреть свои подарки. По телевизору сказали: «Сложное строение желудка позволяет этому существу питаться исключительно листьями».

– Не нравится мне эта история с мамой, – сказала Би с наигранным страданием в голосе. – Она все время выглядит взвинченной. Ее словно что-то тревожит, но она толком не знает, что именно. Дело, конечно, в Малькольме. У него есть его джунгли. А что есть у мамы? Огромная, просторная кухня с плитой, которую вполне можно поставить в каком-нибудь трехзвездочном ресторане в провинции. Все свои силы она отдает этой кухне, а ради чего? Да и не кухня это вовсе. Это мамина жизнь, ее зрелые годы. Баб такая кухня понравилась бы. Для нее это была бы просто кухня. А для мамы это, похоже, некий странный символ преодоления кризиса, разве что она до сих пор его не преодолела.

– Твоя мама толком не знает, что за человек ее муж.

– Главная проблема не в этом. Главная проблема в том, что мама не знает, кто такая она сама. Малькольм живет в горной стране, питается корой деревьев и змеями. Вот что за человек этот Малькольм. Ему нужны жара и влажность. Получил кучу ученых степеней по международной политике и экономике, а хочет только одного – сидеть на корточках под деревом и смотреть, как туземцы с головы до ног обмазываются грязью. На них забавно смотреть. А что мама делает для забавы?

Черты лица у Би мелкие, за исключением глаз, как бы вмещающих две формы жизни – содержание и его скрытый смысл. Она говорила о способности Бабетты легко управляться с делами: с домашним хозяйством, с детьми, со вселенским потоком повседневности – говорила отчасти моими словами, но под радужками ее глаз, в этих морских глубинах, бурлила вторая жизнь. Что все это значило, чего Би хотела сказать на самом деле, почему казалось, будто она рассчитывает, что я отвечу ей тем же? Ей хотелось общаться этим вторым способом, при помощи зрительных флюидов. Таким образом подтвердились бы ее подозрения, и она бы все разузнала обо мне. Но что за подозрения она затаила и что требовалось разузнать? Я начал волноваться. Когда в доме запахло подгорающими тостами, я попытался расспросить ее о жизни семиклассников.

– На кухне случаем не пожар?

– Это у Стеффи тосты подгорают. Время от времени она этим занимается.

– Я могла бы приготовить блюдо под названием «кимчи».

– Похоже, что-то из твоего корейского периода.

– Это капуста, засоленная с красным перцем и кучей всякой всячины. Жгучая штука. Правда, не знаю, как насчет компонентов. В Вашингтоне их найти нелегко.

– Наверно, нам подадут что-нибудь помимо тостов, – сказал я.

Мягкий упрек обрадовал ее. Больше всего я нравился ей тогда, когда бывал холоден, ироничен и язвителен – врожденная способность, которой я, по ее мнению, лишился в длительном общении с детьми.

По телевизору сказали: «А теперь прикрепим к бабочке маленькие усики».

Два дня спустя, лежа ночью в постели, я услышал голоса, надел халат и спустился посмотреть, что происходит. У двери ванной комнаты стояла Дениза.

– Стеффи опять принимает ванну.

– Уже поздно, – сказал я.

– Она просто сидит в этой грязной воде.

– Это моя грязь, – сказала Стеффи из-за двери.

– Все равно грязь.

– А мне-то что, грязь-то моя!

– Это грязь, – сказала Дениза.

– Моя грязь.

– Грязь есть грязь.

– Если она моя, то нет.

В конце коридора появилась Би в серебристо-красном кимоно. Просто встала, бледная и далекая. В тот миг наша связующая нить неловкости и суетности сделалась как бы осязаемой и растянулась эдакой серией карикатур на тему самосознания. Дениза что-то злобно пробурчала Стеффи в приоткрытую дверь, потом молча пошла к себе в комнату.

Утром я повез Би в аэропорт. По пути в аэропорт я всегда становлюсь угрюмым и молчаливым. Мы прослушали последние известия – исполненные необычайного волнения сообщения о пожарных, вынесших из одной квартиры в Уотертауне загоревшийся диван, сообщения, прочитанные под неумолчный стук телетайпов. Я осознал, что Би внимательно, многозначительно смотрит на меня. Забравшись с ногами на сиденье, она прислонилась спиной к дверце и обхватила руками плотно сдвинутые коленки. Во взгляде сквозила высокомерная жалость. Такому взгляду я доверял не всегда, полагая, что он имеет мало общего с состраданием, любовью и печалью. К тому же я увидел в нем нечто иное. Самую мягкую форму снисходительности, на которую только способна юная особа.

На обратном пути я свернул со скоростной магистрали на

дорогу по берегу реки и остановил машину на опушке. Пешком поднялся по крутой тропинке. Там был ветхий частокол с вывеской:

СТАРОЕ КЛАДБИЩЕ

Поселок Блэксмит

Небольшие надгробия покосились, потрескались, обросли пятнами грибка и мха, а имена и даты стали почти неразличимы. Твердая земля подмерзла и местами заледенела. Я пошел между могилами, снял перчатки – потрогать шершавый на ощупь мрамор. Перед одним камнем в землю была вкопана узкая ваза с тремя американскими флажками – единственное свидетельство, что в текущем столетии кто-то побывал здесь до меня. Удалось разобрать некоторые имена – очень звучные, простые, говорящие о строгости нравов. Я остановился и прислушался.

Ни гула дорожного движения, ни шума заводов за рекой. Значит, хоть в этом отношении они поступили правильно – подыскали для кладбища такое место, где не сдает своих позиций тишина. Морозный воздух обжигал. Не двигаясь, я глубоко дышал и ждал, надеясь ощутить тот покой, в котором должен пребывать прах умерших, надеясь узреть тот свет, что озаряет поля этого элегического пейзажа.

Я стоял и слушал. От ветра с ветвей сыпался снег. Из леса налетали порывами снежные вихри. Я поднял воротник и опять надел перчатки. Когда ветер вновь утих, я прошелся среди надгробий, пытаясь разобрать имена и даты, и поправил флажки так, чтобы они свободно развевались. Потом остановился и прислушался.

Сила мертвых в том, что мы считаем, будто они постоянно за нами наблюдают, будто покойники способны незримо присутствовать поблизости. Существует ли энергетический уровень, состоящий исключительно из мертвецов? При этом они, само собой, спят вечным сном в земле, обращаясь в прах. Быть может, в снах своих они видят нас.

Да будет жизнь бесцельна. Пусть сменяют друг друга времена года. Сюжет не должен развиваться по плану.

20

Умерла сестра мистера Тридуэлла. Ее звали Глэдис. Доктор сказал, что умерла она от застарелого страха – следствия четырех дней и ночей, которые они с братом, заблудившиеся и растерянные, провели в «Мидвиллидже».

Один житель Глассборо погиб, когда у его машины слетело с оси заднее колесо. Характерная особенность этой модели.

Заместитель губернатора штата умер естественной смертью по нераскрытой причине, после продолжительной болезни. Все мы знаем, что это значит.

Один житель Механикевилля умер неподалеку от Токио, когда аэропорт осаждали десять тысяч студентов в касках.

Читая некрологи, я всегда обращаю внимание на возраст усопшего. И всякий раз невольно связываю эту цифру с собственным возрастом. Осталось четыре года, думаю я. Еще девять лет. Два года, и я покойник. Сила чисел становится наиболее очевидной, когда мы пользуемся ими, чтобы строить догадки о нашем смертном часе. Иногда я торгуюсь сам с собой. Готов ли я согласиться на шестьдесят пять – возраст, в котором умер Чингисхан? Сулейман Великолепный дожил до семидесяти шести. Звучит неплохо, особенно если учесть мое нынешнее самочувствие, но как это будет звучать, когда мне стукнет семьдесят три?

Трудно представить себе, что эти люди грустили о смерти. Аттила умер молодым. Ему не было и пятидесяти. Разве он переживал, разве впал в депрессию и принялся жаловаться на судьбу? Он же повелитель гуннов, завоеватель Европы, Бич Божий. Хочется верить, что он лежал в своем шатре, закутанный в звериные шкуры, словно в какой-нибудь пышной исторической киноэпопее, снятой на средства нескольких стран, и храбро, безжалостно отчитывал приближенных и слуг. Все та же сила духа. Ни единого намека на иронию судьбы: мол, мы, являясь высшей формой жизни на земле, в то же время предаемся невыразимой скорби, поскольку знаем то, чего не знают все прочие животные – что нам не миновать смерти. Аттила не выглядывал из своего шатра и не показывал на какого-нибудь хромого пса, прибившегося к костру в надежде на жалкую подачку. Он не говорил: «Этому несчастному, искусанному блохами зверю живется лучше, чем величайшему властителю рода людского. Ему неведомо то, что известно нам, он не способен к человеческим переживаниям, не способен грустить так, как мы».

Хочется верить, что он не струсил. Как и подобает человеку, прозванному Бичом Божьим, он примирился со смертью как с очередным приключением, неизбежным следствием жизни, подобной стремительной скачке сквозь лесную чащу. Вот так он и скончался – на глазах у слуг, отрезавших себе волосы и изуродовавших лица в знак варварской верноподданнической любви, а камера отъезжает за пределы шатра и панорамирует по ночному небу пятого века нашей эры, ясному и незагрязненному, окаймленному мерцающими светлыми мирами.

Бабетта, готовившая омлет с мясом и овощами, подняла голову и тихо, но твердо сказала:

– Жизнь хороша, Джек.

– Что это ты вдруг?

– Просто решила, что это следует сказать.

– Ну и что, теперь полегчало?

– Мне снятся страшные сны, – прошептала она.

Кто умрет раньше? По словам Бабетты, она хочет умереть первой, потому что без меня ей будет невыносимо грустно и одиноко, особенно если дети вырастут и разъедутся кто куда. В этом она непреклонна. Дискутируя на эту тему, Бабетта приводит столь убедительные доводы, что становится ясно: ей представляется, будто у нас есть выбор. Кроме того, она считает, что до тех пор, пока в доме живут дети, которым необходима наша помощь, с нами ничего не может случиться. Дети – залог нашего относительного долголетия. Пока они рядом, мы в безопасности. Но как только они повзрослеют и разъедутся… короче, уйти из жизни она хочет первой. Такое впечатление, будто ей не терпится умереть. Она боится, как бы я не умер внезапно, трусливо удрав среди ночи. Дело не в том, что она не дорожит жизнью. Просто ее страшит одиночество. Пустота, ощущение непроглядной космической тьмы.

«Мастеркард», «Виза», «Американ Экспресс».

Я уверяю Бабетту, что хочу умереть раньше. Я так привык к ней, что чувствовал бы себя жалким и неполноценным. Мы с ней – две грани одной и той же личности. До конца своих дней я бы только и делал, что говорил с ней, как с живой. Никого, прореха в пространстве и времени. Бабетта утверждает, что моя смерть оставила бы в ее жизни большую прореху, чем ее смерть – в моей жизни. Таков уровень наших рассуждений. Сравнительные размеры прорех, пропастей и брешей. На этом уровне мы ведем серьезные дискуссии. По словам Бабетты, если после ее смерти в моей жизни может остаться большая прореха, то после моей смерти в ее жизни образовалась бы бездна, огромная зияющая пропасть. Я возражаю, поминая бездонную пучину или пустоту. И

так до глубокой ночи. В эти моменты наши споры отнюдь не кажутся дурацкими. Такова облагораживающая сила обсуждаемой темы.

Бабетта надела длинное блестящее пальто на подкладке, похожее на панцирь из отдельных сегментов, приспособленный для прогулок по дну океана, – и отправилась обучать свою группу правильной осанке. Стеффи бесшумно ходила по дому с пластиковыми пакетиками и выстилала ими разбросанные повсюду плетеные корзинки. Она добросовестно проделывала это пару раз в неделю с невозмутимым видом человека, которому не нужна похвала за спасение жизней. Пришел Марри поболтать с обеими девочками и Уайлдером – этим он занимался время от времени, изучая то, что называл обществом детей. Он говорил что-то о трансцендентном лепете американской семьи. Похоже, считал нас группой визионеров, восприимчивых к особым формам сознания. Дом изобиловал исходными данными, которые требовалось подвергнуть анализу.

Марри с тремя детьми поднялись наверх смотреть телевизор. На кухню вошел Генрих, сел за стол, схватил две вилки и крепко сжал их в руках. Тяжело запульсировал холодильник. Я щелкнул выключателем, и где-то под раковиной электродробилка размельчила корки, обрезки и животные жиры на крошечные, не засоряющие канализацию частицы, причем импульс перенапряжения вынудил меня отступить на пару шагов. Отобрав у сына вилки, я сунул их в посудомоечную машину.

– Ты уже пьешь кофе?

– Нет, – сказал он.

– Баб любит выпить чашечку, когда приходит с занятий.

– Лучше завари ей чаю.

– Чай она не любит.

– Ничего, пускай привыкает.

– Эти напитки совершенно не похожи на вкус.

– Привычка есть привычка.

– Привычку еще нужно приобрести.

– Вот и я о том же. Завари ей чаю.

– Занятия отнимают у нее больше сил, чем кажется на первый взгляд. А кофе расслабляет.

– Потому он и опасен, – сказал Генрих.

– Он не опасен.

– Все, что расслабляет, опасно. Если ты этого не знаешь, то с таким же успехом я мог бы и со стенкой поговорить.

– Марри, наверно, тоже предпочитает кофе, – сказал я, сознавая, что в моем голосе звучит нотка торжества.

– Ты хоть понимаешь, что сейчас сделал? Взял банку кофе и

отнес ее к стойке.

– Ну и что?

– Это не обязательно. Мог бы оставить ее у плиты, там, где стоял, а потом пойти к стойке за ложкой.

– Значит, по-твоему, я зря взял с собой банку кофе.

– До самой стойки ты донес ее в правой руке, поставил, чтобы выдвинуть ящик, чего не хотел делать левой, потом достал ложку правой, переложил в левую, правой взял банку кофе и вернулся к плите, где снова ее поставил.

– Многие так делают.

– Это бесполезные телодвижения. Люди совершают несметное количество бесполезных телодвижений. Тебе следовало бы посмотреть, как Баб делает салат.

– Люди не обдумывают каждое незначительное движение, каждый жест. Несколько лишних движений вреда не причиняют.

– А за всю жизнь?

– Что ты сэкономишь, если не будешь делать лишних телодвижений?

– За всю-то жизнь? Сбережешь уйму времени и энергии, – сказал он.

– Для чего?

– Чтобы дольше прожить.

По правде говоря, я не хочу умирать первым. Будь у меня выбор между одиночеством и смертью, я сделал бы его за долю секунды. Все, что я говорю Бабетте насчет прорех и брешей, – чистейшая правда. После ее смерти я потерял бы почву под ногами, принялся бы разговаривать со стульями и подушками. Не дай нам умереть! – хочется крикнуть тому небу пятого века, сияющему тайной и спиральным светом. Пусть оба мы будем жить вечно – в болезни и здравии, слабоумные, старчески болтливые, беззубые, желчные, полуслепые, одержимые галлюцинациями. Кто решает такие вопросы? Что лежит за пределами земного мира? Кто ты?

Я смотрел, как кипящий кофе поднимается по центральной трубке и сквозь сеточку попадает в маленький запотевший шарик. Дивное и мрачное изобретение, такое аллегорическое, хитроумное, мирское, подобное философскому спору, переведенному на язык земных вещей: воды, металла, кофейных зерен. Никогда еще я так внимательно не смотрел на кофе.

– Когда горит пластиковая мебель, человеку грозит отравление цианидом, – сказал Генрих, постучав по столу, покрытому «формикой».

Он съел зимний персик. Я налил чашку кофе для Марри и вместе с сыном поднялся в комнату Денизы, где в то время стоял

телевизор. Он работал почти без звука, а девочки были увлечены беседой с гостем. Марри с довольным видом сидел посреди комнаты на полу и делал записи, а рядом, на ковре, лежали его пальто с деревянными пуговицами и шапка-ушанка. Пространство вокруг изобиловало принципами и идеями, памятниками детства, вещами, с которыми Дениза не расставалась с трех лет, – от нарисованных на бумаге часов до плакатов с оборотнями. К своим первым шагам по жизни Дениза относится с покровительственной нежностью. Она прилагает все усилия, чтобы возвращать вещи на место, беречь, хранить в неприкосновенности, дорожа ими как объектами воспоминаний. Это часть ее стратегии в мире меняющихся привязанностей, способ наладить прочные связи с жизнью.

Не заблуждайтесь. К этим детям я отношусь серьезно. На взгляд человека со скромными способностями к изучению характеров, они не представляют собой ничего особенного. Но это полноценные личности, наделенные многими дарованиями и полные кипучей энергии. В мире детей нет дилетантов.

Генрих встал в углу комнаты, заняв, как обычно, позицию критически настроенного наблюдателя. Отдав Марри чашку кофе и собравшись было уходить, я мельком взглянул на экран телевизора. У двери я остановился и посмотрел еще раз – повнимательней. Все правильно, не померещилось. Я зашипел на ос тальных, требуя тишины, и все озадаченно, недовольно повернулись ко мне. Потом, проследив за моим пристальным взглядом, обратили внимание на телевизор, упрямо продолжавший работать в ногах кровати.

На экране было лицо Бабетты. Слова замерли у нас на устах, и в комнате воцарилось молчание, глухое и настороженное, как рычание зверя. Смятение, страх, изумление стекли с наших лиц. Что это значит? Почему она появилась там, в черно-белом изображении, в строгой рамке? Быть может, умерла, пропала без вести, освободилась от телесной оболочки? Быть может, это ее душа, внутренняя сущность, некое двухмерное факсимиле, выпущенное на волю при помощи технических средств, получившее возможность плавно перемещаться по диапазонам волн, по энергетическим уровням, и задержавшееся, чтобы попрощаться с нами с флюоресцирующего экрана?

Странное чувство овладело мной, ощущение психической дезориентации. Без сомнения, это была Бабетта – лицо, волосы, привычка быстро моргать то дважды, то трижды. Всего час назад я видел, как Бабетта ест омлет, но едва она появилась на экране, как стала казаться некоей полузабытой фигурой из прошлого, кем-то вроде бывшей жены, матери, живущей вдали от детей,

забредшей в царство мертвых, погруженное во мглу. Если она не умерла, может быть, умер я? Из глубин моей души вырвался односложный младенческий крик: баб!

Все это вместилось в считанные секунды. И лишь в тот момент, когда сжавшееся было время потекло как обычно, вернув нам способность замечать окружающую обстановку – комнату, дом, действительность, в которой существовал телевизор, – лишь тогда мы поняли, что происходит.

Бабетта вела в подвале церкви свои занятия, а местная кабельная станция показывала их по телевидению. То ли она не знала, что там будет телекамера, то ли предпочла ничего нам не говорить – из смущения, любви, суеверия: да мало ли причин, по которым женщина стремится скрывать свой искусственно созданный образ от знакомых и близких.

Телевизор работал почти без звука, и нам не было слышно, что она говорит. Но никто не потрудился прибавить громкость. Важна была именно картинка, лицо в черно-белом изображении, живое, но при этом плоское, бесконечно далекое, недоступное, неподвластное времени. Это была она и в то же время не она. Вновь мне стало казаться, будто Марри и вправду что-то знает. Об излучении и волнах. Сквозь экран что-то сочилось. Бабетта озаряла нас светом, а сама оживала, без конца преображалась, ибо когда она улыбалась и говорила, шевелились мускулы ее лица и приходила в движение масса электронных точек.

Бабетта проникла в нас. Ее образ проецировался на наши тела, погружался в нас и выплывал наружу. Бабетта состояла из электронов, фотонов и прочих частиц, образовывавших тот сумрачный свет, который мы принимали за ее лицо.

Дети раскраснелись от возбуждения, а мне было немного не по себе. Я пытался убедить себя, что это всего лишь телевидение – как бы оно ни было устроено, как бы ни действовало, – а не какое-то путешествие по ту сторону жизни и смерти, не какая-то окутанная тайной разлука. Марри поднял голову и посмотрел на меня, улыбнувшись на свой подобострастный манер.

Лишь Уайлдер оставался невозмутимым. Он смотрел на маму, говорил с ней намеками, разумно звучавшими обрывками слов, большей частью выдуманных. Когда камера отъезжала назад, чтобы Бабетта могла продемонстрировать решение очередного деликатного вопроса осанки или походки, Уайлдер приближался вплотную к телевизору и дотрагивался до ее тела, оставляя на покрытом пылью экране отпечаток ладошки.

Потом Дениза подползла к телевизору и повернула регулятор громкости. Ничего не изменилось. Не появилось ни звука, ни голоса – ничего. Она оглянулась и посмотрела на меня – вновь

минутное замешательство. Подошел Генрих, покрутил регулятор, сунул руку за телевизор, чтобы настроить звук ручками на задней панели. Когда он попробовал переключить на другой канал, появился громкий звук, резкий и дребезжащий. А на кабельном канале громкость прибавить так и не удалось, и пока Бабетта заканчивала урок, нас переполняли непонятные дурные предчувствия. Но едва передача подошла к концу, обе девочки снова разволновались и направились вниз – встретить Бабетту на пороге и удивить ее известием о том, что они сейчас видели.

Малыш остался у телевизора, возле темного экрана. Он тихо, прерывисто плакал, еле слышно всхлипывая, а Марри что-то записывал.

II. Воздушнотоксическое явление

21

Всю ночь в сны врывалась метель, а наутро воздух сделался прозрачным и неподвижным. В январе дни окрасились в стойкий голубоватый цвет, дневной свет стал резким и ясным. Скрип ботинок на утрамбованном снегу, ровные следы инверсии самолетов, испещрившие высокое небо. Все дело было в погоде, но поначалу я этого не знал.

Я свернул на нашу улицу и прошел мимо людей, которые, выдыхая пар, склонялись над лопатами на своих подъездных дорожках. По ветке плавно двигалась белка, и переход этот был столь длительным, что казалось, будто он совершается согласно особому закону физики, отличающемуся от тех, на которые мы учились полагаться. Пройдя половину улицы, я увидел Генриха: он присел на небольшом карнизе у нашего чердачного окошка. На нем были камуфляжная куртка и кепка, комплект, полный сложного смысла для четырнадцатилетнего подростка, всячески старающегося повзрослеть и в то же время остаться незамеченным, – всем нам известны его секреты. Он смотрел в бинокль на восток.

Обойдя дом, я с черного хода вошел на кухню. В прихожей приятно вибрировали стиральная машина и сушилка. По голосу Бабетты я понял, что она говорит по телефону со своим отцом. Раздражение, смешанное с опасением и сознанием вины. Я встал у нее за спиной и прижал холодные руки к ее щекам. Мне нравились подобные невинные шалости. Она положила трубку.

– Почему он на крыше?

– Генрих? Что-то случилось на сортировочной станции, – сказала Бабетта. – По радио передавали.

– Может, сказать ему, чтоб слезал?

– Зачем?

– Еще чего доброго упадет.

– Не говори ему этого.

– Почему?

– Он считает, что ты его недооцениваешь.

– Он на карнизе, – сказал я. – Должен же я что-то сделать.

– Чем больше ты будешь суетиться, тем ближе к краю он подойдет.

– Я знаю, и все же придется заставить его слезть.

– Уговори его вернуться в дом, – сказала она. – Будь чутким и заботливым. Поболтай с ним о нем. Не делай резких движений.

Когда я поднялся на чердак, Генрих уже влез обратно и стоял у открытого окошка, по-прежнему глядя в бинокль. Повсюду

валялись старые вещи, они вызывали гнетущее чувство и бередили душу, создавая свой особый климат среди открытых подкосов и балок, среди изоляционных прокладок из стекловаты.

– Что случилось?

– По радио сказали, что сошла с рельсов цистерна. Но судя по тому, что мне удалось увидеть, вряд ли она сошла с рельсов. По-моему, произошло столкновение, и в ней образовалась дыра. Там полно дыма, и мне это зрелище не нравится.

– Что за зрелище?

Генрих протянул мне бинокль и отошел в сторону. Не вылезая на карниз, я не мог разглядеть ни сортировочную станцию, ни цистерну или цистерны, о которых шла речь. Зато был ясно виден дым – плотная черная масса, застывшая в воздухе за рекой, более или менее бесформенная.

– Ты видел пожарные машины?

– На станции их полно, – сказал он. – Но слишком близко, похоже, не подъезжают. Наверно, там ядовитое или взрывчатое вещество, а может, то и другое.

– До нас дым не доберется.

– Откуда ты знаешь?

– Не доберется, и все. А тебе вообще не следует стоять на скользких карнизах. Баб волнуется.

– По-твоему, если ты скажешь мне, что она волнуется, я почувствую себя виноватым и больше так не буду. А если скажешь, что волнуешься ты, буду так поступать постоянно.

– Закрой окно, – велел я ему.

Мы спустились на кухню. Стеффи рылась в яркой разноцветной корреспонденции – искала купоны на участие в лотереях и конкурсах. Последний день школьных каникул. До начала занятий на Холме оставалась неделя. Генриха я отправил во двор сгребать снег с дорожки. Я смотрел, как он стоит там не шевелясь, слегка повернув голову, всем видом своим выражая недовольство отсутствием информации. Лишь через некоторое время до меня дошло, что он вслушивается в вой сирен за рекой.

Час спустя он вернулся на чердак – на сей раз с приемником и картой дорог; Я поднялся по узкой лестнице, взял у него бинокль и взглянул еще раз. Масса дыма оставалась на месте, она слегка увеличилась, достигнув в общем-то угрожающих размеров, и, возможно, стала еще немного чернее.

– По радио это называют перистым облачком дыма, – сказал Генрих. – Но это никакое не облачко.

– Что же это?

– Нечто вроде растущей бесформенной массы. Страшное черное живое существо из дыма. Почему они называют это

облачком?

– Эфирное время дорого стоит. Им некогда пускаться в пространные витиеватые описания. А они сказали, что за вещество?

– Называется «дериват ниодина» или ниодин «Д». О нем говорилось в фильме про токсичные отходы, который мы смотрели в школе. Там еще показывали снятых на видео крыс.

– Что он вызывает?

– В фильме толком не сказано, какой вред он причиняет людям. В основном показывали крыс, у которых быстро образовались опасные опухоли.

– Это было в фильме. А что говорят по радио?

– Сначала говорили о кожном раздражении и потных ладонях. А теперь говорят о тошноте, рвоте, одышке.

– Речь сейчас идет о том, что тошнит людей. Не крыс.

– Не крыс.

Я отдал ему бинокль.

– Ну, до нас-то дым не доберется.

– Откуда ты знаешь?

– Знаю и все. Сегодня совершенно безветренная погода. А если в это время года и поднимается ветер, он дует в ту сторону, а не в эту.

– А если в эту подует?

– Не подует.

– Раз на раз не приходится.

– Да не будет этого. С какой стати?

Секунду помедлив, он ровно произнес:

– Только что частично перекрыли автотрассу между штатов.

– Все правильно – это, наверно, необходимо.

– Почему?

– Необходимо и все. Разумная мера предосторожности. Один из способов облегчить проезд служебных машин и прочего транспорта. Есть множество соображений, которые никак не связаны ни с ветром, ни с его направлением.

Над верхней ступенькой появилась голова Бабетты. Она сказала, что, по словам соседки, утечка составляет тридцать пять тысяч галлонов. Людей в тот район не пускают. Над местом аварии повисло перистое облачко дыма. Кроме того, она сказала, что девочки жалуются на потные ладони.

– Уже внесли поправку, – сообщил ей Генрих. – Скажи им, что их должно выворачивать наизнанку.

Над домом к месту катастрофы пролетел вертолет. Голос по радио произнес: «В течение крайне ограниченного времени прилагается бесплатный жесткий диск на один мегабайт».

Голова Бабетты скрылась из виду. Я посмотрел, как Генрих липкой лентой цепляет на два подкоса карту дорог. Потом спустился на кухню оплатить кое-какие счета, сознавая, что где-то справа и за спиной кружатся крошечные разноцветные пятнышки.

– Из чердачного окошка видно перистое облачко? – спросила Стеффи.

– Это не облачко.

– А нам придется покинуть дома?

– Конечно, нет.

– Откуда ты знаешь?

– Знаю и все.

– Помнишь, мы не смогли пойти в школу?

– Тогда это произошло в помещении. А сейчас на улице.

Мы услышали, как взвыли полицейские сирены. Я посмотрел на Стеффи – она шевелила губами, неслышно подражая этому вою. Увидев, что я смотрю, она улыбнулась так рассеянно, словно ее мягко вывели из приятного забытья.

Вытирая руки о джинсы, вошла Дениза.

– Пролитое вещество засыпают чем-то из пневматических снегоочистителей, – сказала она.

– Чем именно?

– Не знаю, но после этого вещество должно стать безвредным, а вот что они делают с облачком, так и не ясно.

– Следят, чтобы оно не увеличивалось, – сказал я. – Когда мы будем есть?

– Я не уверена, но, по-моему, если облачко хоть немного увеличится, оно доберется досюда даже без ветра.

– Не доберется, – сказал я.

– Откуда ты знаешь?

– Не доберется и все.

Она посмотрела на свои ладони и пошла наверх. Зазвонил телефон. На кухню вошла Бабетта и взяла трубку. Слушая, она смотрела на меня. Я выписал два чека, время от времени поднимая голову и проверяя, не отвела ли она взгляд. Казалось, она изучает мое лицо в поисках скрытого смысла услышанных слов. Я поджал губы, зная, что такую гримасу она не любит.

– Это Стоверы, – сказала она, повесив трубку. – Они обратились прямо в метеоцентр под Глассборо. Там больше не называют это перистым облачком.

– Как же там это называют?

– Вздымающимся черным облаком.

– Определение более точное, а значит, там вплотную занялись этой проблемой. Отлично.

– Это еще не все, – сказала она. – Предполагается, что из

Канады сюда движутся какие-то воздушные массы.

– Сюда из Канады постоянно движутся воздушные массы.

– Это верно, – сказала она. – Ничего нового в этом, конечно, нет. А поскольку Канада на севере, то вздымающееся облако унесет прямо на юг, и оно пройдет мимо на безопасном от нас расстоянии.

– Когда мы будем есть? – спросил я.

Мы вновь услыхали сирены – на сей раз более продолжительные, не имеющие отношения ни к полиции, ни к пожарным, ни к «скорой помощи». Насколько я понял, то был сигнал воздушной тревоги, и звучал он, по-видимому, в Сойерзвилле, небольшом поселке к северо-востоку от города.

Стеффи вымыла руки под кухонным краном и ушла наверх. Бабетта принялась доставать продукты из холодильника. Когда она проходила мимо стола, я схватил ее за бедро с внутренней стороны. Она очаровательно поежилась от смущения, держа в руке коробку мороженой кукурузы.

– Наверно, вздымающееся облако должно вызывать у нас большее беспокойство, – сказала она. – Это при детях мы постоянно твердим, что ничего не случится. Не хотим их пугать.

– Но ведь и вправду ничего не случится.

– Я знаю, что ничего не случится, ты знаешь, что ничего не случится. И все же, честно говоря, на всякий случай нам следует об этом подумать.

– Подобные происшествия опасны для бедняков, живущих в незащищенных районах. Общество устроено таким образом, что во время природных и промышленных катастроф больше всех страдают бедные и необразованные люди. Жители низин страдают от наводнений, люди, ютящиеся в лачугах, – от ураганов и смерчей. А я – профессор колледжа. Ты видела когда-нибудь, чтобы во время какого-нибудь наводнения, показанного по телевидению, профессор колледжа плыл на лодке по собственной улице? Мы живем в чистом, уютном городке, возле колледжа с необычным названием. В таких местечках, как Блэксмит, ничего страшного не происходит.

Бабетта уже села ко мне на колени. По столу были в беспорядке разбросаны чеки, счета, анкеты и купоны для участия в конкурсах.

– Почему тебе так рано захотелось поужинать? – спросила она сладострастным шепотом.

– Я не обедал.

– Хочешь, пожарю курицу с чили?

– Блестящая идея.

– А где Уайлдер? – хрипло спросила она, пока я проводил

руками по ее груди, пытаясь сквозь блузку зубами расстегнуть бюстгальтер.

– Не знаю. Наверно, его Марри похитил.

– Я отутюжила твою мантию, – сказала она.

– Здорово, здорово.

– Ты заплатил за телефон?

– Не могу найти счет.

Мы оба уже заговорили хрипло. Сидя у меня на коленях, Бабетта скрестила руки, и я смог прочесть советы хозяйке на коробке дробленой кукурузы, которую она держала в левой руке.

– Давай подумаем о вздымающемся облаке. Хоть немножко, а? Возможно, оно опасно.

– Опасно все, что перевозят в цистернах. Однако вредное воздействие, в основном, проявляется далеко не сразу, и нам остается только ждать и не лезть на рожон.

– Только ни в коем случае нельзя об этом забывать, – сказала она, встала и несколько раз изо всех сил ударила ванночкой со льдом по краю раковины, выбивая из ячеек сразу по два и по три кубика.

Я посмотрел на нее, поджав губы. Потом еще раз поднялся на чердак. Уайлдер был там, вместе с Генрихом; тот бросил на меня быстрый взгляд опытного обвинителя.

– Это больше не называют перистым облачком, – сказал он и отвел глаза, словно не желая видеть моего замешательства.

– Я уже знаю.

– Теперь это называют вздымающимся черным облаком.

– Хорошо.

– Что же тут хорошего?

– Это значит, что они уже более или менее трезво оценивают ситуацию. Они в курсе дела.

С усталым, но решительным видом я открыл окошко, взял бинокль и вылез на карниз. На мне был теплый свитер, и на холодном воздухе я почувствовал себя довольно уютно, однако не преминул всем своим весом навалиться на стену дома, да и сын, протянув руку, схватил меня за ремень. С его стороны я чувствовал поддержку моей скромной миссии, даже обнадеживающую уверенность в том, что сведения, полученные им только путем наблюдений, мне удастся дополнить здравыми, тщательно продуманными суждениями. В конце концов, это входит в родительские обязанности.

Я поднес бинокль к глазам и вгляделся в сгущавшуюся тьму. Внизу, под облаком испарившихся химикатов, царили суета и оперный хаос. Сортировочная станция была залита светом прожекторов. Поодаль друг от друга в воздухе зависли армейские

вертолеты, тоже освещавшие место происшествия. В этих широких лучах то и дело мелькали цветные огоньки полицейских мигалок. Цистерна твердо стояла на рельсах, из отверстия – видимо, образовавшегося с торца, – в воздух поднимались испарения. Судя по всему, дыра была пробита сцепным дышлом другой цистерны. В некотором отдалении стояли в ряд пожарные машины, еще дальше – кареты «скорой помощи» и полицейские фургоны. До меня доносились сирены, усиленные мегафонами крики, потрескивание атмосферных помех, которые слегка искажали звучавшие в морозном воздухе голоса. Люди сновали между машинами, распаковывали оборудование, таскали пустые носилки. Другие, в ярко-желтых костюмах из милекса и противогазах, медленно двигались сквозь ярко освещенную дымку с приборами для измерения смертоносности. Пневматические снегоочистители опрыскивали цистерну и близлежащий ландшафт каким-то розовым веществом. Этот густой туман образовывал в воздухе арки, напоминая тучи сластей, разбрасываемых на концерте патриотической музыки. Снегоочистители такого типа обычно используют на взлетно-посадочных полосах, а полицейские фургоны такого типа предназначены для перевозки пострадавших во время общественных беспорядков. Из лучей красного света дым перемещался во тьму и вновь возникал в широких бесцветных лучах театральных прожекторов. Люди в костюмах из милекса двигались с осторожностью космонавтов, ступивших на поверхность Луны. Каждый шаг был проявлением смутного беспокойства, не подкрепленного природным чутьем. Угрозы пожара или взрыва в данном случае не было. Смерть здесь, вероятно, проникала, просачивалась прямо в гены, укоренялась в телах, которые еще не появились на свет. Люди двигались так, словно под ногами была низина, покрытая лунной пылью, двигались неуклюже, шатаясь, в плену неверных представлений о природе времени.

Я не без труда вполз обратно.

– Ну, что скажешь? – спросил Генрих.

– Облако висит на том же месте как привязанное.

– Значит, по-твоему, сюда оно не доберется.

– Ты говоришь таким тоном, будто знаешь то, чего не знаю я.

– Так доберется оно сюда, по-твоему, или нет?

– Ты вынуждаешь меня сказать, что оно и за миллион лет сюда не доберется, а потом наведешь критику при помощи парочки фактов. Давай, не тяни, рассказывай, что передали по радио, пока я стоял на карнизе.

– От этого не бывает тошноты, рвоты и одышки, как говорили

раньше.

– Что же тогда бывает?

– Учащенное сердцебиение и ощущение дежа вю.

– Дежа вю?

– Яд воздействует то ли на ложную часть человеческой памяти, то ли еще на что-то. И это еще не все. Это больше не называют вздымающимся черным облаком.

– Как же это теперь называется?

Он внимательно посмотрел на меня:

– Воздушнотоксическое явление.

Эти слова Генрих произнес четко, по слогам, с тревогой в голосе, словно ощутив угрозу в терминологии, выдуманной властями штата. Он по-прежнему внимательно смотрел на меня, вглядывался в мое лицо в надежде увидеть хоть какую-то уверенность в отсутствии реальной опасности – уверенность, которую он тотчас же счел бы неискренней. Его любимый тактический ход.

– Название не имеет значения. Самое главное – местоположение. Все происходит там, а мы – здесь.

– Из Канады сюда движутся крупные воздушные массы, – сухо сказал он.

– Я уже знаю.

– Ты же не будешь утверждать, что это не имеет значения.

– Может, имеет, а может, и нет. Смотря по обстоятельствам.

– Погода скоро изменится! – чуть ли не выкрикнул он голосом, задрожавшим от горького волнения, характерного для мальчишек его возраста.

– Между прочим, я не просто профессор колледжа. Я возглавляю кафедру. Не могу представить себя в роли человека, спасающегося бегством от какого-то воздушнотоксического явления. Это удел людей, живущих в автоприцепах в убогих районах округа, там, где рыбопитомники.

Мы смотрели, как Уайлдер пятится вниз по ступенькам чердачной лестницы, самой высокой в доме. За ужином Дениза то и дело вставала из-за стола и, зажав рот рукой, неуклюже семенила в уборную в конце коридора. Время от времени мы молча солили еду и жевали, слушая, как она там безуспешно тужится. Генрих сообщил Денизе, что у нее обнаруживаются устаревшие симптомы. Она посмотрела на него, прищурившись. То был период взглядов, быстрых и пристальных, период полного взаимопонимания, одного из многочисленных проявлений восприимчивости, которыми я обычно дорожу. Тепло, шум, свет, взгляды, слова, жесты, личные выпады, уступчивость. Беспросветно глупые разговоры, превращающие семейную жизнь

в уникальное средство чувственного восприятия, к которому, как водится, примешивается искреннее удивление.

Я наблюдал затем, как девочки украдкой переглядываются.

– Не рановато ли мы сегодня ужинаем? – спросила Дениза.

– Что такое, по-твоему, рановато? – спросила ее мать.

Дениза взглянула на Стеффи.

– Может, дело в том, что мы хотим побыстрее освободиться? – спросила она.

– С какой стати нам этого хотеть?

– Мало ли что может случиться, – сказала Стеффи.

– Что, например? – спросила Бабетта.

Девочки снова переглянулись, и этот долгий обмен многозначительными взглядами означал: подтверждаются некие смутные подозрения. Вновь зазвучал сигнал воздушной тревоги – на сей раз так близко, что потряс и встревожил нас. Мы перестали смотреть друг на друга, не желая подавать вида, будто происходит нечто из ряда вон выходящее. Звук доносился из нашего краснокирпичного пожарного депо, чьи сирены не опробовались, по меньшей мере, лет десять. Они издавали пронзительный визг, подобный крику какой-нибудь птицы, обитавшей здесь в мезозойскую эру, плотоядного попугая с размахом крыла, как у самолета ДС-9. В резком визге, которым огласился весь дом, было столько животной агрессии, что казалось, того и гляди рухнут стены, так близко, наверняка почти у порога. Просто поразительно, что это акустическое чудовище так долго скрывалось неподалеку.

Мы продолжали есть – тихо и аккуратно, выбирая кусочки поменьше и вежливо прося друг друга что-нибудь передать. Все стали тщательно подбирать слова, держались более скованно, а хлеб намазывали маслом, как реставраторы фрески. Однако ужасающий пронзительный визг не умолкал. По-прежнему избегая смотреть друг на друга, мы старались не звенеть посудой. Вероятно, у всех теплилась робкая надежда: только так и можно остаться незамеченными. Казалось, сирены возвещают о появлении некоего сдерживающего механизма – такого, который нам лучше не раздражать своей сварливостью и разбросанной по столу едой.

Лишь в тот момент, когда сквозь ритмичный вой мощных сирен послышался другой звук, мы решили, что истерический припадок благовоспитанности пора прекращать. Генрих подбежал к парадной двери и открыл ее. Вместе со свежим воздухом в дом разом ворвались все вечерние звуки. Осознав, что новый звук – усиленный громкоговорителем голос, но не разобрав слов, мы впервые за долгое время переглянулись. Генрих вошел

неестественно размеренным шагом, степенно, почти бесшумно. Судя по всему, скованность его объяснялась важностью происходящего.

– Они хотят, чтобы мы эвакуировались, – сказал он, пряча глаза.

– Как по-твоему, нам просто советуют так поступить, или это больше похоже на приказ? – спросила Бабетта.

– Это была машина начальника пожарной команды, с громкоговорителем, и двигалась она довольно быстро.

– Другими словами, уловить все нюансы интонации ты не успел, – сказал я.

– Он орал во все горло.

– Это из-за сирен, – сочувственно сказала Бабетта.

– Сказано было примерно вот что: «Все эвакуируются из мест проживания. Облако смертельно опасных химикатов, облако смертельно опасных химикатов».

Мы сидели, глядя на бисквитный торт и консервированные персики.

– Я уверена, что впереди еще уйма времени, – сказала Бабетта, – иначе нас непременно поторопили бы. Интересно, с какой скоростью движутся воздушные массы.

Стеффи, тихо заплакав, прочла купон от рекламы мыла «Бэби Люкс». Это привело в чувство Денизу. Она пошла наверх укладывать за всех какие-то вещи. Генрих, перепрыгивая через две ступеньки, помчался на чердак за биноклем, картой дорог и приемником. Бабетта удалилась в кладовку и принялась собирать жестянки и банки с привычными жизнеутверждающими этикетками.

Стеффи помогла мне убрать со стола.

Двадцать минут спустя мы уже сидели в машине. По радио сказали, что жители западной части города должны направляться в заброшенный лагерь бойскаутов, где добровольцы из Красного Креста будут раздавать кофе и сок. Жителям восточной части следовало ехать по парковой дороге в четвертый район размещения, а там идти в ресторан под названием «Дворец кунфу» – здание с флигелями и пагодами, где пруды с лилиями и живые олени.

Оказавшись одними из последних в первой из двух групп, мы влились в поток транспорта на главной дороге, ведущей за город, – убогой улочке с подержанными легковушками, закусочными, уцененными аптеками и четырьмя кинозалами. Дожидаясь своей очереди, чтобы выехать на четырехполосное шоссе, мы услышали, как усиленный громкоговорителем голос кричит где-то сверху и сзади, обращаясь к погруженным во тьму

домам на улице платанов и высоких живых изгородей:

«Всем немедленно покинуть жилища! Токсическое явление, химическое облако!»

Автомобиль с громкоговорителем объезжал улицы района, и голос то делался громче, то затихал, то вновь нарастал. Токсическое явление, химическое облако. Даже когда эти слова замирали вдали, можно было расслышать модуляцию голоса, периодическую последовательность звуков. Видимо, опасность людей, выступающих публично, обязывает соблюдать некий ритм, будто в ритмизованной речи присутствует логичность, при помощи которой можно нейтрализовать любое явление, грозящее свалиться на наши головы, каким бы яростным и бессмысленным оно ни было.

Когда мы выбрались на шоссе, пошел снег. Нам почти нечего было сказать друг другу – еще никто до конца не верил в реальность происходящего, в нелепый факт эвакуации. Смотрели мы, в основном, на людей в других машинах, пытаясь по выражению их лиц определить, настолько сильно должны испугаться мы сами. Машины еле тащились по шоссе, но мы полагали, что скорость возрастет через несколько миль, там, где нет разделительного барьера, и поток транспорта, движущегося на запад, сможет занять все четыре ряда. Две встречные полосы были свободны, а это значило, что полиция уже перекрыла движение в нашу сторону. Обнадеживает. Во время массового бегства люди больше всего боятся, что облеченные властью лица давно сбежали, взвалив ответственность за возникший хаос на них.

Снегопад усилился, и машины стали двигаться рывками. В магазине «Все для дома» проводилась распродажа модной мебели. Из-за огромной, ярко освещенной витрины на нас изумленно глазели мужчины и женщины. От этого мы чувствовали себя глупцами, туристами, которые постоянно совершают какие-то нелепости. Почему они с удовольствием подбирают себе мебель, а мы, охваченные паникой, сидим в машинах, застрявших из-за снегопада? Они знают то, чего не знаем мы. В критические моменты истиной считается все, что утверждают другие люди. Никому положение дел не известно менее достоверно, чем вам самим.

По меньшей мере, в двух городах по-прежнему звучали сирены воздушной тревоги. Что могли знать те покупатели? Какие сведения побуждают их остаться, а перед всеми нами лежит более-менее свободный путь к безопасности? Я принялся нажимать кнопки приемника.

По сообщению радиостанции города Глассборо, поступила

новая важная информация. Людей, уже оказавшихся в помещении, просили не выходить на улицу. О смысле этой просьбы оставалось только догадываться. Быть может, на дорогах огромные пробки? А может, в падающем снеге содержится ниодин «Д»?

Я продолжал нажимать кнопки, надеясь, что кто-нибудь выступит с разъяснениями. Женщина, назвавшаяся редактором по вопросам защиты потребителей, открыла дискуссию о заболеваниях, которые могут стать следствием непосредственного столкновения с воздушно-токсическим явлением. Мы с Бабеттой настороженно переглянулись. Она тотчас заговорила с девочками, а я убавил громкость, чтоб они не подумали, будто им и вправду угрожает опасность.

«Судороги, кома, выкидыш», – бодро перечисляла эрудированная особа.

Мы проехали мимо трехэтажного мотеля. Во всех комнатах горел свет, у всех окон толпились и глазели люди. Мы – процессия глупцов, не защищенных не только от действия ядовитых осадков, но и от презрительных взглядов других. Почему они не с нами, почему не сидят в теплых пальто за ветровыми стеклами с работающими дворниками, под неслышно падающим снегом? Нам страшно захотелось побыстрее добраться до лагеря бойскаутов, ввалиться в главное здание, плотно закрыть двери, взять кофе и сок и, свернувшись калачиком на раскладушках, дождаться отбоя тревоги.

Машины начали заезжать вверх, на покрытый травой склон у обочины, и образовался третий ряд угрожающе накренившихся автомобилей. Мы ехали в бывшем правом ряду, и потому нам оставалось только смотреть, как эти машины обгоняют нас, лихо проносясь мимо на небольшой высоте и отклоняясь от горизонтали.

Мы медленно подъехали к путепроводу и увидели идущих по нему людей. У них в руках были коробки, чемоданы и узлы из одеял. Люди двигались длинной вереницей, уходя в непроглядную вьюгу. Многие прижимали к груди маленьких детей и домашних животных, один старик кутался в одеяло, наброшенное на пижаму, две женщины тащили на плечах свернутый ковер. Одни ехали на велосипедах, другие везли на санках и в колясках детей. Люди с магазинными тележками, люди в разнообразной мешковатой одежде, выглядывают из глубин капюшонов. Одна семья полностью завернулась в пластик – большой чехол из прозрачного полиэтилена. Под своим щитом они шли в ногу, муж впереди, жена сзади, между ними – трое детей, все к тому же – в поблескивающих дождевиках. Будто

хорошо отрепетированный спектакль, исполненный такого самолюбования, словно все они очень долго дожидались возможности устроить свое костюмированное шествие. Люди появлялись из-за высокой насыпи и устало брели по путепроводу под снегом, падающим им на плечи, сотни людей шли вперед с решимостью обреченных. Вновь завыли сирены. Усталые люди не ускорили шаг, не взглянули ни на нас, ни в ночное небо – не гонит ли ветер на них облако, лишь продолжали двигаться по путепроводу, сквозь бушующую в пятнах света метель. Брели под открытым небом, не отпускали от себя детей, взяв с собой все, что смогли унести. Казались олицетворением судьбы некоего древнего народа, роковой участью своей связанного с историей всех народов, когда-либо кочевавших по опустошенным ландшафтам. В этих людях было нечто эпическое, и глядя на них, я впервые поразился масштабам передряги, в которую мы угодили.

По радио сказали: «Именно благодаря многоцветной голограмме, реализация этой кредитной карточкой так увлекательна».

Медленно проезжая под путепроводом, мы слышали яростные автомобильные сигналы и жалобное завывание «скорой», застрявшей в пробке. Впереди, ярдах в пятидесяти от нас, все движение сосредоточилось в одном ряду, и вскоре мы поняли, почему. Одну легковушку занесло на склоне, и она врезалась в автомобиль, двигавшийся в нашем ряду. Шоссе огласилось кваканьем гудков. Прямо над нами завис вертолет, осветив груду сплющенного металла бесцветным лучом. На траве сидели ошеломленные люди, за которыми ухаживала пара бородатых фельдшеров. Двое были в крови. Пятна крови остались на разбитом окошке. Кровь просачивалась снизу сквозь свежевыпавший снег Капли крови падали на коричневую дамскую сумочку. Раненые, медики, дымящаяся сталь – вся эта залитая таинственным ярким светом картина приобрела выразительность строгой композиции. Мы молча проехали мимо, как ни странно – с благоговейным трепетом, даже душевным подъемом при виде искореженных машин и погибших людей.

Генрих неотрывно смотрел в заднее окошко, а когда мы отъехали довольно далеко от места катастрофы, поднес к глазам бинокль. Он сообщил нам, сколько человек погибли и как лежат их тела, подробно описал следы заноса легковушки и поврежденные машины. Когда не стало видно обломков, он заговорил обо всем, что произошло после того, как за ужином мы услышали сигнал воздушной тревоги. Заговорил восторженно, обнаружив способность тонко чувствовать все яркое и

неожиданное. Я полагал, что все мы пребываем в одном и том же душевном состоянии, подавленном и тревожном, в смятении. Мне и в голову не приходило, что кого-то из нас эти события приведут в радостное возбуждение. Я взглянул на Генриха в зеркальце. Он сидел ссутулившись, в камуфляжной куртке с кожаными вставками, и весело, увлеченно рассуждал о катастрофе. Говорил о снегопаде, о движении на дороге, об устало бредущих людях. Строил догадки о том, далеко ли еще до заброшенного лагеря и что за примитивные удобства нам там предоставят. Никогда еще я не слышал, чтобы он разглагольствовал о чем-нибудь с таким бурным наслаждением. Он почти опьянел. Наверняка ему известно, что все мы можем погибнуть. Не такого ли рода восторг должен переполнять людей перед наступлением конца света? Быть может, думая о каком-нибудь огромном, страшном несчастье, Генрих пытался отвлечься от мыслей о собственных мелких неприятностях? Голос выдавал его – он явно мечтал об ужасных напастях.

– Какая нынче зима – мягкая или суровая? – спросила Стеффи.

– По сравнению с чем? – спросила Бабетта.

– Не знаю.

Мне показалось, что Бабетта незаметно сунула что-то в рот. Я на мгновение перестал смотреть на дорогу и внимательно взглянул на нее. Она уставилась прямо перед собой. Я сделал вид, будто снова переключаю внимание на дорогу, но тут же оглянулся еще раз и застал ее врасплох в тот момент, когда она, видимо, глотала то, что положила в рот.

– Что это? – спросил я.

– Веди машину, Джек.

– Я видел, как у тебя сокращалось горло. Ты что-то проглотила.

– Всего-навсего леденец. «Спасательный Круг». Веди машину, пожалуйста.

– Ты кладешь в рот леденец и сразу глотаешь его, даже не пососав?

– Почему глотаю? Он еще у меня во рту.

Бабетта наклонилась поближе ко мне, сунув за щеку язык. Явный, дилетантский блеф.

– Но ты что-то проглотила. Я видел.

– Это всего лишь слюна. А сплюнуть некуда. Веди машину, прошу тебя!

Я почувствовал, что Дениза с возрастающим интересом прислушивается к нашему разговору, и решил не продолжать. Неподходящий момент расспрашивать ее мать о лекарствах,

побочных эффектах и тому подобных вещах. Уайлдер спал, положив голову на руку Бабетты. Дворники оставляли на ветровом стекле влажные дуги. По радио сообщили, что из центра химического обнаружения, расположенного где-то в глуши Нью-Мексико, в район бедствия отправляют собак, обученных находить ниодин «Д» по запаху.

– А они когда-нибудь задумывались, что случится с собаками, когда те подойдут близко к этому веществу и начнут его нюхать? – спросила Дениза.

– Ничего с собаками не случится, – сказала Бабетта.

– Откуда ты знаешь?

– Эта отрава действует только на людей и на крыс.

– Я тебе не верю.

– Спроси у Джека.

– Спроси у Генриха, – сказал я.

– Возможно, это правда, – сказал Генрих, явно солгав. – Опыты на крысах проводят, чтобы определить, чем могут заразиться люди, а это значит, что мы – крысы и люди – страдаем одними и теми же болезнями. Кроме того, они не стали бы использовать собак, если бы считали, что это вредно для их здоровья.

– Почему?

– Собака – млекопитающее.

– Крыса тоже, – сказала Дениза.

– Крыса – вредитель, – сказала Бабетта.

– Вообще-то крыса, – сказал Генрих, – относится к отряду грызунов.

– Все равно она вредитель.

– Таракан – вот вредитель, – сказала Стеффи.

– Таракан – насекомое. Чтобы это определить, надо сосчитать лапки.

– Все равно он вредитель.

– Тараканы болеют раком? Нет, – сказала Дениза. – Наверняка это значит, что крыса больше похожа на человека, чем на таракана, даже если оба они – вредители, ведь крыса и человек могут заболеть раком, а таракан – нет.

– Иными словами, – сказал Генрих, – она утверждает, что между двумя млекопитающими больше общего, чем между двумя существами, которые являются просто вредителями.

– Выходит, по-вашему, – спросила Бабетта, – крыса – не только грызун и вредитель, но и млекопитающее?

Метель перешла в мокрый снег, мокрый снег – в дождь.

Мы добрались до того места, где бетонный барьер сменяется двадцатиярдовым благоустроенным участком разделительной

полосы высотой не больше бордюрного камня. Однако вместо полицейского, направляющего транспорт в два дополнительных ряда, мы увидели человека в костюме из милекса, и он дал нам знак проезжать мимо. У него за спиной возвышался могильный холм из превратившихся в металлолом трейлера «уиннибейго» и снегоочистителя. Из груды искореженных обломков струился рыжеватый дымок. Повсюду разбросана цветная пластмассовая посуда. Ни жертв, ни свежей крови нигде не было, поэтому мы предположили, что после соития громадного трейлера и снегоочистителя прошло уже довольно много времени – вероятно, в тот миг водителю показалось не грех воспользоваться удобным случаем. Должно быть, он пересек на большой скорости разделительную полосу и не заметил встречной машины из-за слепящей метели.

– Все это я уже видела раньше, – сказала Стеффи.

– То есть?

– Это уже когда-то происходило. Точно так же. Тот же человек в желтом костюме и противогазе. Та же груда обломков на снегу. В общем, все было именно так. Мы сидели в этой машине. Дождь дырявил снег. Все сходится.

О том, что от воздействия химических отходов у человека, возникает ощущение дежа вю, мне сообщил Генрих. Когда он это сказал, Стеффи не было рядом, но она могла услышать об этом по радио на кухне, где они с Денизой, вероятно, и узнали о потных ладонях и рвоте до того, как симптомы обнаружились у них самих. Вряд ли Стеффи знала, что такое дежавю, хотя, возможно, ей объяснила Бабетта. Однако парамнезия больше не считалась симптомом отравления ниодином. Ее сменили кома, судороги и выкидыш. Если Стеффи услышала по радио о дежа вю, но впоследствии пропустила мимо ушей сообщение о более опасных расстройствах, значит, ее вполне мог ввести в заблуждение собственный аппарат внушаемости. Они с Денизой весь вечер мешкали. Опоздали с потными ладонями, опоздали с тошнотой и вот опоздали с дежа-вю. Что все это значит? Неужели Стеффи действительно думает, что уже видела когда-то эти обломки – или всего лишь предполагает, что они ей когда-то привиделись? Можно ли обладать ложной способностью восприятия иллюзии? Неужели бывает подлинная ложная память и ложная ложная память? Интересно, действительно ли у нее потели ладони, или она попросту представила себе ощущение влажности. Неужели она настолько легко поддается внушению, что у нее будет обнаруживаться каждый симптом, о котором сообщат по радио?

Я с грустью думаю о людях и той странной роли, которую мы играем в собственных несчастьях.

А что если она не слушала радио, не знала, что такое дежавю? Что, если у нее обнаружились подлинные симптомы в силу естественных причин? Возможно, ученые были правы с самого начала, когда делали первые заявления, – до того, как стали пересматривать свою точку зрения. Что хуже – настоящая болезнь или воображаемая, вызванная мнительностью, да и есть ли между ними разница? Эти и сопутствующие вопросы меня очень занимали. Сидя за рулем, я неожиданно для себя превращался то в студента, то в профессора на устном экзамене, основанном на софистических тонкостях, подобных тем, которые в течение нескольких столетий забавляли средневековых лоботрясов. Можно ли силой внушения вызвать выкидыш у девятилетней девочки? Не должна ли она сначала забеременеть? Достаточно ли одной силы внушения для того, чтобы повернуть весь процесс вспять таким образом: сперва выкидыш, потом беременность, менструация и овуляция? Что бывает раньше – менструация или овуляция? О чем речь – всего лишь о симптомах или же о глубоко укоренившихся расстройствах? Что такое симптом – признак или явление? Что такое явление, и как отличить одно явление от другого?

Я выключил приемник – не для того, чтобы легче думалось, а чтобы не думать ни о чем. Автомобили дергались и буксовали. Кто-то бросил из бокового окошка обертку от жвачки, и Бабетта произнесла обличительную речь о равнодушных людях, которые мусорят на автострадах и в сельской местности.

– Могу рассказать еще одну историю, которая уже происходила раньше, – сказал Генрих. – У нас бензин кончается.

Стрелка дрожала возле нулевой отметки.

– Всегда есть излишек, – сказала Бабетта.

– Разве излишек может быть всегда?

– Бак специально так устроен, чтобы не кончалось топливо.

– Всегда излишка быть не может. Если ты едешь дальше, бензин кончается.

– Никто не ездит без остановок.

– А как же узнать, когда нужно остановиться? – спросил Генрих.

– Когда будешь проезжать мимо заправки, – сказал я ему и тут же увидел пустынную, омытую дождем площадку с великолепными бензоколонками под множеством разноцветных флагов. Я въехал на нее, выскочил из машины и, пряча голову под поднятый воротник пальто, подбежал к колонкам. Их не заблокировали – наверняка служители поспешно удрали, загадочно бросив все имущество, словно орудия труда и гончарные изделия какой-нибудь индейской цивилизации, хлеб в

печи, стол, накрытый на троих: тайна, которой предстоит будоражить умы грядущих поколений. Я схватил шланг колонки с неэтилированным топливом. Флаги громко хлопали на ветру.

Спустя несколько минут, снова выехав на дорогу, мы увидели необыкновенное, поразительное зрелище. Оно возникло впереди и по левую сторону, и мы не могли не сползти на сиденьях ниже, наклониться, чтобы лучше видеть, что-то крикнуть друг другу и умолкнуть на полуслове. То было вздымающееся черное облако, воздушнотоксическое явление, освещенное яркими лучами прожекторов семи армейских вертолетов. Они следили за его перемещением по ветру, держали его в поле зрения. Во всех машинах люди наклонили головы, одни водители принялись сигналить, предупреждая об опасности других, в боковых окошках появились лица, на которых отражались разнообразные оттенки невероятного изумления.

Громадная черная туча плыла, словно некий корабль смерти из скандинавской легенды, сопровождаемый во мраке ночи существами в доспехах с вертолетными винтами. Мы растерялись, не зная, как на все это реагировать. Зрелище внушало ужас – так близко, так низко проплывало облако, полное хлоридов, бензолов, фенолов, углеводородов и прочих, неизвестно каких именно, ядовитых веществ. Но в то же время от него захватывало дух, оно было такой же частью грандиозного массового представления, как яркая сцена на сортировочной станции или люди, устало бредущие по заметенному снегом путепроводу с детьми, продуктами, вещами – армия бесприютных и обездоленных, отмеченная печатью трагедии. К нашему страху примешивался благоговейный трепет, почти священный. Несомненно, явление, представляющее собой угрозу для жизни, может внушать благоговение, казаться некой космической силой, гораздо величественнее человека, более могучей, рожденной в непоколебимой гармонии стихий. Смерть, созданная в лаборатории, получившая точное определение и поддающаяся измерению, но в тот момент мы наивно, примитивно представляли ее себе неким сезонным вывертом природы, так же не зависящим от человека, как наводнение или смерч. По-видимому, наша беспомощность несовместима с понятием рукотворного явления.

На заднем сиденье дети выхватывали бинокль друг у друга из рук.

Все это было просто поразительно. Казалось, облако освещают прожекторами ради нас, словно часть большого светозвукового спектакля, клочок создающего нужное настроение искусственного тумана, окутывающего высокую крепостную

стену, за бойницами которой убили короля. Однако то, свидетелями чего мы стали, не имело отношения к истории. Нечто непостижимое, растравляющее душу, пережитое во сне и преследующее сновидца наяву. Из вертолетов выпустили осветительные ракеты, негромко вспыхнувшие красными и бесцветными огнями. Водители принялись сигналить, а ко всем окошкам, запрокинув головы и прижав розовые ручонки к стеклу, прижались дети.

Дорога резко повернула прочь от ядовитого облака, и некоторое время транспорт двигался почти без помех. На перекрестке возле лагеря бойскаутов к основному потоку машин пристроились два школьных автобуса. В обоих ехали душевнобольные из Блэксмита. Мы узнали водителей, разглядели за окнами знакомые лица – лица людей, которых привыкли видеть в шезлонгах за неплотной живой изгородью больницы или кружащими по лужайке, постоянно сужая круги, с постоянно возрастающей скоростью, словно смесь в бетономешалке. Как ни странно, мы любили их, испытывали облегчение от того, что за ними усердно и профессионально ухаживают. Казалось, структура общества в целости и сохранности.

Мы миновали указатель дороги к наиболее часто фотографируемому амбару в Америке.

На организацию движения по однорядному подъездному пути к лагерю ушел целый час. Мужчины в костюмах из милекса махали фонариками и расставляли покрытые светящейся краской столбики, направляя нас к автостоянке, на спортплощадки и другие свободные участки. Из леса выходили люди – кто с фонарями на головах, кто с хозяйственными сумками, кто с детьми или домашними животными на руках. Мы тряслись на ухабах фунтовых дорожек. Возле главных зданий мы увидели мужчин и женщин с планшетами и портативными рациями. То были должностные лица, без костюмов из милекса, специалисты по новой науке об эвакуации. Стеффи, как и Уайлдер, забылась тревожным сном. Дождь перестал. Люди, выключив фары, в нерешительности остались сидеть в машинах. Долгое необыкновенное путешествие подошло к концу. Мы ждали какой-то удовлетворенности, некоторого успокоения от сознания выполненного долга, заслуженной приятной усталости, что сулит безмятежный, глубокий сон. Однако люди сидели в своих темных машинах, глазея друг на друга сквозь стекла закрытых окон. Генрих грыз леденец. Мы слушали хруст, который он издавал, впиваясь зубами в карамельно-глюкозную массу. Наконец из «датсуна-максимы» вышла семья из пятерых человек. Все были в спасательных жилетах и имели при себе сигнальные ракеты.

Вокруг некоторых собирались небольшие толпы. То были источники информации и слухов. Один работал на химическом заводе, другой случайно услышал, как кто-то что-то сказал, у третьего родственник служил в государственном учреждении. Люди сбивались в кучки, и от них по всей общей спальне разносились верные, неверные и прочие сообщения.

Ходили слухи, что завтра с утра нас отпустят домой; что правительство замешано в сокрытии преступления; что в ядовитое облако влетел вертолет, а оттуда так и не вылетел; что собаки из Нью-Мексико уже прибыли, их выбросили с парашютом, и они приземлились на лугу, совершив смелый ночной прыжок; что город Фармингтон еще сорок лет будет непригоден для жилья.

Слухи циркулировали непрерывно. Ни одно сообщение не было более или менее правдоподобным, чем любое другое. Нас отрезали от действительности и тем самым избавили от необходимости различать правду и ложь.

Одни семьи предпочли заночевать в машинах, другие вынуждены были так поступить, поскольку им не нашлось места ни в одном из семи или восьми зданий лагеря. Мы попали в один из трех больших бараков, и после того, как в здании включили генератор, почувствовали себя довольно уютно. Красный Крест предоставил раскладушки, переносные обогреватели, бутерброды и кофе. В дополнение к существующим потолочным светильникам выдали керосиновые лампы. У многих имелись приемники, лишние продукты, которыми они делились с другими, одеяла, складные стулья, одежда. В битком набитом помещении было все еще довольно холодно, однако при виде медсестер и работников-добровольцев мы поняли, что детям ничего не грозит, а присутствие других несчастных – молодых женщин с младенцами, немощных стариков – придало нам определенную твердость духа, решительность и склонность к самоотверженности, достаточно ярко выраженную, чтобы мы чувствовали себя чем-то единым. Это мрачное большое здание, заброшенное, пустое, холодное от сырости, всего за несколько часов превратилось, как ни странно, во вполне сносное жилище и заполнилось людьми, стремящимися общаться и высказываться.

Люди, желавшие услышать новости, двигались от группы к группе, задерживаясь там, где толпилось больше народу. Я тоже не спеша бродил по бараку. Мне удалось узнать, что создано девять эвакопунктов, включая наш и «Дворец кун-фу». Из Айрон-сити эвакуировали не всех – как, впрочем, и из большинства других городков. Ходили слухи, что губернатор покинул здание законодательного собрания и направляется сюда на служебном

вертолете. Возможно, вертолет приземлится на бобовом поле близ одного из опустевших городов, чтобы губернатор – самоуверенный тип с массивной челюстью – смог секунд десять-пятнадцать покрасоваться перед камерами в летной куртке и таким образом продемонстрировать свою неуязвимость.

Каково же было мое удивление, когда, осторожно протискиваясь между людьми, стоящими с краю едва ли не самой многочисленной толпы, я обнаружил, что всеобщее внимание приковано к моему родному сыну, говорящему все тем же недавно обретенным голосом, в котором сквозит восторг перед неотвратимой катастрофой. Говоря о воздушнотоксическом явлении, он употреблял специальные термины, однако голос его был почти певучим от пророческих разоблачений. Название вещества, дериват ниодина, он произносил с неприличным наслаждением, находя некое противоестественное удовольствие в самом его звучании. Люди внимательно слушали этого мальчишку в полевой куртке и кепке, с висящим на груди биноклем и прикрепленным к поясу фотоаппаратом «Инстаматик». Без сомнения, на слушателей действовал его возраст. Он наверняка правдив и откровенен, наверняка знаком с проблемами окружающей среды и в курсе последних достижений в области химии.

До меня донеслись его слова:

– Вещество, которым опрыскали большую лужу пролитого яда на сортировочной станции, – это, вероятно, кальцинированная сода. Но этого недостаточно, к тому же было уже поздно. Я полагаю, что на рассвете в воздух поднимут несколько сельскохозяйственных самолетов и бомбардируют ядовитое облако большим количеством кальцинированной соды, которая, возможно, диспергирует его и развеет на миллионы клубов безвредного пара. Кальцинированная сода – общепринятое название двууглекислого натрия, который применяется при изготовлении стекла, керамических изделий, моющих средств и мыла. Кроме того, из него делают питьевую соду, которую многие из вас, наверное, с жадностью пьют после бурно проведенной ночи.

Люди, пораженные осведомленностью и сообразительностью мальчика, старались протиснуться поближе. Странно слышать, как Генрих с такой легкостью выступает перед толпой незнакомых людей. Быть может, он близок к тому, чтобы найти себя, научиться судить о своих достоинствах по реакции других? Неужели благодаря суматохе и всеобщему смятению, вызванному этим страшным несчастьем, он сможет научиться прокладывать себе путь к успеху?

– Вероятно, всем вам интересно, что же представляет собой этот ниодин «Д», о котором нам постоянно твердят? Законный вопрос. Это вещество мы изучали в школе – смотрели фильмы про крыс, у которых начинались судороги, и все такое прочее. Так вот, в сущности все очень просто. Ниодин «Д» – соединение, состоящее из целой кучи разных веществ, являющихся побочными продуктами производства инсектицида. Полученное средство уничтожает тараканов, а побочные продукты – все остальное. Эту шуточку отпустил наш преподаватель.

Генрих щелкнул пальцами и слегка дрыгнул левой ногой.

– В виде порошка это вещество не имеет ни цвета, ни запаха и очень опасно – разве что, похоже, никто так толком и не знает, какой вред оно причиняет людям и их потомству. Опыты проводятся уже много лет, и либо ученые до сих пор ничего не знают наверняка, либо знают и помалкивают. Некоторые вещи слишком ужасны, чтобы предавать их гласности.

Он поднял брови и, высунув язык вбок, принялся комично подергиваться. Я с удивлением услышал, что люди смеются.

– Если вещество просочится в почву, его действие будет сказываться сорок лет. Многие люди столько не живут. Через пять лет вы заметите, что между оконными рамами, а также на одежде и продуктах появились различные виды грибков. Через десять лет проволочные сетки на ваших окнах заржавеют, начнут покрываться раковинами и гнить. Покоробится наружная обшивка стен. Стекла будут лопаться и травмировать домашних животных. Через двадцать лет вам, наверно, придется запереться на чердаке и попросту запастись терпением. Полагаю, все это может послужить уроком. Учитесь разбираться в ваших химических препаратах.

Я не хотел, чтобы Генрих увидел меня в толпе. Это смутило бы его, напомнило о том, как он жил раньше, когда был угрюмым и замкнутым мальчишкой. Если несчастный случай, неожиданная страшная катастрофа дает ему возможность проявить себя, значит, так тому и быть. В общем, я незаметно удалился и, пройдя мимо человека в обернутых полиэтиленом теплых ботах, направился в дальний конец барака, где мы уже расположились лагерем.

Рядом с нами устроилась семья чернокожих Свидетелей Иеговы. Мужчина и женщина с мальчиком лет двенадцати. Отец с сыном раздавали ближайшим соседям брошюры и, по-видимому, без труда находили будущих читателей и внимательных слушателей.

Женщина обратилась к Бабетте:

– Правда, это нечто особенное?

– Я уже ничему не удивляюсь, – сказала Бабетта.

– Вот она, истина!

– Меня удивило бы только отсутствие сюрпризов.

– Вообще-то вы правы.

– Или отдельные пустяковые сюрпризы. Вот это был бы сюрприз. Если бы все сложилось иначе.

– Бог Иегова готовит нам еще больший сюрприз, – сказала женщина.

– Бог Иегова?

– Он самый.

Стеффи и Уайлдер спали на одной из раскладушек. Дениза сидела в сторонке, углубившись в «Настольный справочник терапевта». У стены были сложены в кучу несколько надувных матрасов. К телефону, установленному на случай крайней необходимости, тянулась длинная очередь – люди оповещали родственников или пытались дозвониться до коммутатора той или иной радиопередачи и задать вопрос ведущему. Именно на подобные программы были настроены почти все приемники. Бабетта сидела на складном стуле и рылась в парусиновом мешке, полном легких закусок и других съестных припасов. Я заметил банки и картонные коробки, которые уже очень давно никто не доставал из холодильника или шкафчика.

– Я подумала, сейчас самое время начать есть поменьше жирного.

– Почему именно сейчас?

– Настало время для дисциплины, напряжения душевных сил. Мы же на грани помешательства.

– Весьма любопытно. Значит, беду, которая грозит тебе, твоей семье и тысячам других людей, ты расцениваешь как благоприятную возможность для того, чтобы есть поменьше жирной пищи.

– Дисциплину проще всего соблюдать там, где ее и без того поддерживают, – сказала она. – Если я не съем свой йогурт сейчас, то, возможно, больше никогда не буду покупать подобные продукты. Разве что, наверно, сделаю исключение для пророщенной пшеницы.

Фабричная марка, судя по всему, была иностранной. Я взял банку пшеницы и внимательно изучил этикетку.

– Немецкая, – сказал я. – Съешь.

Некоторые люди были в пижамах и домашних тапочках. Один – с винтовкой, перекинутой через плечо. Дети залезали в спальные мешки. Бабетта жестом попросила меня наклониться поближе.

– Давай не будем включать приемник, – прошептала она. –

Чтобы девочки ничего не услышали. Пока что им известно только про дежа-вю. И лучше им больше ничего не знать.

– А что если симптомы настоящие?

– Да откуда им взяться?

– А вдруг откуда-то взялись?

– Симптомы появляются у девочек, только если о них говорят по радио.

– Стеффи слышала по радио про дежа-вю?

– Не уверена.

– Подумай как следует.

– Не помню.

– А не помнишь, ты не объясняла ей, что такое дежа-вю?

Бабетта взяла ложку, зачерпнула из коробки немного йогурта и замерла, видимо, погрузившись в размышления.

– Все это уже когда-то было, – сказала она наконец.

– Что было?

– Я ела йогурт, мы сидели здесь и говорили о дежа-вю.

– Не желаю этого слышать.

– Йогурт был у меня в ложке. Все промелькнуло передо мной в одно мгновение. Все, что происходило. Натуральный йогурт из цельного молока, с низким содержанием жира.

Йогурт по-прежнему был в ложке. Я смотрел, как она подносит ее ко рту – задумчиво, пытаясь сравнить это действие с тем, что якобы запечатлелось когда-то у нее в памяти. Сидя на корточках, я поманил ее, чтобы наклонилась поближе.

– Похоже, Генрих вылезает из своей скорлупы, – прошептал я.

– А где он? Что-то его не видно.

– Видишь вон ту группу? Он в самом центре. Рассказывает людям все, что знает о токсическом явлении.

– А что он знает?

– Как выяснилось, довольно много.

– Почему же он нам ничего не рассказал? – шепотом спросила Бабетта.

– Наверно, мы ему надоели. Он считает, что в кругу семьи нет смысла быть обаятельным и остроумным. Таковы уж сыновья. Демонстрировать свои достоинства при нас – пустая трата сил.

– Обаяние и остроумие?

– Думаю, этими качествами он обладал всегда. Дело в том, что лишь сейчас ему представился удобный случай проявить свои способности.

Бабетта придвинулась поближе, и мы почти соприкоснулись головами.

– Ты не считаешь, что тебе следует туда подойти? – спросила она. – Пусть он увидит тебя в толпе. Дай ему понять, что отец

присутствует при его триумфе.

– Он только расстроится, если увидит меня в толпе.

– Почему?

– Я же его отец.

– Значит, если подойдешь, ты смутишь его и помешаешь развернуться из-за пресловутой проблемы отцов и детей. А если не подойдешь, он так никогда и не узнает, что ты был свидетелем его триумфа, а потому решит, что в твоем присутствии должен вести себя так же, как всегда, и из очаровательного собеседника с открытым характером опять превратится в замкнутого, капризного ребенка.

– Типичный пример путаницы понятий.

– А что, если мне подойти? – прошептала она.

– Он подумает, что это я тебя послал.

– Что же в этом страшного?

– Он думает, я прибегаю к твоей помощи, чтобы заставлять его поступать так, как хочется мне.

– Возможно, в этом есть доля правды, Джек. Но с другой стороны, для чего нужны отчимы и мачехи, если они не в силах помирить близких родственников?

Я придвинулся еще ближе и заговорил еще тише.

– Просто леденец, – сказал я.

– Что?

– Всего лишь слюна, а сплюнуть некуда.

– Это был «Спасательный Круг», – прошептала она, соединив большой и указательный пальцы колечком.

– Дай мне одну.

– То был последний.

– С каким вкусом? Быстро!

– С вишневым.

Я поджал губы и, негромко причмокивая, сделал вид, будто сосу конфетку. Подошел чернокожий с брошюрами и сел рядом на корточки. Мы обменялись долгим, сердечным рукопожатием. Он открыто разглядывал меня с таким видом, словно тащился в эту глухомань, заставив свою семью покинуть родные места, не для того, чтобы спастись от ядовитых химикатов, а с единственным желанием найти того человека, который поймет все, что он хочет сказать.

– Это повсюду происходит, правда?

– Наверно.

– А что предпринимает правительство?

– Ничего.

– То-то и оно! Все, что делается, можно охарактеризовать только одним словом, и именно его вы нашли. Я ничуть не

удивлен. Впрочем, если хорошенько подумать, что они могут сделать? Ведь чему быть, того не миновать. Ни у одного правительства на свете не хватит сил, чтобы всему этому воспрепятствовать. Интересно, знает ли такой человек, как вы, численность индийской регулярной армии?

– Один миллион.

– То-то и оно! Миллион солдат, и те не в силах этому воспрепятствовать. А знаете, у кого самая многочисленная постоянная армия в мире?

– То ли у Китая, то ли у России, хотя и вьетнамцев не стоит сбрасывать со счетов.

– Ну и как по-вашему, – спросил он, – смогут вьетнамцы все это остановить?

– Нет.

– Все уже началось, не правда ли? Люди это чувствуют. У нас нет никаких сомнений. Близится царствие небесное.

Высокий, худощавый человек с жидкими волосами и щелочкой между двумя передними зубами. На корточках он сидел без напряжения, вертелся, как на шарнирах, и, по-видимому, чувствовал себя в своей тарелке. Я обратил внимание, что на нем костюм с галстуком и кроссовки.

– Разве это не великие дни? – спросил он.

Я вгляделся в его лицо, пытаясь угадать правильный ответ.

– Вы чувствуете его приближение? Оно нарастает? Хотите, чтобы оно настало?

Говоря это, он жизнерадостно подпрыгивал.

– Войны, голод, землетрясения, извержения вулканов. Все начинает приобретать обнадеживающие масштабы. Как вы считаете, может что-нибудь помешать его пришествию, если оно уже набирает силу?

– Нет.

– То-то и оно! Смерчи, наводнения, эпидемии неизвестных новых болезней. Разве это не знамение? Разве не истина? Вы готовы?

– Неужели у людей и вправду нет в этом никаких сомнений? – спросил я.

– Добрые вести не лежат на месте.

– А люди говорят об этом? Когда вы обходите квартиры, у вас складывается впечатление, что люди этого хотят?

– Не просто хотят. Интересуются, где можно записаться добровольцами. Просят немедленно взять их с собой. Люди спрашивают: «А времена года в царствии небесном есть?» Спрашивают: «А там берут плату за проезд по мосту? А пустые бутылки принимают?» Короче, я хочу сказать, что люди относятся

ко всему этому очень серьезно.

– Вы чувствуете, как надвигается буря.

– И дрожит земля. Метко подмечено. Я с первого взгляда смекнул: вот человек, который понимает.

– Между прочим, по статистике количество землетрясений не увеличилось.

Он снисходительно улыбнулся. Я почувствовал, что вполне заслуживаю такой улыбки, хотя и не понял толком, почему. Быть может, сославшись на статистические данные, которые идут вразрез с глубокими убеждениями, сильными страхами и желаниями, я проявил неуместный педантизм.

– Как вы намерены провести период вашего воскрешения? – спросил он так, словно речь шла о ближайших выходных.

– А разве все воскреснут?

– Можно оказаться либо среди нечестивцев, либо среди спасенных. Нечестивцы начинают гнить прямо в тот момент, когда идут по улице. У них глаза вытекают из глазниц. Их можно узнать по отталкивающей наружности и отсутствию некоторых частей тела. Люди ходят, оставляя за собой слизь из собственного организма. Вся внешняя, показная сторона Армагеддона заключается в гниении. А спасенные узнают друг друга по опрятному виду и сдержанному поведению. Если человеку не свойственны развязные манеры, знайте, что душа его спасена.

Это был человек серьезный, напрочь лишенный фантазии и практичный до самых подошв своих кроссовок. Меня заинтересовала его жуткая самоуверенность, свобода от всяческих сомнений. Неужели в этом и состоит суть Армагеддона? В том, чтобы избавиться от неопределенности, отбросить все сомнения? Он готов был сломя голову мчаться в мир иной и при этом изо всех сил старался сделать так, чтобы мир иной проник в мое сознание, чтобы я постиг явления огромной важности, которые представлялись ему обыденными, не требующими объяснений, естественными, неизбежными, реальными. Я не предчувствовал Армагеддон, но беспокоился о людях, которые не испытывают по его поводу никаких сомнений, стремятся к нему и даже приготовились, обзвонив всех родственников и сняв со счетов деньги. Начнется ли он, если этого захочет достаточное количество людей? Какое количество людей является достаточным? Почему мы беседуем друг с другом, сидя на корточках, словно какие-нибудь аборигены?

Он вручил мне брошюру под названием «Двадцать распространенных заблуждений относительно конца света». Я встал, с трудом выпрямив затекшие ноги. Голова закружилась, заныла спина. Вдали, у входа какая-то женщина говорила что-то о

воздействии отравляющих веществ на человека. Ее слабый голос почти тонул в нестройном шуме барака, в том глухом, низком гуле, который люди издают, как правило, в больших замкнутых помещениях. Дениза, отложив свой справочник, буравила меня жестким взглядом. Такой взгляд она обычно приберегала для отца с его очередной утратой завоеванных позиций.

– Что стряслось?

– Ты что, не слышал, о чем говорил голос?

– О вредном воздействии.

– Вот именно! – язвительно сказала она.

– Какое это имеет отношение к нам?

– Не к нам, – сказала она. – К тебе.

– Почему ко мне?

– Разве не ты выходил из машины, чтобы наполнить бак?

– А где было тогда воздушное явление?

– Прямо перед нами. Ты что, не помнишь? Ты снова сел в машину, мы проехали немного, а потом оно возникло в лучах всех этих прожекторов.

– Значит, по-твоему, когда я вышел из машины, облако находилось достаточно близко и залило меня дождем.

– Ты не виноват, – сказала она раздраженно, – но действительно простоял под этим дождем около двух с половиной минут.

Я направился в глубь помещения. Люди вставали там в две очереди. От «А» до «М» и от «Н» до «Я». Перед каждой из очередей на раскладном столе стоял миниатюрный компьютер. Вокруг толпились специалисты, мужчины и женщины со знаками различия на лацканах и нашивками условных цветов. Я встал за семейством в спасательных жилетах. Все они выглядели бодрыми, веселыми и отлично вышколенными. Толстые оранжевые жилеты отнюдь не казались лишними даже несмотря на то, что мы находились на суше, на более или менее сухой земле, высоко над уровнем моря, за много миль от ближайшей водной поверхности. Резкие перемены в силу самой своей внезапности приводят к всевозможным странным заблуждениям. Все происходящее представляло собой красочное зрелище, отмеченное печатью эксцентричности.

Очереди двигались довольно быстро. Когда я добрался до стола с табличкой «А – М», тот, кто сидел за ним, напечатал на своей клавиатуре мои данные: имя, фамилию, возраст, перенесенные болезни и так далее. Этот худощавый парень, по-видимому, с подозрением относился к разговорам, темы которых выходили за рамки, предусмотренные некими невнятными директивами. На левом рукаве его куртки цвета хаки была

зеленая нашивка с надписью «УСВАК».

Я рассказал о том, при каких обстоятельствах подвергся предполагаемому вредному воздействию.

– Сколько времени вы там пробыли?

– Две с половиной минуты, – сказал я. – Это считается много или мало?

– Все, что ведет к непосредственному контакту с выделяемыми веществами, расценивается как чрезвычайная ситуация.

– Почему ни дождь, ни ветер до сих пор не развеяли эту движущуюся тучу?

– Это вам не обычное перистое облачко. Это высококачественное явление. Облако насыщено плотными сгустками побочного продукта. Возможно, забросив туда крючок, вы смогли бы утащить облако в открытое море. Я, конечно, преувеличиваю, чтобы вы поняли мою мысль.

– А как же люди, сидевшие в машине? Ведь для того, чтобы выйти и сесть обратно, мне пришлось открыть дверь.

– Известны различные степени вредного воздействия. Полагаю, в данной ситуации этих людей можно считать объектами минимального риска. А вот пребывание под ядовитым дождем в течение двух с половиной минут заставляет меня содрогнуться. Непосредственный контакт с кожей и дыхательными путями. Это же ниодин «Д». Он относится к совершенно новому поколению токсичных отходов. Мы называем это современным положением дел в науке. Одна часть, содержащаяся в миллионе миллионов частей продукта, может вызвать у крысы необратимый патологический ступор.

Он уставился на меня с неумолимо гордым видом испытанного в боях ветерана. Очевидно, он был невысокого мнения о людях, которые в своей благополучной и слишком обособленной жизни ни разу не сталкивались с прекращением мозговой деятельности у крыс. Мне хотелось, чтобы этот парень был на моей стороне. Он имел доступ к информации. Я готов был превратиться в подобострастного льстеца, лишь бы он не отпускал язвительных замечаний по поводу степени вредного воздействия и моих шансов на выживание.

– Красивая нашивка у вас на рукаве. А что такое «УСВАК»? Звучит многозначительно.

– Сокращенное обозначение условной эвакуации. Новая государственная программа, на которую власти до сих пор никак не могут выбить средства.

– Но эта эвакуация не условная. Она вполне реальна.

– Это нам известно. Но мы решили, что ее можно

использовать и для моделирования ситуации.

– Нечто вроде тренировки? Выходит, вам представилась возможность использовать реальное явление для того, чтобы провести репетицию его имитации?

– Мы работаем прямо на улицах городов.

– Ну и как идет эксперимент?

– Начальная кривая не такая гладкая, как хотелось бы. Есть превышение предела вероятности. К тому же наши жертвы выходят из строя не там, где мы хотели бы их видеть, будь это подлинная имитация. Иными словами, мы вынуждены вылавливать наших пострадавших по мере их обнаружения. Мы не успеваем обрабатывать компьютерные данные. Все произошло внезапно, вещество вдруг просто разлилось по всей округе, в трех измерениях. Приходится делать поправку на то обстоятельство, что все, свидетелями чего мы сегодня являемся, происходит в действительности. Нам еще многое нужно усовершенствовать. Но ведь в этом и состоит цель наших учений.

– А компьютеры? Те данные, которые вы сейчас просматриваете, – подлинные, или же это просто учебная ерунда?

– Смотрите сами, – сказал он.

Он довольно долго стучал по клавишам, а потом изучал закодированные ответы на экране монитора, посвятив всему этому, как мне показалось, значительно больше времени, чем людям, которые стояли в очереди передо мной. При этом я почувствовал, что все на меня смотрят. Я стоял, скрестив руки на груди, и старался производить впечатление безразличного ко всему человека, отстоявшего, к примеру, очередь в магазине хозтоваров и ждущего, когда кассирша, звякнув аппаратом, скажет, сколько стоит сверхпрочная веревка. Казалось, это единственный способ нейтрализовать факты, воспрепятствовать расшифровке компьютерных данных о моей жизни и моей смерти. Ни на кого не смотреть, ничем не выдавать своих чувств, не шевелиться. Гениальность примитивно мыслящего человека заключается в способности скрывать людскую беспомощность за приятными благородными манерами.

– Вы добились высоких показателей, – сказал он, не сводя глаз с экрана.

– Я же пробыл там всего две с половиной минуты. Это что, время в секундах?

– Это не только количество секунд, проведенных вами там. Это вся информация о вас. Я раскопал и использовал данные о вашем прошлом. А теперь появляются числа в скобках, с пульсирующими звездочками.

– И что это значит?

– Вам лучше не знать.

Он жестом велел мне помолчать, как будто на экране возникло нечто особенное, вызвавшее у него нездоровый интерес. А мне стало интересно, что за данные о моем прошлом ему удалось раскопать. Где именно они хранятся? В каком-нибудь федеральном агентстве или администрации штата? В какой-нибудь страховой компании, кредитной фирме или центре медицинской информации? Какое прошлое он имел в виду? Я сообщил ему некоторые основные факты. Рост, вес, детские болезни. Что еще он знает? Узнал ли он что-нибудь о моих женах, о моем увлечении Гитлером, о моих снах и страхах?

У парня были оттопыренные уши и тощая шея, вполне сочетавшиеся с изможденным лицом – простодушный вид типичного деревенского убийцы, орудовавшего до войны.

– Значит, я умру?

– Не то, чтобы.

– То есть?

– Не вполне.

– А если точнее?

– Дело не в формулировке. Дело во времени. Через пятнадцать лет мы будем знать больше. А пока что мы определенно имеем чрезвычайную ситуацию.

– Что мы будем знать через пятнадцать лет?

– Если вы доживете до того времени, мы будем знать больше, чем сейчас. Ниодин «Д» действует тридцать лет. Мы будем знать, что вы прожили половину этого срока.

– А я думал, сорок.

– Сорок – это в почве. В организме человека – тридцать.

– Выходит, чтобы пережить это вещество, мне нужно дотянуть до восьмидесяти с гаком. А потом можно ни о чем не волноваться.

– Зная то, что мы знаем в настоящее время.

– Но общее мнение, кажется, таково, что в настоящее время мы знаем слишком мало, чтобы быть хоть в чем-то уверенными.

– А на это я вот что вам скажу. Будь я крысой, мне бы не хотелось оказаться где-нибудь в радиусе двухсот миль от воздушного явления.

– А если бы вы были человеком?

Он внимательно посмотрел на меня. Я стоял, скрестив руки на груди и глядя поверх его головы на входную дверь. Взглянуть на него – значило бы признать свою уязвимость.

– Я бы не беспокоился о том, чего не вижу и не чувствую, – сказал он. – Продолжал бы жить как живется. Женился бы, остепенился, завел детей. Зная то, что знаем мы, вы имеете все

основания поступить именно так.

– Но вы же сами сказали, что мы имеем чрезвычайную ситуацию.

– Это не я сказал. Это компьютер. Вся компьютерная система об этом говорит. У нас это называется сплошной сверкой баз данных. Глэдни, Дж. Е. К. Я ввожу имя, название вещества, продолжительность воздействия, а потом использую вашу компьютерную историю. Генетическую информацию, персональные данные, истории болезней, особенности психики, сведения из полицейских участков и больниц. В ответ на экране появляются пульсирующие звездочки. По существу, это еще не значит, что с вами что-нибудь случится, по крайней мере сегодня или завтра. Это значит лишь то, что вы представляете собой сумму ваших данных. Как, впрочем, и каждый человек.

– И все же так называемая сплошная сверка не условна, несмотря на вашу нашивку. Она реальна.

– Реальна, – сказал он.

Я стоял совершенно неподвижно. Если бы люди подумали, что я уже умер, они, возможно, охотно оставили бы меня в покое. Наверно, я чувствовал бы себя точно так же, если бы врач поднес к свету рентгеновский снимок, на котором запечатлено звездообразное отверстие в центре одного из моих жизненно важных органов. Смерть взялась за дело. Она уже у вас внутри. Вы, как утверждают, умираете, и в то же время живете отдельно от смерти, можете поразмышлять о ней на досуге и в буквальном смысле слова увидеть на рентгеновском снимке или на экране компьютера страшную, чуждую вам логику всего происходящего. Именно в тот момент, когда смерть изображают наглядно, показывают, так сказать, по телевизору, вы и чувствуете, какая жуткая пропасть отделяет вас от вашего состояния. Введена новая система символов, у богов силой отобрали всю технологию, внушающую благоговейный страх. Из-за нее вы чувствуете себя чужим на собственном смертном одре.

Мне очень не хватало сейчас профессорской мантии и темных очков.

Когда я вернулся в дальний конец барака, трое младших уже спали. Генрих обозначал что-то условными знаками на карте дорог, а Бабетта сидела на приличном расстоянии от детей в компании Старика Тридуэлла и других слепых. Она брала из небольшой стопки купленные в супермаркете бульварные газеты с яркими цветными иллюстрациями и читала их вслух.

Мне нужно было отвлечься. Я нашел складной стул и поставил его у стены, за спиной у Бабетты. Напротив чтицы расположились полукругом четверо слепых, сиделка и трое

зрячих. Время от времени другие люди останавливались послушать пару сообщений, а потом шли дальше. Бабетта говорила голосом рассказчицы, тем искренним и бодрым тоном, которым читала сказки Уайлдеру или эротические отрывки мужу – на медной кровати, высоко над дорогой с ее неумолчным гулом.

Она прочла заголовок сенсационного сообщения: «Отрезные купоны – гарантия жизни после смерти». Потом обратилась к указанной полосе:

– «Ученые прославленного Принстонского института передовых исследований ошеломили весь мир, представив несомненные, неоспоримые доказательства жизни после смерти. Один из исследователей, работающих в этом всемирно известном институте, при помощи гипноза воскресил в памяти сотен людей их прошлые жизни, в которых они были строителями пирамид, иностранными студентами, приехавшими по обмену, и инопланетянами».

Изменив голос, Бабетта начала читать прямую речь:

– «Только в минувшем году, – заявил гипнотизер и специалист по перевоплощению Линь Ти-ван, – я помог сотням людей вернуться в прошлые жизни под гипнозом. Одним из самых моих поразительных объектов оказалась женщина, которая сумела вспомнить, что десять тысяч лет тому назад, в эпоху мезолита, была предводителем группы охотников. Удивительно было слышать, как эта маленькая пожилая горожанка в брюках из полиэфира рассказывает историю своей жизни – жизни здоровенного неуклюжего вожака, чья шайка обитала на торфяном болоте и охотилась на дикого кабана с примитивным луком и стрелами. Женщина сумела назвать такие особенности этой эпохи, о которых может знать только опытный археолог. Она даже произнесла несколько фраз на языке того времени, удивительно похожем на современный немецкий».

Бабетта вновь заговорила ровным голосом актрисы, читающей текст от автора:

– «Доктор Шив Чаттерджи, идеолог приверженцев оздоровительной гимнастики и специалист в области физики высоких энергий, ошеломил недавно телезрителей, рассказав в прямом эфире документально подтвержденную историю о двух не знакомых друг с другом женщинах, которые в разные дни одной недели пришли к нему, чтобы мысленно возвратиться в прошлую жизнь, и неожиданно обнаружили, что пятьдесят тысяч лет тому назад были сестрами-близнецами, жившими в погибшем городе под названием Атлантида. По словам обеих женщин, до своего таинственного и катастрофического погружения в морскую пучину это был чистый город с хорошо налаженным

самоуправлением, где человек мог без опаски прогуливаться почти в любое время суток, В настоящее время они работают консультантами по вопросам питания в НАСА.

Еще больше потрясает история о пятилетней Патти Уивер, которая привела доктору Чаттерджи убедительные доводы в пользу того, что в прошлой жизни она была тайным агентом КГБ, совершившим до сих пор не раскрытые убийства таких знаменитостей, как Говард Хьюз, Мэрилин Монро и Элвис Пресли. Прозванный в международных шпионских кругах «Гадюкой» – за то, что делал своим прославленным жертвам инъекцию смертельного, не оставляющего следов в организме змеиного яда в большой палец ноги, – убийца сгорел заживо в Москве, в потерпевшем аварию вертолете, всего за несколько часов до того, как в городке Популярная Механика, штат Айова, родилась Патти Уивер. Помимо того, что на теле у нее такие же родимые пятна, как у Гадюки, она, похоже, обладает удивительной способностью моментально запоминать русские слова и идиоматические выражения.

– Этот объект я возвращал в прошлое по меньшей мере раз десять, – говорит доктор Чаттерджи. – Чтобы заставить девочку противоречить самой себе, я использовал самые грубые профессиональные приемы. Но она все излагает на удивление связно. Это история о том, как из зла рождается добро.

Рассказывает малышка Патти:

– Когда я была Гадюкой, за миг до смерти передо мной возник ярко светящийся диск. Казалось, он приветствует меня, манит к себе. Меня охватило какое-то теплое, божественное чувство. Я не задумываясь пошла прямо туда. Мне совсем не было грустно».

Бабетта воспроизводила голоса доктора Чаттерджи и Патти Уивер. Ее Чаттерджи был добрым, отзывчивым англичанином, говорил с индийским акцентом и четко формулировал мысли. Патти она изобразила типичной маленькой героиней современного кинематографа, единственным экранным персонажем, которого не страшат таинственные явления, вызывающие благоговейный трепет.

– «В результате дальнейшего развития этих потрясающих событий, малышка Патти призналась, что мотивом убийства всех трех сверхзнаменитостей послужило одно удивительное обстоятельство. Каждый из них незадолго до смерти тайно приобрел священную Туринскую плащаницу, святыню, известную своими целебными свойствами. Артисты Элвис и Мэрилин, ставшие жертвами алкогольно-наркотического кошмара, втайне надеялись, что избавятся от физических страданий и вновь

обретут душевный покой, если, хорошенько прочистив поры в сауне, будут вытираться подлинной священной Плащаницей. Разносторонне одаренный миллиардер Говард Хьюз страдал синдромом задержки моргания – странным заболеванием, которое выражалось в том, что стоило ему просто моргнуть, и он целыми часами не мог снова открыть глаза. Очевидно, он рассчитывал использовать поразительную силу Плащаницы, но тут вмешался Гадюка, молниеносно впрыснувший ему яд-фантом. Затем Патти Уивер призналась под гипнозом, что КГБ уже давно пытается завладеть Туринской плащаницей в интересах быстро стареющих и испытывающих мучительные боли членов Политбюро, знаменитого исполнительного комитета Коммунистической партии. По слухам, стремление завладеть Плащаницей было подлинным мотивом покушения на Папу Римского Иоанна Павла Второго в Ватикане – покушения, которое не удалось лишь потому, что Гадюка к тому времени уже трагически погиб в вертолетной катастрофе и перевоплотился в веснушчатую девочку из Айовы.

Прилагающийся ниже беспроигрышный отрезной купон гарантирует вам доступ к строго документированным историям жизни после смерти, вечной жизни, перевоплощения, посмертной жизни в космическом пространстве, переселения душ и персонального воскрешения из мертвых посредством компьютерной методики, основанной на потоке сознания».

Я вгляделся в лица сидевших полукругом людей. Казалось, заметка никого не удивила. Старик Тридуэлл, злясь на собственную дрожащую руку, закурил сигарету и едва не обжегся, успев погасить спичку в последний момент. Интереса к дискуссии почти никто не проявил. Все покорно приняли газетный материал на веру. Лишь ряд привычных утверждений, утешительных на свой особый, странный лад, изложение событий не менее реальных, чем те, свидетелями которых нам дано быть в повседневной жизни. Даже в голосе Бабетты ни разу не послышалось ни единой нотки снисходительности или скептицизма. Да и я не имел никакого права смотреть на этих пожилых слушателей свысока – ни на слепых, ни на зрячих. Когда малышка Патти в рассказе пошла к манящему теплому свету, я был расслаблен и восприимчив. Мне хотелось, чтобы по крайней мере эта часть истории оказалась правдой.

Бабетта прочла рекламное объявление: «Похудение за три дня методом расщепления бесконечно малых частиц на линейном ускорителе Стэнфордского университета».

Она взяла другую газету. В статье, иллюстрация к которой была дана на первой полосе, говорилось о ведущих ясновидцах

страны и приводились их прогнозы на наступивший год. Бабетта начала медленно читать по пунктам:

– «В «Диснейуорлд» и на мыс Канаверал вторгнутся эскадрильи НЛО. Внезапно будет сделано сенсационное заявление о том, что это всего лишь ложная атака, призванная продемонстрировать безумие войны, после чего Соединенные Штаты и Россия заключат договор о запрещении ядерных испытаний.

Людям будет являться призрак Элвиса Пресли, в одиночестве прогуливающийся на рассвете вокруг «Грэйсленда», своего музыкального особняка.

Некий японский консорциум купит президентский самолет и превратит его в летающий жилой дом с роскошными апартаментами, способный дозаправляться в полете и оснащенный ракетами класса "воздух-земля".

В окрестностях туристского лагеря на северо-западе страны, среди живописных холмов тихоокеанского побережья, неожиданно появится снежный человек. Мохнатый прямоходящий человек-зверь в два с половиной метра ростом, возможно, представляющий собой недостающее звено эволюции, ласковым голосом подзовет туристов к себе, дав понять, что является поборником мира.

Прилетевшие НЛО при помощи телекинеза и сверхпрочных тросов из материала, не известного на земле, поднимут со дна Карибского моря затонувший город Атлантиду. В результате появится "город мира", где никто не будет знать, что такое деньги и паспорта.

Дух Линдона Б. Джонсона установит контакт с сотрудниками компании «Си-би-эс» и договорится о телеинтервью в прямом эфире, чтобы опровергнуть обвинения, предъявляемые ему в последнее время в книжках.

Убийца одного из «Битлов» Марк Дэвид Чапмэн официально сменит имя на Джон Леннон и, отбывая срок за убийство, начнет новую карьеру, став профессиональным рок-текстовиком.

Приверженцы культа авиакатастроф захватят гигантский аэробус и врежутся на нем в Белый дом, доказав тем самым рабскую преданность своему таинственному вождю-отшельнику, известному под именем "Дядя Боб". Президент и первая леди чудом уцелеют, отделавшись, по словам близких друзей супружеской четы, легкими ранениями.

В небе над Лас-Вегасом непостижимым образом появится покойный мультимиллиардер Говард Хьюз.

В фармацевтической лаборатории на борту НЛО, в условиях космической невесомости будет налажено массовое производство

чудесных снадобий, в результате чего у нас появятся средства от страха, ожирения и приступов дурного настроения.

Покойная живая легенда Джон Уэйн с того света наладит телепатическую связь с президентом Рейганом, чтобы помочь в разработке внешнеполитического курса США. Дюжий актер, после смерти ставший добрее, будет выступать в защиту обнадеживающей политики мира и любви.

Прославившийся в шестидесятые годы убийца Чарльз Мэнсон сбежит из тюрьмы и несколько месяцев будет терроризировать калифорнийских сельских жителей, после чего в прямой телепередаче из здания агентства "Интернешнл криэйтив менеджмент" сообщит, что готов на определенных условиях отдать себя в руки правосудия.

Дождливой июльской ночью взорвется Луна, единственный спутник Земли, в результате чего почти всю нашу планету опустошат приливы, грязевые потоки и падающие обломки пород. Однако бригады уборщиков с НЛО помогут предотвратить мировую катастрофу, возвестив о наступлении мира и согласия».

Я наблюдал за слушателями. Скрещенные на груди руки, слегка откинутые назад головы. Эти пророчества не казались им безответственными. Они с удовольствием обменивались краткими, не относящимися к делу замечаниями, словно во время телевизионной рекламной паузы. Газетное будущее с его механизмом обнадеживающего поворота к апокалиптическим событиям имело, возможно, не такое уж отдаленное отношение к тому, что довелось испытать нам самим. Полюбуйтесь-ка на нас, подумал я. Поневоле покинули дома, преследуемые ядовитым облаком, устремились в зловещую ночную тьму, всем скопом набились во временное пристанище, выслушали двусмысленный смертный приговор. Мы влились в толпу статистов, помогающих средствам массовой информации раздувать масштабы катастрофы. Немногочисленные слушатели, старые и слепые, расценили события, предсказанные ясновидцами, как дело столь недалекого будущего, что события эти нужно было заранее привести в соответствие с нашими желаниями и потребностями. Нас не покидало смутное предчувствие большой беды, и потому мы продолжали тешить себя надеждой на лучшее.

Бабетта читала рекламу солнцезащитных очков для похудания. Старики внимательно слушали. Я вернулся на наше место. Хотелось побыть рядом с детьми, посмотреть, как они спят. Наблюдая за спящими детьми, я чувствую себя человеком набожным, частью духовной системы. В такие моменты я ближе всего к тому, чтобы приблизиться к Богу. Если и существует мирской эквивалент посещения огромного собора со шпилем,

мраморными колоннами и лучами таинственного света, косо падающими внутрь сквозь двухъярусные готические окна – так это, наверное, присмотр за детьми, крепко спящими в своих маленьких спальнях. Особенно за девочками.

Почти всюду уже погасили свет. Шум в бараке смолк. Люди устраивались на ночлег. Генрих еще не спал – сидел на полу, прислонясь к стене, полностью одетый, и читал руководство Красного Креста по оказанию первой помощи при потере сознания. Впрочем, он не из тех детей, чей сладкий сон приносит мне успокоение. Обычно он спит тревожно, скрежеща зубами, то и дело просыпается, а порою падает с кровати и, свернувшись калачиком, до самого рассвета дрожит на холодном дощатом полу.

– Похоже, у них все под контролем, – сказал я.

– У кого?

– У тех, кто там руководит.

– А кто руководит?

– Какая разница?

– Нас словно отправили в далекое прошлое, – сказал он. – Мы очутились в каменном веке со всем запасом знаний, накопленных за долгие столетия прогресса, но что мы можем сделать, чтобы облегчить людям каменного века жизнь? Мы сможем изготовить холодильник? Сможем хотя бы объяснить, как он работает? Что такое электричество? Что такое источник света? Всю свою жизнь мы ежедневно сталкиваемся с подобными вещами, но что в этом толку, если, оказавшись вдруг в прошлом, мы не сможем объяснить людям основные принципы, а уж тем более – сделать что-нибудь реальное для улучшения условий. Назови хоть одну вещь, которую ты сумел бы сделать. Смог бы ты изготовить обыкновенную спичку, а потом добыть огонь, чиркнув ею о камень? Мы считаем себя такими великими, такими современными. Полеты на Луну, искусственное сердце. А что если произойдет искривление времени и ты столкнешься лицом к лицу с древними греками? Греки придумали тригонометрию. Они производили вскрытия и препарировали трупы. Что бы ты смог рассказать древнему греку, не услышав от него в ответ «эка невидаль»? Смог бы ты объяснить ему, что такое атом? Атом – греческое слово. Греки знали, что самые значительные явления, происходящие во вселенной, скрыты от взора. Что взору человека не доступны ни волны материи, ни излучение, ни бесконечно малые частицы.

– Но мы ведь хорошо устроились.

– Мы сидим в огромном допотопном сарае. Нас словно отправили в прошлое.

– Здесь тепло, светло.

– Как в каменном веке. У них тоже было тепло и светло. У них был огонь. С помощью трения они высекали искры из кремня. Увидев кремень среди обыкновенных камней, ты смог бы его распознать? Если бы человек каменного века спросил тебя, что такое нуклеотид, смог бы ты ему это растолковать? Как делается копирка? Что такое стекло? Если бы завтра ты проснулся в средних веках, а там бы свирепствовала эпидемия, каким образом ты сумел бы ее прекратить, зная то, что знаешь о прогрессе в фармакологии и о течении болезней? Вот-вот наступит двадцать первый век, ты прочел сотни книг и журналов, посмотрел не меньше сотни телепередач о естественных науках и медицине. Смог бы ты дать тем людям один ключевой совет, который, возможно, спас бы полтора миллиона жизней?

– Я посоветовал бы им кипятить воду.

– Так я и знал! А почему не мыть за ушами? От этого примерно столько же проку.

– И все-таки, по-моему, мы устроились неплохо. Все случилось внезапно. А у нас есть продукты, есть радиоприемники.

– А что такое радио? Каков принцип действия приемника? Ну-ка, объясни. Вот ты сидишь в центре, а вокруг – эти люди. Они пользуются каменными орудиями. Питаются подножным кормом. Объясни, что такое радио.

– Тут нет ничего таинственного. Мощные передатчики испускают сигналы. Те перемешаются по воздуху, и их ловят при помощи приемников.

– Перемещаются по воздуху. Как птицы, что ли? Скажи еще, что они волшебные. Перемещаются по воздуху на волшебных волнах. Что же такое нуклеотид? Не знаешь, да? А ведь нуклеотиды – это кирпичики, строительный материал жизни. Что пользы в знаниях, если они без толку носятся в воздухе? Переходят из компьютера в компьютер. Ежедневно, ежесекундно меняются и накапливаются. Но в сущности никто ничего не знает.

– Ну, ты-то кое-что знаешь. Знаешь что-то про ниодин «Д». Я видел тебя с теми людьми.

– Это был просто заскок. Такого больше не повторится, – сказал Генрих.

Он снова принялся за чтение. Я решил подышать воздухом. Снаружи, вокруг костров, разведенных в пятидесятипятигаллоновых металлических бочках, стояли группки людей. В открытом с одного боку автофургоне продавались безалкогольные напитки и бутерброды. Неподалеку стояли школьные автобусы, мотоциклы, небольшие санитарные фургончики. Я немного прогулялся. Одни спали в машинах,

другие ставили палатки. Лес медленно обшаривали лучи света, а в ответ слышались звуки, тихие голоса. Я прошел мимо машины, битком набитой проститутками из Айрон-Сити. Внутри горел свет, в окошках виднелись лица женщин. Безразличные крашеные блондинки с двойными подбородками, похожие на кассирш из супермаркета. Со стороны водительского места к двери прислонился человек – он что-то говорил в приоткрытое окошко, выдыхая пар, белевший в темноте. По радио сказали: «Соответственно упал спрос на свинину, что вызвало понижение цен на данном рынке».

В человеке, разговаривавшем с проститутками, я узнал Марри Джея Зискинда. Я подошел и, дождавшись, когда он договорит, обратился к нему. Он снял правую перчатку – пожать мне руку. Стекло в машине поднялось.

– Я думал, что на каникулы вы уехали в Нью-Йорк.

– Я вернулся пораньше, чтобы посмотреть съемки автокатастроф. Альфонс устроил неделю просмотров, чтобы помочь мне подготовиться к семинару. Я ехал в город на автобусе из аэропорта Айрон-Сити, и тут зазвучали сирены. Водителю в общем-то ничего не оставалось, как следом за всеми машинами направиться сюда.

– Где вы ночуете?

– Всех пассажиров автобуса разместили в одной из надворных построек. До меня дошел слух о накрашенных женщинах, я отправился на разведку. На одной под пальто – вечерний леопардовый костюм. Она мне показала. Другая говорит, что у нее в промежности отстегивающийся гульфик. Как по-вашему, что она имеет в виду? Меня все же беспокоят все эти вспышки модных заболеваний. Я всегда ношу с собой сверхпрочный рифленый презерватив. Безразмерный. Но у меня такое ощущение, что он плохо предохраняет от нынешнего смышленого и легко приспособляющегося вируса.

– Похоже, работы у женщин немного, – сказал я.

– Думаю, эта катастрофа не из тех, что приводят к половой распущенности. Быть может, в конце концов сюда и прокрадутся двое-трое мужиков, но шумной, разнузданной толпы здесь не предвидится – по крайней мере, сегодня ночью.

– Наверное, людям нужно некоторое время, чтобы пройти определенные стадии.

– Это очевидно, – сказал Марри.

Я сообщил ему, что провел две с половиной минуты под ядовитым облаком, потом вкратце пересказал свою беседу с парнем с нашивкой «УСВАК».

– Когда я вдохнул немного ниодина, в мой организм

проникла смерть. Теперь это подтверждено официально, компьютерными данными. Смерть у меня внутри. Вопрос лишь в том, смогу ли я ее пережить. Ей тоже отмерен свой срок. Тридцать лет. Даже если мне не суждено умереть по этой причине, я могу погибнуть в авиационной катастрофе, а ниодин «Д» будет жить не тужить и после того, как похоронят мои останки.

– Таково основное свойство современной смерти, – сказал Марри. – Она существует независимо от нас. Растут ее масштабы и престиж. Такого размаха, как сейчас, она еще никогда не достигала. Мы ее беспристрастно изучаем, умеем ее предсказывать, прослеживать ее путь в организме. Умеем делать ее снимки в поперечном разрезе, записывать на пленку ее толчки и колебания. Никогда еще мы не были к ней так близки, так хорошо знакомы с ее природой и повадками. Мы прекрасно знаем, что она собой представляет. Однако она продолжает распространяться, достигает все большей широты охвата, находит новые лазейки, новые пути и средства. Чем больше мы узнаём, тем шире она распространяется. Быть может, это некий закон физики? Каждому успеху науки противостоит новая разновидность смерти, новая особенность. Смерть приспосабливается к обстоятельствам, как вирус. Это что, закон природы? Или дело просто в моем личном суеверии? Я чувствую, что мертвые ближе к нам, чем когда-либо. Чувствую, что мы обитаем в одном мире с мертвецами. Вспомните Лао-цзы: «Не существует разницы между живыми и мертвыми. Они представляют собой единое жизненное начало». Он сказал это за шестьсот лет до Рождества Христова. И это до сих пор соответствует истине – возможно, сейчас еще больше, чем когда-либо.

Марри положил руки мне на плечи и грустно вгляделся в мое лицо. Самыми простыми словами он выразил то, как огорчен происшедшим. Он заговорил о вероятности компьютерной ошибки. Компьютеры иногда ошибаются, сказал он. Причиной ошибки могут стать помехи от ковра, заряженного статическим электричеством. Какая-нибудь ниточка или волосок в электрической цепи. Марри в это не верил – да и я, впрочем, тоже. Но говорил он убедительно, и в глазах его отражалось нескрываемое душевное волнение, искреннее и глубокое сочувствие. Как ни странно, от этого мне стало немного легче. Марри оказался на высоте положения: его сострадание, огорчение и печаль явно были непритворными. Благодаря этому дурная весть показалась мне не такой удручающей.

– Лет с двадцати я этого боюсь, испытываю необъяснимый

страх. И вот мои опасения оправдались. Я чувствую, что запутался, чувствую, как глубоко увяз. Неудивительно, что все это называется воздушнотоксическим явлением. Это и вправду важное явление, целое событие. Оно ознаменовало конец тихой, нормальной жизни. И это только начало. Поживем – увидим.

Ведущий беседы с радиослушателями сказал: «Вы в прямом эфире». В бочках из-под солярки горели костры. Продавец бутербродов закрыл свой фургон.

– У кого-нибудь в вашей семье были приступы дежа-вю?

– У жены и дочери.

– Насчет дежа-вю существует одна теория.

– Ничего не желаю слышать.

– Почему мы считаем, что все это уже когда-то происходило? Ответ прост. Это и вправду происходило – в нашем представлении, как картина будущего. Поскольку это предвидение является сверхчувственным, полученные данные не укладываются в нашем сознании – такова уж его структура на данный момент. По существу, это сверхъестественное явление. Мы предугадываем будущее, но еще не научились обрабатывать собранные сведения. Поэтому они остаются скрытыми до тех пор, пока предвидение не сбывается, пока предугаданные события не происходят прямо у нас на глазах. И тогда нам ничто не мешает вспомнить его, увидеть в нем нечто давно знакомое.

– Почему же сейчас эти приступы бывают у столь многих людей?

– Потому что в воздухе носится смерть, – тихо сказал Марри. – Она воскрешает в памяти забытые факты. Приближает нас к вещам, о которых нам самим пока ничего не известно. Большинство из нас уже, вероятно, предвидят собственную смерть, но еще не способны осознать это предвидение. Быть может, когда мы умрем, первыми нашими словами будут такие: «Это чувство мне знакомо. Я и раньше бывал в подобных переделках».

Он снова положил руки мне на плечи и с еще более глубокой, щемящей грустью внимательно посмотрел на меня. Мы услышали, как проститутки кого-то окликнули.

– Я бы хотел потерять интерес к себе, – сказал я ему. – Есть надежда, что это произойдет?

– Никакой. Пытались люди и получше.

– Наверно, вы правы.

– Это же очевидно.

– Жаль, здесь нечем заняться. Хорошо бы как-нибудь отвлечься от этой проблемы.

– Займитесь вплотную вашим Гитлером, – сказал он.

Я посмотрел на него. Как много ему известно?

Окошко машины приоткрылось. Одна из женщин сказала Марри:

– Ладно, согласна за двадцать пять.

– А вы договорились со своим представителем? – спросил он.

Она полностью опустила стекло и тупо уставилась на Марри. В этот момент она походила на ошарашенную тетку с бигуди в волосах, которую показывают в вечерних новостях, потому что ее дом погребен под грязевым потоком.

– Вы знаете, кого я имею в виду, – сказал Марри. – Парня, который заботится об удовлетворении ваших духовных запросов в обмен на сто процентов вашего заработка. Парня, которому вы доверяете зверски избивать вас за плохое поведение.

– Бобби? Он остался в Айрон-Сити – всё подальше от облака. Не любит он снимать штаны без крайней нужды.

Женщины рассмеялись, шесть голов затряслись. То был смех посвященных, призванный доказать, что эти особы связаны друг с другом привычками, истинное значение которых почти недоступно пониманию прочих людей.

Опустилось на полдюйма стекло другого окошка. Показались ярко накрашенные губы:

– Бобби из тех сутенеров, что шевелят извилинами.

Новый взрыв смеха. Мы так и не поняли, над кем они смеются – над Бобби, над нами или над собой. Стекла в окошках поднялись.

– Это, конечно, не мое дело, – сказал я, – но чем она готова заняться с вами за двадцать пять долларов?

– Приемом Геймлиха.

Я вгляделся в ту часть его лица, что находилась между шапкой и бородой. Он уставился на машину, по-видимому, погрузившись в свои мысли. Окошки запотели, головы женщин окутал сигаретный дым.

– Разумеется, нам надо будет найти закуток, где можно выпрямиться во весь рост, – рассеянно сказал он.

– Вы же не потребуете, чтобы она и в самом деле заткнула себе дыхательное горло большим куском еды?

Марри взглянул на меня, почти удивленно:

– Что? Нет-нет, этого не потребуется. Если только она будет натурально задыхаться и давиться. Если начнет глубоко вздыхать, когда я растрясу ей таз, если в изнеможении повалится навзничь в мои спасительные объятия.

Он снял перчатку и пожал мне руку. Потом подошел к машине, чтобы обсудить все детали с женщиной, о которой шла речь. Я смотрел, как он стучится в заднюю дверцу. Через секунду

она открылась, и Марри втиснулся на заднее сиденье. Я подошел к одной из бочек из-под солярки. Вокруг костра стояли трое мужчин и женщина, делившиеся друг с другом слухами.

Во «Дворце Кун-фу» погибли три живых оленя. Губернатор погиб, а оба его пилота тяжело ранены при вынужденной посадке в каком-то торговом центре. На сортировочной станции погибли два человека, в чьих защитных костюмах из милекса видны дырочки, прожженные кислотой. Своры немецких овчарок, натасканных на ниодин, уже скинули с себя парашюты, и сейчас их спускают с поводков в пораженных ядом населенных пунктах. В округе наблюдается скопление НЛО. Участились случаи мародерства, совершаемого людьми в полиэтиленовых чехлах. Двое мародеров погибли. Шестеро солдат Национальной гвардии погибли в борьбе с пожаром, вспыхнувшим после инцидента на расовой почве. Поступают сообщения о выкидышах и преждевременных родах. Замечены новые вздымающиеся облака.

Эти непроверенные сведения люди сообщали друг другу с некоторым благоговейным страхом, энергично подпрыгивая на холоде, обхватив себя руками. Они боялись, что их истории окажутся правдивыми, но в то же время потрясал драматический характер событий. Токсическое явление пробудило в людях творческую фантазию. Одни плели небылицы, другие слушали как зачарованные. Возрастал интерес к слухам, сопровождающимся яркими описаниями, к самым жутким выдумкам. Истинность той или иной истории представлялась нам не более и не менее сомнительной, чем раньше. Зато стало более тонким восприятие. Мы начали восхищаться собственным умением вызывать благоговейный трепет.

Немецкие овчарки. Именно эту утешительную весть я и принес с собой в барак. Мощный корпус, густая темноватая шерсть, свирепая морда, длинный язык, свисающий из пасти. Я представил себе, как они рыщут по опустевшим улицам – неторопливо, настороженно. Имея слух, мы разучились слушать, научившись чуять перемены в потоке информации. Я представил, как в нашем доме они тычутся мордами в чуланы, как стоят торчком их длинные уши, а вокруг пахнет теплым мехом и накопленной энергией.

Почти все в бараке уже спали. Я пошел вдоль тускло освещенной стены. Люди лежали вповалку, забывшись тяжелым сном, и, казалось, испускали через нос один общий вздох. Некоторые шевелились. Пока я пробирался между лежащими почти вплотную друг к другу спальными мешками, на меня широко раскрытыми глазами смотрел ребенок-азиат. Возле моего правого уха мелькали цветные огоньки. Я услышал, как кто-то

спустил воду в уборной.

Бабетта свернулась калачиком на надувном матрасе, накрывшись своим пальто. Мой сын спал сидя на стуле, уронив голову на грудь, словно какой-нибудь пьянчуга в пригородном поезде. Я взял складной стул и поставил его подле раскладушки, на которой спали младшие дети. Потом сел и, наклонившись вперед, стал за ними наблюдать.

Они с трудом устроились на тесной раскладушке – кто-то свесил ногу, кто-то руку. На этих нежных, теплых лицах лежала печать абсолютного и бескорыстного доверия, мне не хотелось даже думать о том, что оно может быть оказано человеку недостойному. Как оправдание этой лучезарной надежде и этой слепой вере, где-нибудь должно существовать нечто достаточно величественное и возвышенное, внушающее благоговение. Я переполнился безрассудным благочестием. Всеохватывающее, вселенское чувство, вмещающее бесчисленное множество устремлений и страстных желаний. Оно вызывало в воображении бесконечные дали и грозные, но незримые таинственные силы. Спящие дети напоминали фигуры с рекламы общества розенкрейцеров – фигуры, на которые откуда-то из-за пределов страницы падает луч яркого света. Стеффи слегка повернулась, потом что-то пробормотала во сне. Мне показалось, что-то очень важное. Испытав на себе смертоносное воздействие ниодинового облака, я готов был всюду искать знаки и намеки, некое подобие утешения. Я придвинул стул поближе. Ее лицо, слегка припухшее во сне, могло бы служить лишь для защиты глаз – этих больших, бездонных и понимающих глаз, периодически меняющих оттенки и всегда необычайно живых, восприимчивых к чужому страданию. Я сидел и смотрел на нее. Вскоре она снова заговорила. На сей раз вместо невнятного бормотания я услышал членораздельную речь – однако язык был странный, почти нездешний. Я силился понять. У меня не было сомнений: она пытается что-то сказать, объединить в одно целое элементы определенного смысла. Я ждал, всматриваясь в ее лицо. Прошло десять минут. Она отчетливо произнесла два слова, знакомых и в то же время не вполне понятных – два слова, казалось, имеющих ритуальное значение, часть заклинания или экстатических песнопений:

«Тойота-селика».

Далеко не сразу до меня дошло, что это название автомобиля. Истина поразила меня еще больше. Произнесенные слова были тайн чем-то возвышенным. Они походили на имя некой древней небесной силы, вырезанное клинописью на каменной плите. Они вселили в меня смутное ощущение нависшей угрозы. Но как это могло случиться? Простая

фабричная марка, обыкновенный автомобиль. Каким образом от почти бессмысленных слов, которые пробормотала в тревожном сне маленькая девочка, я почувствовал некий скрытый смысл, незримое присутствие чего-то неземного? Она ведь попросту повторяла то, что слышала по телевизору. «Тойота-королла», «тойота-селика», «тойота-крессида». Наднациональные названия, вызванные к жизни компьютером, почти сплошь удобопроизносимые. Часть шума, которым забита голова каждого ребенка, помехи, засевшие так глубоко в подсознании, что их можно исследовать. Каким бы ни был их источник, произнесенные слова на минуту поразили меня своей блестящей трансцендентностью.

В этом я на своих детей полагаюсь.

Я посидел еще немного, понаблюдал за Денизой, понаблюдал за Уайлдером, чувствуя себя человеком самоотверженным и великодушным. На полу лежал свободный надувной матрас, но мне захотелось побыть с Бабеттой, и я примостился рядом с ней, с этим холмиком, способным видеть сны. Пытаясь согреться, она укрылась с головой, спрятав под пальто руки и ноги. Видна была лишь копна волос. Я сразу погрузился в пучину забытья, в глубинные лабиринты сознания, безмолвные и лишенные сновидений.

Казалось, не прошло и нескольких минут, как вокруг поднялся шум и началась суматоха. Я открыл глаза и обнаружил, что Дениза колотит меня по рукам и плечам. Увидев, что я проснулся, она принялась дубасить свою мать. Все вокруг одевались и укладывали вещи. Самый неприятный звук издавали стоявшие снаружи фургончики «скорой». Кто-то давал нам указания, крича в мегафон. Вдали послышался резкий звон, а потом раздались автомобильные гудки – первые жалобные звуки всеобщего гвалта, невообразимой паники: машины всех размеров и типов ринулись к парковой дороге. Я с трудом приподнялся. Девочки вдвоем пытались разбудить Бабетту. Барак быстро пустел. Я увидел, что Генрих пристально смотрит на меня с загадочной ухмылкой на лице. Голос, усиленный мегафоном, сказал: «Ветер меняется, ветер меняется. Изменилось направление движения облака. Яды, яды движутся сюда».

Бабетта, удовлетворенно вздохнув, повернулась на другой бок.

– Еще пять минут, – сказала она.

Девочки принялись мутузить ее по рукам и голове.

Я встал и огляделся: где здесь туалет? Уайлдер, уже одетый, грыз печенье, дожидаясь нас. Вновь послышался голос,

напоминающий монотонный речитатив, который звучит, перемежаясь мелодичным звоном, по внутреннему радио универмага, среди прилавков, благоухающих духами: «Яды, яды. Пройдите к своим машинам, пройдите к своим машинам».

Дениза, схватившая было за материнское запястье, бросила ее руку на матрас:

– Почему он все повторяет дважды? Нам же с первого раза понятно. Наверно, ему просто хочется себя послушать.

Они подняли Бабетту на четвереньки. Я поспешил в уборную. Зубная паста у меня была, но щетку я найти не мог. Я выдавил немного пасты на указательный палец и провел им по зубам. Когда я вернулся, все уже оделись, собрались и направились к выходу. Возле двери женщина с нашивкой на рукаве раздавала маски – белые марлевые хирургические повязки, закрывающие нос и рот. Мы взяли шесть штук и вышли.

Было еще темно. Шел проливной дождь, перед нами простиралась панорама хаоса. Машины, застрявшие в грязи, машины с заглохшими моторами, машины, медленно тащившиеся по однорядному выездному пути, машины, поехавшие напрямик, через лес, машины, зажатые со всех сторон деревьями, валунами, другими машинами. Завывали и затихали сирены, негодующе сигналили взбешенные водители. Бежали люди, среди деревьев носились по ветру палатки, целые семейства бросали свои машины и топали к парковой дороге пешком. Мы слышали, как в чаще газуют мотоциклы и срываются на прерывистые крики чьи-то голоса. Все это походило на сдачу колониальной столицы самоотверженным повстанцам, на драму бушующих страстей с элементами унижения и сознания вины.

Мы надели маски и под проливным дождем добежали до машины. В «лендровер», стоявший менее чем в десяти ярдах от нас, спокойно уселась группа людей. Худощавые мужчины с большими квадратными головами, похожие на инструкторов по ведению войны в джунглях. Они въехали прямиком в густой подлесок, находившийся не только вдали от грунтовой дороги, но и вдали от остальных машин, пытавшихся срезать путь. На бампере у них виднелась наклейка: «КОНТРОЛЬ ОРУЖИЯ – КОНТРОЛЬ МОЗГОВ». В подобных ситуациях хочется держаться поближе к людям из крайне правых группировок. Их научили выживанию. Я не без труда двинулся следом. Наш вместительный, но небольшой автомобиль страшно трясло в зарослях низкого кустарника, на подъемах, на незаметных в темноте камнях. Не прошло и пяти минут, как «лендровер» скрылся из виду.

Дождь перешел в мокрый снег, мокрый снег – в метель.

Далеко справа я увидел вереницу зажженных фар и, спустившись в лощину, проехал ярдов пятьдесят в том направлении. Машина кренилась, как спортивные сани на трассе. Казалось, к фарам мы не приближаемся. Бабетта включила радио, и нам сообщили, что эвакуируемые из лагеря бойскаутов должны направляться в Айрон-Сити, где принимаются меры к тому, чтобы предоставить им питание и кров. Мы услышали гудки и решили, что это реакция на сообщение по радио, но сигналы продолжали звучать в быстрой, настойчивой каденции, порождая во тьме ненастной ночи животный страх.

Потом мы услышали шум винтов. За голыми деревьями возникло оно – громадное ядовитое облако, освещаемое уже восемнадцатью вертушками, громадное почти сверх всякого разумения, неописуемо и неслыханно. Мутная, разбухшая слизнеобразная масса. Казалось, в нем рождаются и свирепствуют внутренние грозы. Там раздавались потрескивание и шипение, виднелись вспышки яркого света, длинные, неровные проблески химического пламени. Автомобильные гудки ревели и стонали. Вертолеты вибрировали, словно гигантские электробытовые приборы. Мы сидели в машине, в заснеженном лесу – сидели и молчали. По краям, за пределами своей турбулентной сердцевины, огромное облако серебрилось в лучах прожекторов. Чудовищным неповоротливым слизнем оно двигалось сквозь ночную тьму, а вертушки, казалось, попусту суетятся вокруг. Своими огромными размерами, своей медлительностью, своим мрачным и грозным видом, своими вертолетами сопровождения облако смахивало на атрибут национальной рекламной кампании смерти, с многомиллионным бюджетом, с рекламой по радио и телевидения, в печати и на щитах. В облаке сверкнула яркая молния. Громкость гудков увеличилась.

Я с содроганием вспомнил, что формально уже умер. В памяти во всех ужасающих подробностях всплыл разговор со специалистом по УС ВАКУ. Я почувствовал себя больным сразу на нескольких уровнях.

Оставалось только одно: отвезти семью в безопасное место. Я продолжал двигаться вперед, к светящимся фарам, к гудкам. Уайлдер спал – парил в однородных пространствах. Нажимая на педаль газа и резко выворачивая руль, я с трудом лавировал между белыми соснами.

– Ты когда-нибудь внимательно разглядывала свой глаз? – произнес сквозь маску Генрих.

– О чем это ты? – спросила Дениза с таким живым интересом, словно мы сидели в летний день на крыльце и маялись от безделья.

– О твоем глазе. Ты хоть знаешь, из каких частей он состоит?

– Ты говоришь о радужке, о зрачке, да?

– Эти части всем известны. А как насчет стекловидного тела? Как насчет хрусталика? Хрусталик очень сложно устроен. Многие ли вообще знают, что у них в глазу есть хрусталик? Они думают, что хрусталик – это такой прозрачный камушек.

– А как насчет уха? – приглушенным голосом спросила Дениза.

– Если глаз – это тайна, то об ухе и говорить нечего. Стоит сказать кому-нибудь слово «улитка», как все начинают непонимающе пялиться на тебя: что еще за умник выискался? А ведь это целый мир, который находится у нас внутри.

– А никому и дела нет до этого, – сказала она.

– Как можно прожить всю жизнь, не зная названий частей собственного тела?

– А как насчет шейных желез? – спросила она.

– Железы животных съедобны. Арабы едят железы.

– И французы железы едят, – произнесла сквозь марлю Бабетта. – А арабы глаза едят, коли речь зашла о глазах.

– Какие части? – спросила Дениза.

– Весь глаз целиком. Бараний глаз.

– Они не едят ресницы, – сказал Генрих.

– Разве у баранов есть ресницы? – спросила Стеффи.

– Спроси у своего отца, – сказала Бабетта.

Машина въехала в ручей, о существовании которого я и не подозревал, пока мы в нем не оказались. Я с трудом выбрался на другой берег. В вышине падал сквозь лучи прожекторов густой снег. Приглушенный разговор продолжался. Я подумал о том, что некоторые проявляют весьма поверхностный интерес к нашему нынешнему затруднительному положению. Мне хотелось, чтобы все обратили внимание на токсическое явление. Хотелось, чтобы они по достоинству оценили, каких усилий стоит мне попытка довезти их до парковой дороги. Я намеревался рассказать им о компьютерной сверке, о влиянии фактора времени на смерть, проникшую в мои хромосомы и кровь. Постепенно меня переполнила жгучая жалость к себе. Я попробовал расслабиться и насладиться этим чувством.

– Даю пять долларов тому, – произнес Генрих сквозь свою защитную маску, – кто скажет, когда погибло больше народу – при строительстве пирамид или при строительстве Великой китайский стены. Причем надо сказать, сколько людей погибло в каждом случае, с точностью до пятидесяти человек.

Вслед за тремя снегоходами я пересек открытый участок. Ловкие седоки явно были любителями острых ощущений.

Токсическое явление по-прежнему оставалось в пределах видимости. Из глубины облака медленно вылетали по дуговой траектории химические трассеры. Мы обогнали семьи, идущие пешком, и увидели извивающуюся во тьме вереницу спаренных красных огоньков. Когда мы выбрались из леса, люди из других машин устремили на нас сонные взгляды. Полтора часа мы добирались до парковой дороги, а еще через полчаса доехали до транспортной развязки, где развернулись к Айрон-Сити. Там мы и повстречали группу из «Дворца Кун-фу». Громкие гудки, машущие руками дети. Ни дать ни взять караваны повозок, встретившиеся на Тропе Санта-Фе. Облако по-прежнему виднелось в зеркале заднего вида.

Крилон, едкий олеум, «красный дьявол».

До Айрон-Сити мы добрались на рассвете. На всех перекрестках – контрольно-пропускные пункты. Полицейские и сотрудники Красного Креста раздавали отпечатанные на ксероксе инструкции, как доехать до эвакопунктов. Спустя полчаса мы и еще сорок семей оказались в заброшенном зале секции карате на верхнем этаже четырехэтажного здания на главной улице города. Ни коек, ни стульев. Стеффи отказалась снять маску.

Часов в девять утра нам принесли надувные матрасы, еду и кофе. Сквозь пыльные стекла мы разглядели группу школьников в тюрбанах – членов местной сикхской общины. Они стояли на улице с написанным от руки плакатом: «АЙРОН-СИТИ ПРИВЕТСТВУЕТ ЭВАКУИРОВАННЫХ ИЗ РАЙОНА БЕДСТВИЯ». Покидать здание нам запретили.

На стене спортзала висели большие, как афиши, изображения человеческой руки с указанием шести ударных плоскостей.

В полдень по городу пронесся новый слух: из армейских вертолетов спускают на канатах специалистов, которые должны запустить в сердцевину ядовитого облака некие микроорганизмы. Эти живые существа представляют собой генетические рекомбинации с врожденным аппетитом к определенным ядовитым веществам, содержащимся в ниодине «Д». Они буквально поглотят вздымающееся облако, сожрут его, разложат на составные части, уничтожат.

Это потрясающее новшество, столь схожее по характеру с теми, о которых мы иногда читали в «Нэшнл инкуайерер» или «Стар», вызвало у нас легкое чувство усталости, ненадежного пресыщения, словно после попойки с кучей дешевой еды из ближайшей закусочной. Так же, как раньше в бараке лагеря бойскаутов, я слонялся по залу, переходя от одной кучки разговорчивых людей к другой. Никто, по-видимому, не понимал, как группа микроорганизмов сможет поглотить ядовитое

вещество в количестве, достаточном для того, чтобы очистить небо от такого густого и громадного облака. Никто понятия не имел, что произойдет с облаком, когда оно будет съедено, и с микроорганизмами, когда те закончат трапезу.

Повсюду играли дети, то и дело замиравшие в картинных позах каратистов. Когда я вернулся на наше место, Бабетта сидела одна – в шарфе и вязаной шапочке.

– Не нравятся мне эти последние слухи, – сказала она.

– Слишком заумно? По-твоему, нет никаких шансов, что кучка организмов все съест и покончит с токсическим явлением.

– По-моему, шансов как раз очень много. Я ничуть не сомневаюсь, что у них есть эти мелкие организмы, упакованные в картон с прозрачными пластиковыми окошечками, как у шариковых ручек. Это меня и беспокоит.

– Само существование организмов, изготовленных на заказ.

– Сама идея, само существование, дивная изобретательность. Конечно, с одной стороны, я всем этим восхищаюсь. Подумать только, где-то люди умеют творить подобные чудеса – выводить каких-то микробов, питающихся облаками. Все это в высшей степени поразительно. Нынче вообще достойно удивления только нечто микроскопически малое. Но мне трудно с этим смириться. Меня пугает мысль о том, что они не все до конца продумали.

– Тебя мучит какое-то смутное дурное предчувствие, – сказал я.

– Меня мучит то, что они воздействуют на суеверную сторону моей натуры. Каждый новый успех науки хуже предыдущего, потому что из-за него я боюсь еще больше.

– Чего ты боишься?

– Сама не знаю – неба, земли.

– Чем больше прогресс науки, тем примитивнее страх.

– Почему так получается? – спросила она.

В три часа дня Стеффи все еще носила защитную маску. Она ходила вдоль стен – замкнутая девочка со светло-зелеными глазами, проницательными, настороженными. На людей смотрела так, словно те не могли заметить ее пристального взгляда, словно маска закрывала не только нос и рот, но и глаза. Они подмигивали ей и весело здоровались. Я был уверен, что она почувствует себя в безопасности и отважится снять защитную повязку только через день. Она серьезно относилась к предупреждениям, а опасность расценивала как некое положение, недостаточно ясное и определенное, чтобы привязывать его к конкретным времени и месту. Я знал: надо просто дождаться, когда она позабудет о голосе, усиленном мегафоном, о сиренах, о ночной поездке по лесу. А пока маска, оттеняя глаза, лишь

подчеркивала, насколько чутко она реагирует на стресс и смятение окружающих. Казалось, маска, пропитываясь духом реальных людских тревог, помогает Стеффи его ощутить.

В семь часов вечера по залу начал медленно прохаживаться человек с очень маленьким телевизором в руках. На ходу он произнес целую речь. Еще не старый, ясноглазый, подтянутый мужчина в меховой шапке с опущенными ушами. Телевизор он держал на вытянутых вперед и высоко вверх руках, и по ходу своей речи несколько раз, не останавливаясь, поворачивался кругом, чтобы продемонстрировать всем присутствующим темный экран.

– Ни одной передачи, – сказал он, обращаясь к нам. – Ничего не говорят, ничего не показывают. На канале Глассборо нам посвятили ровно пятьдесят два слова. Ни отснятого материала, ни прямого репортажа. Неужели подобные вещи происходят так часто, что они больше никого не интересуют? Знают ли эти люди, что нам пришлось пережить? Мы до смерти испугались. И испуг еще не прошел. Мы покинули свои дома, мы ехали сквозь снежные бури, мы видели облако. Этот смертоносный призрак был прямо над нами. Неужели никто не снимает серьезные репортажи о подобных событиях? Хоть на полминуты, на двадцать секунд? Не хотят же они сказать нам, что это пустяк, не заслуживающий внимания? Неужели они настолько бессердечны? Неужели им настолько надоели все эти утечки, заражения и отходы? Неужели они считают, что это всего-навсего телепередача? «На телевидении и так слишком много передач – зачем показывать что-то еще?» Неужели не понимают, что все это происходит на самом деле? Разве улицы не должны кишеть телеоператорами, звукооператорами и репортерами? Разве не должны мы кричать им из окон: «Оставьте нас в покое, мы уже достаточно натерпелись, убирайтесь отсюда вместе со своими гнусными орудиями вторжения»? Неужели они ждут, когда погибнут две сотни человек и покажут редкие кадры катастрофы, чтобы всей толпой отправиться, наконец, в указанное место на вертолетах и лимузинах телекомпаний? Что именно должно случиться, прежде чем они начнут совать нам под нос микрофоны и преследовать нас до ступенек крыльца, встанут лагерем на наших газонах, устроят обычный журналистский цирк? Разве не заслужили мы право с презрением игнорировать их дурацкие вопросы? Посмотрите, где мы находимся! Нас содержат на карантине, мы подобны прокаженным, жившим в средние века, нас не выпускают отсюда. Они оставляют еду внизу, на лестнице, и на цыпочках удаляются в безопасное место. Для нас это самый страшный период в жизни. Над всем, что мы любим, ради чего

столько трудились, нависла серьезная угроза. Но вот мы оглядываемся и не видим никакого отклика со стороны официальных органов массовой информации. Воздушнотоксическое явление – нечто ужасающее. Нами владеет неодолимый страх. Пусть даже погибших пока немного, но разве своими страданиями, своими простыми человеческими заботами, своим смертельным страхом мы не заслужили никакого внимания? Разве страх – это уже не новость?

Овация. Непрерывный шквал аплодисментов и одобрительных возгласов. Оратор еще раз медленно повернулся, демонстрируя своей аудитории маленький телевизор. Завершив поворот, он оказался лицом к лицу со мной – не более десяти дюймов. Его обветренное лицо изменилось. Он явно был слегка ошарашен, столкнувшись с каким-то незначительным, но необъяснимым фактом.

– Я это видел раньше, – сказал он мне наконец.

– Что именно?

– Вы стояли там, а я стоял здесь. Как прыжок в четвертое измерение. Ваши черты – невероятно резкие, четкие. Светлые волосы, блеклые, выцветшие глаза, розоватый нос, ничем не примечательные рот и подбородок, лицо, поблескивающее, как от пота, обыкновенные щеки, скошенные плечи, большие руки и ноги. Все это уже когда-то было. Пар, шипящий в батареях. Крошечные волоски, растущие из ваших пор. И вид у вас точно такой же.

– Какой? – спросил я.

– Затравленный, испуганный, растерянный.

Прошло еще девять дней, прежде чем нам разрешили вернуться домой.

III. Диларама

22

В супермаркете полным-полно пожилых людей: они, похоже, заблудились среди поражающих своим великолепием прилавков. Одни из-за малого роста не могут дотянуться до верхних полок, другие загораживают проходы своими тележками, третьи неуклюжи и туповаты; одни рассеянны, другие в смятении, третьи ходят по магазину и что-то бормочут с настороженным видом пациентов в коридоре психиатрической больницы.

Я двигался по проходу, толкая перед собой тележку. В ней на откидной полочке сидел Уайлдер. Он то и дело норовил схватить товары, чьи форма и блеск возбуждали его сенсорно-аналитическую систему. В супермаркете появились два новшества – мясной отдел и пекарня. Аромат свежего хлеба и забрызганный кровью мясник, отбивающий длинные, узкие куски свежей телятины, весьма возбуждающе действовали на всех нас.

«Дристан-ультра, дристан-ультра».

Другим возбуждающим фактором был снегопад. Сильный снегопад, согласно прогнозам, должен был начаться то ли вечером, то ли ночью. Из-за него на улицах возникли толпы людей – тех, кто боялся, что вскоре дороги сделаются непроезжими, кто слишком стар и без риска не мог передвигаться по снегу и льду, кто полагал, что из-за метели несколько дней, а то и недель не выйдет из дома. Особенно серьезно восприняли весть о надвигающемся бедствии люди преклонного возраста, видевшие по телевизору, как уравновешенные мужчины предсказывают погоду, стоя перед цифровыми радиолокационными картами местности или импульсными фотоснимками нашей планеты. Доведенные до неистовства, старики поспешили в супермаркет, чтобы успеть запастись провизией, пока холодные воздушные массы не добрались до города. Снежный фронт приближается, говорили синоптики. Снежная тревога. Снегоочистители. Мокрый снег с переохлажденным дождем. Снегопад уже начался на западе. Он уже перемещается на восток. Они вцепились в эту новость, будто в пигмейский череп. Обильные снегопады. Снежные шквалы. Снежная буря наступает. Снежная вьюга. Снежный буран. Толстый снежный покров. Снежные заносы. Сугробы, разрушения. Старики в панике расхватывали товары. Если телевидение не приводило их в ярость, оно пугало их до полусмерти. Они перешептывались в очереди в кассу. Информация для автомобилистов: нулевая видимость. Когда все это начнется? Сколько дюймов? На сколько дней? Старики стали скрытными и изворотливыми – казалось,

они утаивают от всех самые свежие и плохие новости, казалось, умело сочетают хитрость с торопливостью, стремятся побыстрее покинуть магазин, пока кто-нибудь не спросил, зачем им столько покупок. Сквалыги военного времени. Прожорливые люди, нечистая совесть.

В отделе продуктов общего типа я увидел Марри с тефлоновой кастрюлей. Я остановился и немного понаблюдал за ним. Он разговаривал с четырьмя или пятью покупателями, время от времени делая паузы и наспех записывая что-то в отрывной блокнот. Кастрюлю он неловко зажал подмышкой и при этом ухитрялся писать.

Уайлдер окликнул его – громко, визгливо, словно с верхушки дерева, – и я подкатил тележку к Марри.

– Как поживает ваша благоверная?

– Отлично, – сказал я.

– Этот малыш уже говорит?

– Иногда. Зря болтать не любит.

– Помните, вы помогли мне в одном деле? В борьбе за право на Элвиса Пресли?

– Конечно. Я пришел и прочел лекцию.

– Так вот: как это ни прискорбно, оказывается, я бы в любом случае одержал победу.

– Что произошло?

– Кодзакиса, моего конкурента, больше нет среди живущих.

– Что это значит?

– Это значит, что он умер.

– Умер?

– Пропал в морском прибое под Малибу. Во время студенческих каникул. Я узнал час назад. И сразу сюда.

Вдруг до меня дошло, насколько плотна ткань окружающей обстановки. С порывистым вздохом открылись и закрылись автоматические двери. Обострились запахи и цвета. Бесшумные шаги сделались громче десятка прочих звуков – сублиторального гула систем технического обслуживания, шуршания газет у выхода, где покупатели изучали свои гороскопы, шушуканья пожилых напудренных женщин, неумолчного дребезжания крышки люка под колесами у самого входа в магазин. Бесшумные шаги. Я отчетливо услышал это унылое, неуверенное шарканье в каждом проходе.

– Как девочки? – спросил Марри.

– Отлично.

– Снова в школу пошли?

– Да.

– Паника улеглась.

– Да. Стеффи больше не носит защитную маску.

– Хочу купить нью-йоркской вырезки, – сказал он, показав на мясника.

Фраза казалась знакомой, но что она значит?

– Мясо без упаковки, свежий хлеб, – продолжал Марри. – Экзотические фрукты, редкие сорта сыра. Мы словно оказались на каком-нибудь оживленном перекрестке древнего мира, на персидском базаре или в одночасье выросшем городе на берегу Тигра. Как поживаете, Джек? Как поживаете? О чем это он?

– Бедняга Кодзакис, пропал в прибое, – сказал я. – Такой великан.

– Вот-вот.

– Даже не знаю, что и сказать.

– Он и вправду был крупным мужчиной.

– Чрезвычайно.

– Я тоже не знаю, что сказать. Кроме того, что лучше уж он, чем я.

– Наверняка фунтов триста весил.

– Вполне вероятно.

– Как по-вашему, двести девяносто или триста?

– Скорее триста.

– Умер. Такой крупный мужик!

– Ничего не поделаешь.

– А мне казалось, что я крупный.

– Он находился на другом уровне. А вы крупный – на своем.

– Не сказал бы, что я его знал. Я его вообще не знал.

– Когда люди умирают, лучше их не знать. Лучше они, чем мы.

– Такой великан. И погиб.

– Бесследно исчез. Унесло в море.

– Я очень ясно могу себе его представить.

– Все-таки довольно странно, – сказал он, – что мы способны представлять себе мертвых.

Я повез Уайлдера вдоль фруктовых рядов, фрукты были блестящие и влажные, с резкими контурами. Казалось, им свойственна некоторая застенчивость. Они походили на объекты тщательного рассмотрения, как четырехцветные плоды в самоучителе фотографии. Возле пластиковых бутылок с ключевой водой мы свернули направо и двинулись к кассе. Мне нравилось быть с Уайлдером. Вся жизнь состояла из мимолетных удовольствий. Уайлдер брал от нее, что мог, и тотчас забывал обо всем в приливе последующего наслаждения. Я завидовал ему и восхищался такой забывчивостью.

Кассирша задала ему ряд вопросов и сама же на них ответила, по-детски сюсюкая.

Некоторые дома в городе являли признаки запущенности. Садовые скамейки нуждались в починке, разбитые мостовые – в новом покрытии. Знамения времени. Но в супермаркете ничего не изменилось – разве что к лучшему. Богатый ассортимент, музыка, яркий свет. Вот в чем все дело, казалось нам. Раз супермаркет не приходит в упадок, значит, все прекрасно и будет прекрасно, а рано или поздно станет еще лучше.

Под вечер я повез Бабетту в ее кружок по изучению осанки. На путепроводе над парковой дорогой мы остановились и вышли из машины посмотреть закат. После воздушнотоксического явления закаты стали почти нестерпимо красивыми. Впрочем, явной связи тут не было. Если особые свойства деривата ниодина (вкупе с ежедневными утечками нечистот, поллютантов, отравляющих и психотропных веществ) и были причиной эстетического скачка и без того великолепных закатов к бескрайним и величественным небесным миражам, словно написанным красной охрой и внушающим ужас, доказать этого никто не сумел.

– Во что ж еще нам верить? – спросила Бабетта. – Как еще объяснить?

– Не знаю.

– Мы же не в пустыне и не на берегу океана. У нас должны быть тихие зимние закаты. Но взгляни на это пылающее небо. Как оно прекрасно и трагично! Раньше солнце садилось за пять минут. А теперь закаты длятся целый час.

– С чего бы это?

– С чего бы это? – сказала она.

На путепроводе с этой точки открывалась панорама на запад. С тех пор, как закаты стали другими, люди приезжали сюда, ставили машины и выходили просто постоять на пронизывающем ветру, робко перебросить друг с другом парой слов и посмотреть. Здесь уже стояли четыре машины, непременно должны подъехать новые. Путепровод стал смотровой площадкой. За несоблюдением запрета на стоянку полицейские смотрели сквозь пальцы. Как на олимпийских играх для инвалидов, когда все ограничения кажутся несущественными.

Вечером я вернулся к конгрегационалистской церкви за Бабеттой. Покататься со мной поехали Дениза и Уайлдер. В джинсах и теплых гетрах Бабетта выглядела прекрасно и волнующе. Гетры придают осанке почти военный характер, нечто от выправки древних воинов. Разгребая снег, Бабетта надевала еще и меховую повязку на голову. А я представлял себе пятый век

нашей эры. Вокруг бивачных костров стоят солдаты, вполголоса переговариваются на своих тюркских и монгольских наречиях. Безоблачные небеса. Воображал геройскую, достойную подражания смерть Аттилы.

– Как занятия? – спросила Дениза.

– Так успешно, что мне предложили вести еще один курс.

– Какой?

– Джек не поверит.

– Какой? – спросил я.

– Еды и питья. Называется «Еда и питье: основные параметры». Что, надо признать, звучит немного глупее, чем следовало бы.

– Чему ты сможешь их научить? – спросила Дениза.

– В том-то и дело. Тема, в сущности, неисчерпаема. В жару есть легкую пищу. Пить больше жидкости.

– Но это и так все знают.

– Знания ежедневно обновляются. Людям нравится, когда чем-то подкрепляются их убеждения. Не ложитесь отдыхать, плотно поев. Не пейте спиртного натощак. Купаться можно не раньше, чем через час после еды. У взрослых жизнь сложнее, чем у детей. Мы росли, понятия не имея обо всех этих меняющихся обстоятельствах и воззрениях. А в один прекрасный день начали с ними сталкиваться. Поэтому людям необходимо, чтобы человек авторитетный еще раз объяснил им, как можно поступать в каждом конкретном случае, а как нельзя, по крайней мере, до поры до времени. А кроме меня, там никого не нашлось, только и всего.

К экрану телевизора прилипла наэлектризованная пушинка.

В постели мы лежали молча. Словно страшась какого-то безжалостного удара, я спрятал голову между грудями Бабетты. Я твердо решил не рассказывать ей о компьютерном вердикте: узнав, что почти наверняка переживет меня, она пришла бы в отчаяние. Залогом моей решимости, моего молчания, стало ее тело. Каждую ночь я придвигался ближе к ее груди и тыкался носом в эту спасительную ложбинку, как получившая пробоину подлодка в ремонтный док. Ее грудь, ее теплые губы, проворные руки, кончики пальцев, едва касавшиеся моей спины, придавали мне мужества. Чем легче прикосновение, тем тверже я верил: она ничего не должна узнать. Лишь ее собственное безрассудство могло бы сломить мою волю.

Однажды, перед тем, как предаться любви, я чуть было не попросил ее надеть гетры. Но просьбу скорее вызвала бы, наверное, жажда сострадания, чем нетипичное сексуальное желание, и я испугался, что Бабетта заподозрит неладное.

23

Я попросил своего преподавателя немецкого продлить каждый урок на полчаса. Казалось, мне именно сейчас никак не обойтись без знания языка. В комнате у него было холодно. Он одевался, как в ненастье, и, казалось, постепенно придвигал к окнам все больше мебели.

Мы сидели друг против друга в полутьме. Словарный состав и правила грамматики я осваивал весьма успешно. Легко мог бы выдержать письменный экзамен и получить высшую оценку. Но произношение по-прежнему давалось мне с трудом. Данлопа это, видимо, не беспокоило. Он бесконечно демонстрировал свою дикцию, и в лицо мне летели колючие капельки слюны.

Мы увеличили количество уроков до трех в неделю. Казалось, Данлоп покончил со своей растерянностью, стал чуть собраннее. У стен и окон продолжали скапливаться картонные коробки, мебель, газеты, полиэтиленовые чехлы – все, что он мог подобрать где-нибудь в канаве. Я упражнялся в произношении, а он внимательно смотрел. Как-то раз попробовал сунуть мне в рот правую руку, чтобы придать нужное положение языку. Странное и ужасное мгновение – навязчивое проявление близости. Никто еще не касался моего языка руками.

Город по-прежнему патрулировали немецкие овчарки, сопровождаемые людьми в костюмах из милекса. К собакам мы привыкли, радовались им, кормили и баловали, но так и не притерпелись к ряженым пугалам в ботинках на толстой подошве и в противогазах с резиновыми шлангами. Экипировка слишком напоминала нам обо всех неприятностях и страхах.

За обедом Дениза спросила:

– Почему бы им не одеться нормально?

– Они ведь на дежурстве, – сказала Бабетта. – Это не значит, что мы в опасности. Собаки учуяли следы ядов только на окраине.

– Именно в этом нас хотят убедить, – сказал Генрих. – Обнародуй они точные данные, люди бы завалили суды исками на миллиарды долларов. Не говоря уже о демонстрациях, панике, насилии и общественных беспорядках.

Казалось, такая перспектива доставляет ему удовольствие.

– Это уже некоторый перегиб, не правда ли? – сказала Бабетта.

– В чем перегиб – в моих словах или в том, что может произойти?

– И в том и в другом. Нет оснований считать, что опубликованные сведения неверны.

– Ты в самом деле в это веришь? – спросил Генрих.

– А с какой стати я должна не верить?

– Да опубликуй они хоть часть подлинных результатов этих расследований, вся промышленность потерпела бы крах.

– Каких расследований?

– Тех, что ведутся по всей стране.

– В том-то и дело, – сказала Бабетта. – Каждый день по телевидению сообщают о новой утечке ядовитых веществ: канцерогенных растворителей из цистерн, мышьяка из дымовых труб, радиоактивной воды из атомных электростанций. Насколько велика опасность, если это происходит постоянно? Разве опасное явление по определению не должно быть необычным?

Обе девочки посмотрели на Генриха, предвкушая хирургически острый ответ.

– Дались тебе эти утечки, – сказал он. – Утечки – пустяк.

Такого поворота никто от Генриха не ожидал. Бабетта пристально посмотрела на него. Он разрезал лежавший на его тарелочке лист салата на две равные части.

– Не думаю, что это пустяк, – осторожно высказалась Бабетта. – Это, конечно, небольшие ежедневные утечки. Они поддаются контролю. Но не пустяк. За ними приходится следить.

– Чем скорее мы забудем об этих утечках, тем раньше сможем вплотную заняться реальной проблемой.

– А в чем реальная проблема? – спросил я. Генрих говорил, набив рот салатом и огурцом.

– Реальная проблема – излучение, ежедневно бьющее по нам со всех сторон. Радиоприемник, телевизор, микроволновка, линия электропередачи возле дома, радар контроля скорости на шоссе. Нас очень долго уверяли, что эти малые дозы безвредны.

– А теперь? – спросила Бабетта.

Мы смотрели, как Генрих ложкой придает картофельному пюре на своей тарелке форму вулкана. В кратер он очень осторожно влил подливку, потом принялся аккуратно очищать бифштекс от жира, жил и прочих изъянов. Мне пришло в голову, что прием пищи – единственный род профессионализма, которого большинство людей может достичь.

– Пришла новая большая беда, – сказал он. – Разливы, утечки и осадки – пустяки. Рано или поздно вас погубит то, что находится совсем рядом – электрические и магнитные поля. Кто из присутствующих поверит мне, если я скажу, что среди людей, живущих возле высоковольтных линий электропередач рекордными темпами растет процент самоубийств? Что же вгоняет этих людей в такое уныние, в такое депрессивное состояние? Неужели один *вид* уродливых проводов и опор? А

может, от постоянного излучения что-то происходит с клетками мозга?

В подливку, заполнившую жерло вулкана, Генрих окунул кусочек бифштекса, положил его в рот. Но жевать начал лишь после того, как зачерпнул со склонов у подножия немного пюре и отправил вслед за мясом. Казалось, за столом нагнетается напряжение, вызванное одним вопросом: успеет ли он доесть подливку, прежде чем обвалится пюре.

– Усталость и головная боль – пустяки, – сказал он, начав жевать. – Как насчет нервных расстройств, необъяснимого насилия в семейной жизни? Существуют научные данные. Откуда, по-вашему, берутся дети-уроды? Из радио и телевидения, вот откуда!

Девочки восхищенно смотрели на него. Мне хотелось с ним поспорить. Спросить, с какой стати я должен верить этим научным данным, а не сведениям о том, что нам не грозит заражение ниодином. Но что я мог сказать, помня о своем состоянии? Мне хотелось объяснить Генриху, что статистические данные, на которые он ссылается, по природе своей неубедительны и только вводят в заблуждение. Хотелось сказать, что он еще научится спокойно относиться к подобным катастрофическим выводам – когда повзрослеет, отбросит свой узкий буквализм, наберется знаний и станет человеком пытливого, скептического ума, сделается мудрым и рассудительным, состарится, лишится сил, умрет.

Но сказал я только одно:

– Вселяющая ужас информация сама по себе уже превратилась в индустрию. Разные фирмы конкурируют друг с другом, пытаясь выяснить, как сильнее нас напугать.

– У меня есть для вас новость, – сказал Генрих. – Когда мозг белой крысы подвергается воздействию высокочастотного излучения, он выделяет ионы кальция. Кто-нибудь из сидящих за столом знает, что это значит?

– Это что, теперь в школе проходят? – спросила Бабетта. – Разве там больше не преподают основы гражданского права, не объясняют, как законопроект становится законом? Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Я до сих пор теоремы помню. Сражение при Банкер-Хилл на самом деле состоялось на холме Бридс. И вот еще: Латвия, Эстония и Литва.

– А какой корабль затопили – «Монитор» или «Мерримак»? – спросил я.

– Не знаю, но с Тайлером Типпекану выбрал судьбу одну.

– А это еще кто? – спросила Стеффи.

– Индеец, который баллотировался на пост президента. А вот

еще: кто изобрел жатвенную машину и как она изменила специфику американского земледелия?

– Я пытаюсь вспомнить три вида горных пород, – сказал я. – Вулканическая, осадочная и еще какая-то.

– А логарифмы? А причины недовольства состоянием экономики, приведшего в конце концов к Большому краху? И еще: кто одержал верх в дебатах Линкольна и Дугласа? Внимание, тут все не так очевидно.

– Антрацитный и битумный, – сказал я. – Равнобедренный и неравносторонний.

Пока я вспоминал эти таинственные слова, на меня нахлынули смутные образы школьных лет.

– А вот еще: англы, саксы и юты.

Проблему дежа-вю в округе еще не решили. Зато организовали телефонную службу бесплатных советов. Консультанты круглосуточно беседовали с людьми, которых беспокоили рецидивы. Вероятно, дежа-вю и другие судороги души и тела были долговременными последствиями воздушнотоксического явления. Однако через некоторое время появилась возможность расценивать подобные расстройства как симптомы нашей глубоко запрятанной отчужденности. Поблизости нет большого города, источника более жестоких мучений, из-за которых мы увидели бы свою дилемму в истинном свете и утешились. Нет такого города, который можно винить за то, что мы чувствуем себя жертвами. Который можно ненавидеть, которого можно бояться. Задыхающегося мегаполиса, способного поглотить нашу скорбь, отвлечь нас от неослабного ощущения времени – времени как фактора именно нашей гибели, нарушения структуры наших хромосом, истерического размножения ткани.

– Баб, – прошептал я той ночью в постели, устроившись между грудей жены.

Для жителей маленького городка мы – люди на редкость непритязательные, и все же из-за отсутствия мегаполиса, эдакой путеводной звезды, в минуты уединения нам становится немного тоскливо.

24

А на другой день, вечером, я нашел дилар. Легкий пластмассовый пузырек янтарного цвета. Липкой лентой он был прикреплен снизу к кожуху батареи отопления в ванной. Нашел я его, когда батарея вдруг застучала, и я, стараясь позабыть о чувстве беспомощности, снял крышку, чтобы заняться тщательным, методичным изучением вентиля.

Я тотчас пошел за Денизой. Она лежала в постели и смотрела телевизор. Я рассказал ей о находке, и мы прокрались в ванную и рассмотрели пузырек. Сквозь прозрачную липкую ленту виднелась надпись «Дилар». Лекарство было запрятано так, что мы изумились и не стали ни к чему прикасаться. Не на шутку обеспокоившись, мы вглядывались в маленькие таблетки. Потом, как заговорщики, переглянулись.

Мы молча накрыли батарею крышкой, оставив пузырек на месте, и вернулись в Денизину комнату. В ногах кровати раздался голос: «А между тем, вот быстрый и аппетитный лимонный гарнир к любому блюду из морепродуктов».

Дениза села на кровать, не глядя ни на меня, ни на экран телевизора, ни на плакаты и детские реликвии. Прищурилась – вид угрюмый, задумчивый.

– Баб мы ничего не говорим.

– Хорошо, – сказал я.

– Она просто соврет, что не помнит, зачем сунула туда пузырек.

– Что такое дилар? Вот что я хочу знать. Поблизости есть всего три или четыре заведения, где она могла бы получить лекарство по рецепту. Аптекарь, наверное, скажет, от чего это средство. Завтра с утра поеду.

– Это я уже сделала, – сказала Дениза.

– Когда?

– Еще до Рождества. Зашла в три аптеки и поговорила с индийцами, которые стоят за прилавком.

– Я думал, они пакистанцы.

– Какая разница?

– И что они рассказали тебе о диларе?

– Что в первый раз о нем слышат.

– А ты попросила их поискать в справочнике? У них должны быть списки новейших препаратов. Аналоги, уточнения.

– Они искали. Ни в одном списке нет.

– Не внесен, значит, – сказал я.

– Надо позвонить ее доктору.

– Сейчас позвоню. Домой.

– Застань его врасплох, – сказала она с некоторым злорадством в голосе.

– Если он дома, его уже не прикроют ни секретари-телефонистки, ни регистратор, ни медсестра, ни молодой добродушный врач, который принимает в соседнем кабинете и чья единственная обязанность – принимать тех, кто не попал на прием к светилу. Если тебя отфутболивают от старого врача к молодому, значит, и ты, и твоя болезнь второсортны.

– Позвони ему домой, – сказала Дениза. – Разбуди его. Выуди у него все, что нам нужно знать.

Единственный телефон был на кухне. Я легким шагом одолел коридор, заглянув по дороге в спальню, дабы убедиться, что Бабетта по-прежнему гладит там блузки и слушает программу, где отвечают на звонки радиослушателей – к этому развлечению она в последнее время пристрастилась. Спустившись на кухню, я нашел в записной книжке фамилию врача и набрал его домашний номер.

Фамилия врача была Хукстраттен. Вроде бы немецкая. Однажды я с ним встречался – сутулый мужчина с оплывшим бульдожьим лицом и низким голосом. Дениза велела выудить у него сведения, но без откровенности с моей стороны хитрость бы не удалась. Назовись я кем-нибудь другим, кого интересует дилар, он либо бросил бы трубку, либо пригласил бы меня в кабинет.

Трубку он взял после четвертого или пятого гудка. Я представился и сказал, что беспокоюсь о Бабетте. Беспокоюсь настолько, что звоню ему домой – поступок, конечно, необдуманный, но надеюсь, доктор сумеет меня понять. По моему твердому убеждению, проблему вызвало именно прописанное им лекарство.

– Что за проблема?

– Провалы памяти.

– Непременно надо было звонить врачу домой, чтобы поговорить о провалах памяти! А что если каждый с провалами памяти начнет звонить врачу домой? Это же будет просто стихийное бедствие!

Я сказал, что провалы часто повторяются.

– Часто… Знаю я вашу жену. Та самая жена, что пришла ко мне как-то вечером с плачущим ребенком. «Мой сынишка плачет!» Непременно надо было явиться к доктору медицины, частному юридическому лицу, и попросить вылечить ребенка от плача! И вот теперь я беру трубку, и оказывается, что звонит муж. Непременно надо было позвонить врачу домой после десяти часов

вечера! Непременно надо было сказать ему: «Провалы памяти». Может, еще скажете, что у нее газы? Позвоните мне домой насчет газов?

– Они частые и длительные, доктор. Наверняка дело в лекарстве.

– Что за лекарство?

– Дилар.

– В первый раз слышу.

– Маленькие белые таблетки. В желтом пузырьке.

– Непременно надо было уточнить, что таблетки – маленькие и белые, и потребовать, чтобы врач как-то отреагировал – дома, после десяти вечера! Может, еще скажете, что они круглые? В нашем случае это имеет решающее значение.

– Это лекарство не внесено в списки.

– Я его никогда не видел. И уж, конечно, никогда не прописывал вашей жене. Насколько я способен разбираться в подобных вещах, она совершенно здорова, хотя мне так же свойственно ошибаться, как и любому смертному.

Это прозвучало как отговорка от преступной халатности. Возможно, врач зачитал его по бумажке, словно агент сыскной полиции, который оглашает подозреваемому конституционные права. Я поблагодарил, повесил трубку, позвонил своему врачу. Тот взял трубку после седьмого гудка и сказал, что, по его мнению, Дилар – остров в Персидском заливе, одно из базовых нефтехранилищ, имеющих решающее значение для выживания Запада. В трубке слышался женский голос, читающий сводку погоды.

Поднявшись наверх, я велел Денизе не волноваться. Я возьму из пузырька одну таблетку, отнесу в колледж и отдам аналитикам с кафедры химии. Мне казалось, сейчас Дениза скажет, что уже это сделала. Но она лишь мрачно кивнула, и я, выйдя в коридор, заглянул к Генриху пожелать ему спокойной ночи. Он подтягивался в чулане на перекладине, закрепленной в дверном проеме.

– Где ты взял эту штуковину?

– У Меркатора.

– Это еще кто?

– Тот старшеклассник, с которым я подружился. Ему скоро девятнадцать, а он еще в школу ходит. Это чтоб ты понял.

– Что?

– Какой он здоровый. Выжимает лежа такой вес, что просто жуть.

– Зачем тебе подтягиваться? Что вообще дает подтягивание?

– Что дает? Может, я просто хочу нарастить мускулы, чтобы

компенсировать кое-какие потери.

– Какие потери?

– Ну, например, у меня появились залысины.

– Нет у тебя залысин. Спроси у Баб, если мне не веришь. У нее глаз наметан.

– Мама велела мне сходить к дерматологу.

– По-моему, в этом пока нет необходимости.

– Я уже сходил.

– И что он сказал?

– Это она. Мама велела мне идти к женщине.

– И что она сказала?

– Она сказала, что у меня есть густой донорский участок.

– И что это значит?

– Она может взять волосы с других частей моей головы и хирургическим путем вживить их там, где необходимо. Впрочем, мне все равно. Облысею и ладно. Буду ходить лысый как колено. У некоторых моих сверстников рак. От химиотерапии у них выпадают волосы. С какой стати я должен от них чем-то отличаться?

Он стоял в чулане и пристально смотрел на меня. Я решил сменить тему.

– Если ты действительно считаешь, что подтягиваться полезно, почему бы тебе не выйти из чулана и не заниматься на турнике, повернувшись туда лицом? Чего торчать в этой темной, затхлой конуре?

– Если это, по-твоему, странно, посмотрел бы, что вытворяет Меркатор.

– Что же он вытворяет?

– Готовится побить мировой рекорд стойкости – долго просидеть в клетке с ядовитыми змеями и попасть в «Книгу рекордов Гиннесса». Три раза в неделю ездит в Глассборо, где есть зоомагазин с экзотическими тварями. Хозяин разрешает ему кормить мамбу и африканскую гадюку. Он так привыкает. Североамериканские гремучие змеи – детские игрушки. Африканская гадюка – самая ядовитая змея на свете.

– Всякий раз, когда я смотрю репортаж о человеке, который четвертую неделю сидит в клетке со змеями, мне хочется, чтобы его ужалили.

– Мне тоже, – сказал Генрих.

– Почему это?

– Он же лезет на рожон.

– Вот именно. Большинство всю жизнь избегает опасности. А эти люди кем себя возомнили?

– Они лезут на рожон. Вот и пускай получают по заслугам.

Я немного помолчал, наслаждаясь редкой минутой согласия.

– А как еще твой приятель тренируется?

– Подолгу сидит на одном месте и терпит – мочевой пузырь приучает. Стал питаться только два раза в день. Спит сидя, по два часа. Учится просыпаться постепенно, без резких движений, чтобы не напугать мамбу.

– Довольно странная мечта.

– Мамбы чувствительны.

– Лишь бы он при этом был счастлив.

– Он думает, что счастлив, но все дело лишь в нервной клетке мозга и ее стимуляции – то слишком сильной, то слишком слабой.

Ночью я встал и пошел в маленькую комнату в конце коридора посмотреть, как спят Стеффи и Уайлдер. За этим занятием я просидел около часа, не шевелясь и переживая прилив сил и вдохновения, – но об этом лучше не упоминать.

Вернувшись в нашу спальню, я удивился, обнаружив, что Бабетта стоит у окна и вглядывается в серо-стальную мглу. Она не подала виду, что заметила мою отлучку, и, казалось, не слышала, как я снова лег, с головой укрывшись одеялом.

25

Газету нам приносит иранец средних лет – он приезжает на «ниссане-сентра». Что-то в этой машине меня тревожит – уже светает, почтальон кладет газету на крыльцо, а машина ждет с включенными фарами. Я пытаюсь убедить себя, что уже достиг определенного возраста – возраста, в котором угрозы мнимы и косвенны. Мир далеко не однозначен. В банальности я нахожу неожиданные темы и глубину мысли.

Я сидел за своим столом в кабинете, уставившись на белую таблетку. С виду смахивает на летающую тарелку – диск обтекаемой формы с малюсеньким отверстием сбоку. Дырочку я сумел заметить лишь после долгого и тщательного осмотра.

Таблетка не походила на кусочек мела, вроде аспирина, и в то же время не была гладкой и глянцевой наподобие капсулы. На ощупь она казалась довольно странной, какой-то нежной, и тем не менее производила впечатление синтетической, нерастворимой, искусно сработанной.

Я зашел в небольшое здание с куполом, известное под названием «Обсерватория», и отдал таблетку Винни Ричардс, молодому научному сотруднику. Ее работы по биохимии нервной системы считались блестящими. Высокая, неуклюжая и неприметная женщина, она краснела от смущения, стоило кому-нибудь отпустить шуточку. Некоторые нью-йоркские эмигранты любили заходить к ней в кабинетик и без передышки острить только для того, чтобы посмотреть, как она заливается краской.

Сидя за столом, заваленном бумагами, она медленно вращала таблетку в пальцах. Потом лизнула ее и пожала плечами:

– На вкус, конечно, не очень.

– Сколько времени уйдет на анализ?

– У меня сейчас на очереди мозг дельфина и все же зайдите через сорок восемь часов.

На Холме Винни прославилась тем, что перемещалась с места на место, оставаясь незамеченной. Никто не знал, как ей это удается и зачем вообще нужно. Может, она стеснялась своей нескладной фигуры, нерешительного вида и странного полугалопа. Может, у нее боязнь открытых пространств, хотя пространства в колледже – большей частью уютные и замысловатые. Возможно, мир людей и вещей потрясал ее до глубины души и даже вогнял в краску, словно какое-нибудь волосатое обнаженное тело, и потому она сочла за благо избегать людных мест. Может, надоело слышать, как ее называют

блестящим ученым. Как бы то ни было, до конца недели установить ее местонахождение было нелегко. Она не показывалась ни на лужайках, ни на дорожках, а всякий раз, когда я заглядывал в ее рабочий закуток, ее там не было.

Дома Дениза упорно не желала поднимать вопрос о диларе. Она не хотела оказывать на меня давление и даже отводила глаза, словно обмен многозначительными взглядами мог помешать нам сохранить в тайне то, что мы знали. Бабетта же, казалось, ни на что не могла посмотреть без многозначительности во взгляде. В разговоре отворачивалась и, надолго застыв, как изваяние, принималась глазеть на снегопад, закат или стоянку машин. Эта страсть к созерцанию начинала меня беспокоить. Бабетта всегда была открыта к миру вокруг, жадно интересовалась частностями, полагалась на все материальное и реальное. А это уединенное созерцание казалось особой формой отчуждения не только от нас, кто был рядом, но и от тех вещей, на которые она так долго смотрела.

Старшие дети уже позавтракали и ушли, а мы остались сидеть за столом.

– Ты видел новую собаку Стоверов?

– Нет, – ответил я.

– Они считают пса пришельцем из космоса. Причем совершенно серьезно. Вчера я у них была. Животное и вправду странное.

– Тебя что-то беспокоит?

– Нет, все отлично.

– Может, все-таки расскажешь? Мы же всё друг другу рассказываем. Всегда рассказывали – по крайней мере, до сих пор.

– Что может меня беспокоить, Джек?

– Ты подолгу смотришь в окно. По-моему, ты изменилась. Стала все видеть иначе и по-другому на все реагировать.

– Вот и с их псом та же история. Подолгу смотрит в окно. Но не просто в любое окно. Он поднимается на чердак, кладет лапы на подоконник самого верхнего окошка и высовывается. Стоверы считают, что он ждет инструкций.

– Дениза убила бы меня, если б узнала, что я собираюсь это сказать.

– Что?

– Я нашел дилар.

– Какой дилар?

– Прицепленный липкой лентой к кожуху батареи.

– Чего ради я стала бы цеплять что-то к кожуху батареи?

– Дениза предполагала, что ты это скажешь.

– Обычно она бывает права.

– Я говорил с Хукстраттеном, твоим доктором.

– Я в превосходной форме, честное слово.

– Он так и сказал.

– Знаешь, чего мне хочется в такие холодные, пасмурные, серые дни?

– Чего же?

– Забраться в постель к симпатичному мужчине. Пойду посажу Уайлдера в его виниловый тоннель. А ты побрейся и почисть зубы. Встречаемся в спальне через десять минут.

В тот день я увидел, как Винни Ричардс выскользнула из Обсерватории через боковую дверь и рысью двинулась по небольшой лужайке к новым корпусам. Я выскочил из своего кабинета и бросился вдогонку. Она шагала размашисто, держась поближе к стенам. Я чувствовал, будто обнаружил редкое вымирающее животное или необыкновенное человекообразное существо, наподобие йети или саскуотча. Было холодно и по-прежнему свинцово-пасмурно. Я понял, что сумею догнать ее, только если прибавлю шагу. Она торопливо скрылась за административным зданием, и я, испугавшись, что вот-вот ее упущу, пустился бегом. Бежать было непривычно. Я не бегал уже много лет и теперь не узнавал своего тела, не узнавал почву под ногами, а земная поверхность стала вдруг неровной и жесткой. Я свернул за угол и набрал скорость, чувствуя, как трясутся мои телеса. Вверх-вниз, жизнь-смерть. Мантия развевалась у меня за спиной.

Я догнал ее в пустом коридоре пристройки, пропахшей бальзамирующими составами. Винни прижалась к стене – в светло-зеленом лабораторном халате с поясом и теннисных туфлях. Я слишком запыхался, не смог ничего сказать, и только поднял правую руку, прося небольшой передышки. Винни привела меня в небольшое помещение, где на столе выстроились банки с мозгами. Рядом – вделанная раковина, кучи блокнотов и ряды приборов. Винни налила мне в бумажный стаканчик воды. Я постарался никак не связывать вкус водопроводной воды ни с видом мозгов, ни со стойким запахом консервантов и дезинфекции.

– Вы что, скрываетесь от меня? – спросил я. – Я оставляю записки, звоню.

– Не от вас, Джек, да и ни от кого конкретно.

– Почему же тогда вас так трудно найти?

– Это вообще характерно для двадцатого века, не правда ли?

– Что?

– Люди скрываются, даже если их никто не разыскивает.

– Вы действительно так считаете?

– Это же очевидно.

– Как насчет таблетки?

– Любопытный продукт технологии. Как называется?

– Дилар.

– Впервые слышу, – сказала она.

– Что вы можете о ней рассказать? Только постарайтесь особо не блистать интеллектом. Я еще не обедал.

Она покраснела.

– Это не таблетка в привычном смысле, – сказала она. – Это система подачи медикаментов. Она не сразу растворяется и не сразу выбрасывает свои ингредиенты. Само лекарство в диларе заключено в полимерную оболочку. Сквозь эту оболочку с точно рассчитанной скоростью просачивается вода из желудочно-кишечного тракта.

– Какова роль воды?

– В ней растворяется лекарство, заключенное в оболочку. Медленно, постепенно, полностью. Потом раствор вытекает из полимерной таблетки через одно-единственное отверстие. Тоже с точно рассчитанной скоростью.

– Это отверстие я заметил далеко не сразу.

– Потому что его просверлили лазером. Оно не только очень маленькое, но и просверлено потрясающе точно.

– Лазеры, полимеры.

– Я не разбираюсь ни в том, ни в другом, Джек, но могу вас заверить, что это замечательная миниатюрная система.

– И для чего нужна вся эта точность?

– По-моему, регулируемая дозировка должна устранить эффект случайности, обычный для пилюль и капсул. Лекарство поступает в организм с заданной скоростью продолжительный период времени. А потому не возникает типичная картина чередования чрезмерной и недостаточной дозировки. Лекарство действует равномерно, не бывает мощных волн, которые сменяются тоненькими струйками. Не бывает расстройства желудка, тошноты, рвоты, судорог в мышцах и так далее. Система эффективна.

– Я поражен. Даже дух захватывает. А что происходит с полимерной таблеткой после того, как из нее вытечет все лекарство?

– Самоуничтожается. Мгновенно схлопывается под воздействием собственного тяготения. Но это уже относится к физике. Пластиковая оболочка распадается на микроскопически малые частицы и сразу выводится из организма безвредным

способом, освященным веками.

– Потрясающе. А теперь скажите мне, для чего предназначено это средство? Что такое дилар? Каков его химический состав?

– Не знаю, – ответила она.

– Наверняка знаете. Вы же блестящий ученый. Все так говорят.

– А что еще они могут сказать? Я занимаюсь биохимией нервной системы. Никто вообще не знает, что это такое.

– У других ученых есть некоторое представление. Наверняка. И они считают вас блестящей.

– Все мы блестящие. Насчет этого здесь существует договоренность, разве нет? Вы считаете меня блестящим ученым. Я считаю вас блестящим ученым. Это своего рода общинное самомнение.

– Меня никто блестящим не считает. Меня считают расчетливым. Все говорят, что я прибрал к рукам нечто особенное. Занял нишу, о существовании которой никто понятия не имел.

– Существуют ниши и для блестящих ученых. Настал мой черед, только и всего. К тому же у меня странное телосложение и странная походка. Не дай я им повода называть себя блестящим ученым, они бы говорили обо мне гадости. А это всем неприятно.

Она прижала к груди какие-то папки.

– Несомненно одно, Джек: препарат, содержащийся в диларе, действует на психику. Вероятно, предназначен для труднодоступных участков коры головного мозга. Посмотрите вокруг. Повсюду мозги. У акул, у китов, у дельфинов, у крупных обезьян. По своей сложности ни один не приближается к человеческому. Мозг человека – не моя специальность. О нем я располагаю лишь скудными практическими сведениями, но и они заставляют меня гордиться тем, что я американка. У вас в мозге триллион нейронов, а в каждом нейроне – десять тысяч маленьких дендритов. Эта система многосторонней связи впечатляет. Она похожа на галактику, которую можно подержать в руке, только более сложную, непостижимую.

– Почему же вы гордитесь тем, что вы американка?

– Мозг младенца развивается, реагируя на раздражители. А в раздражении нам пока нет равных на свете.

Я отпил глоток воды.

– Хотелось бы выяснить побольше, – сказала она. – Но я никак не могу точно установить тип этого лекарственного препарата. Одно могу сказать определенно. В продаже его нет.

– Но я нашел его в обычном аптечном пузырьке.

– Мне все равно, где вы его нашли. Я совершенно уверена, что

распознала бы компоненты известного психотропного средства. Это неизвестный препарат.

Она стала поглядывать на дверь. Глаза у нее были ясные и испуганные. И тут я услышал шум в коридоре. Голоса, шарканье ног. Винни попятилась к задней двери. Мне вдруг захотелось еще раз увидеть, как она краснеет. Она убрала руку за спину, отперла дверь, поспешно повернулась и выбежала в дневную мглу. А я все пытался вспомнить что-нибудь смешное и сострить.

26

Я сидел в постели с конспектом по грамматике немецкого языка. Бабетта лежала на боку, уставившись на часы-приемник, и слушала звонки радиослушателей в эфир. Позвонила женщина: – В семьдесят седьмом году я посмотрела в зеркало и увидела, в кого начала превращаться. Я то ли не могла, то ли не хотела вставать с постели. На периферии моего поля зрения двигались какие-то фигуры – вроде как бегали, суетились. Мне часто звонили с ракетной базы – стартовой площадки «Першингов». Нужно было поговорить с кем-то, у которого тоже такое бывало. Записаться на программу помощи, в какую-нибудь организацию.

Я перегнулся через жену и выключил радио. Бабетта продолжала смотреть прямо перед собой. Я нежно поцеловал ее в макушку.

– Марри говорит, что твои волосы имеют большое значение.

На лице у нее появилась бледная, бессильная улыбка. Я отложил конспект и осторожно повернул ее на спину, чтобы она смотрела в потолок.

– Нам пора серьезно поговорить. Мы оба это знаем. Ты расскажешь мне о диларе. Если не ради меня, то ради своей маленькой дочки. Она переживает и очень сильно. Да и деваться тебе уже некуда. Мы приперли тебя к стенке. Мы с Денизой. Я нашел спрятанный пузырек, взял одну таблетку и отдал ее на анализ специалисту. Эти белые кругляши сработаны превосходно. Лазерная технология, новейшие синтетические материалы. Дилар – почти такое же хитроумное изобретение, как микроорганизмы, которые вдруг сожрали вздымающееся облако. Кто поверил бы, что бывает маленькая белая пилюля, которая работает, как эффективный и безопасный нагнетательный насос, снабжает организм лекарством и вдобавок самоуничтожается? Меня поражает красота этого устройства. Мы знаем кое-что еще, и против этого у тебя аргументов не найдется. Мы знаем, что дилара нет в свободной продаже. Уже поэтому мы вправе требовать объяснений. По существу, тебе почти нечего сказать. Расскажи только, что это за лекарство. Как тебе хорошо известно, донимать людей – не в моем характере. Но Дениза сделана совсем из другого теста. Я всячески стараюсь ее удержать. Если ты не расскажешь, я введу в бой твою маленькую дочку. Дениза сразу выложит тебе все, что у нее накипело. Она не станет понапрасну бередить твою вину. Дениза предпочитает лобовую атаку. Она загонит тебя в угол, и ты расколешься. Ты же знаешь, что я прав, Бабетта.

Прошло минут пять. Бабетта лежала, уставившись в потолок.

– Давай только я расскажу все так, как считаю нужным, – сказала она вполголоса.

– Хочешь ликера?

– Нет, спасибо.

– Не торопись, – сказал я. – У нас вся ночь впереди. Если тебе что-то захочется или понадобится, только скажи. Просто попроси, и все. Я буду рядом, сколько нужно.

Прошла еще минута.

– Я точно не помню, когда это началось. Может, года полтора назад. Мне показалось, что я вступила в новую стадию, прошла некий поворотный раздел своей жизни.

– Поворотный пункт, – сказал я. – Или водораздел.

– Начался некий период стабильности. Так мне казалось. Зрелые годы. В общем, что-то вроде этого. Я думала, состояние пройдет, и можно будет обо всем позабыть. Но оно не прошло. Мне стало казаться, что этого не произойдет никогда.

– Какое состояние?

– Это пока к делу не относится.

– В последнее время ты какая-то подавленная. Такой я тебя еще никогда не видел. В этом ведь и состоит главное достоинство Бабетты. Она оптимистка. Никогда не унывает и не жалуется на судьбу.

– Дай мне все рассказать, Джек.

– Хорошо.

– Ты меня знаешь. Я считаю, что все можно исправить. При наличии верного подхода и надлежащих усилий человек может изменить неприятную ситуацию, разложив ее на простейшие части. Можно составлять списки, придумывать категории, строить диаграммы и графики. Именно так мне удается обучить своих учеников стоять, сидеть и ходить, хоть я и знаю, ты считаешь эти дисциплины слишком тривиальными, расплывчатыми и обобщенными, чтобы разлагать их на компоненты. Я не очень изобретательна, зато умею разбивать вещи на категории, сортировать и классифицировать. Мы можем подвергать анализу осанку, можем – прием пищи, питье и даже дыхание. На мой взгляд, иначе мир не постигнешь.

– Я здесь, рядом, – сказал я. – Если тебе что-то захочется или понадобится, только скажи.

– Когда стало ясно, что состояние не проходит, я решила получше разобраться в нем, разложив его на части. Сначала нужно было выяснить, имеются ли в нем эти компоненты вообще. Я ходила в библиотеки и книжные магазины, читала простые и специальные журналы, смотрела кабельное телевидение,

составляла списки и диаграммы, строила цветные графики, звонила авторам специальных статей и ученым, разговаривала с сикхским праведником в Айрон-Сити и даже изучала оккультные науки, пряча книжки на чердаке, чтобы вы с Денизой не нашли их и не стали выяснять, в чем дело.

– И все это без моего ведома. Главное достоинство Бабетты – в том, что она говорит со мной, откровенничает, ничего не скрывает.

– Эта история не о твоем недовольстве. Эта история – о моей боли и попытках с ней покончить.

– Я приготовлю горячий шоколад. Хочешь?

– Постой. Тут ключевой момент. Вся эта бурная деятельность – эти изыскания, научные занятия и попытки сохранить все в тайне – ни к чему не привели. Состояние не исчезало. Оно угрожало моей жизни, не давало мне покоя. И вот однажды, когда я читала мистеру Тридуэллу «Нэшнл игзэминер», на глаза мне попалось одно объявление. Его точный текст к делу не относится. Требовались добровольцы для секретных исследований. Остальное тебе знать не обязательно.

– А я-то думал, это мои бывшие жены склонны хитрить. Милые обманщицы. Экзальтированные, широкоскулые, говорят с придыханием, да еще на двух языках.

– Я пришла по объявлению, и со мной побеседовал представитель небольшой фирмы, занимающейся психобиологическими исследованиями. Знаешь, что это такое?

– Нет.

– А знаешь, как сложно устроен человеческий мозг?

– Имею некоторое представление.

– Нет, не имеешь. Назовем компанию «Грей Рисерч», хотя это не настоящее название. Назовем их представителя «мистер Грей». Мистер Грей – собирательный образ. В общей сложности я общалась с тремя или четырьмя представителями фирмы, если не больше.

– Это такое невысокое длинное здание из светлого кирпича, окруженное электрифицированной оградой и низким кустарником.

– Их главного офиса я ни разу не видела. Почему – к делу не относится. Суть в том, что я проходила тест за тестом. Психологические, на эмоциональную устойчивость, на моторную реакцию, на мозговую деятельность. Потом мистер Грей сказал, что осталось трое финалистов и я – одна из них.

– Финалистов чего?

– Над нами должны были ставить опыты при разработке чудо-препарата, экспериментального и сверхсекретного, под кодовым

названием «дилар». Над созданием средства мистер Грей трудился много лет. Он обнаружил в человеческом мозге рецептор дилара, и уже завершал работу над самой таблеткой. Но при этом он говорил, что опыты над людьми чреваты опасностями. Я могу умереть. Могу выжить, но может умереть мой мозг. Левое полушарие мозга может отмереть, а правое – остаться целым и невредимым. В результате левая сторона моего тела не пострадала бы, а правая – омертвела. Все это сулило мрачные перспективы. Я не смогла бы ходить вперед – только вбок. Я разучилась бы отличать слова от вещей, и если бы кто-нибудь сказал «летит пуля», я грохнулась бы на пол и поползла в укрытие. Мистер Грей хотел, чтобы я сознавала, чем рискую. Мне следовало подписать документы об освобождении фирмы от ответственности и другие бумаги. У фирмы имелись свои адвокаты, священники.

– Они развязали себе руки, а отдуваться тебе, подопытному кролику.

– Нет, это не так. Мне сказали, что все это очень рискованно – в правовом, нравственном и прочих смыслах. Они начали разрабатывать компьютерные модели молекул и мозга. Но этого мне было мало. Я уже зашла слишком далеко, подошла очень близко. Постарайся понять, что произошло потом. Если уж я решила рассказать тебе обо всем, мне придется упомянуть и об этом грязном уголке души человеческой. Ты же сам говоришь, что Бабетта откровенничает и ничего не скрывает.

– Это главное достоинство Бабетты.

– Отлично. Буду откровенничать, ничего не скрывая. Мы с мистером Греем заключили тайное соглашение. Наплевать на священников, адвокатов, психобиологов. Мы решили проводить опыты самостоятельно. Я излечусь от своего состояния, а ему достанутся дифирамбы за поразительное достижение в области медицины.

– Что же тут грязного?

– Ради этого я совершила один неблагоразумный поступок. Только так мистер Грей разрешил бы мне принимать лекарство. Это было мое последнее средство, последняя надежда. Сначала я предложила ему свое сознание. Потом предложила тело.

Я почувствовал, как по спине медленно поднимается тепло, и его начинают излучать мои плечи. Бабетта смотрела прямо вверх. Я лежал к ней лицом, опираясь на локоть, и вглядывался в ее черты. Когда я наконец заговорил, голос мой зазвучал рассудительно и вопрошающе – так, будто я искренне стремится постичь вековую тайну рода людского.

– Как можно предложить свое тело собирательному образу,

составленному не менее, чем из трех человек? Это несуществующий субъект. Полицейский фоторобот с бровями одного человека и носом другого. Давай сосредоточимся на гениталиях. О каком количестве комплектов идет речь?

– Только об одном, Джек. Незаменимого специалиста, руководителя проекта.

– Значит, речь больше не идет о том мистере Грее, который является собирательным образом.

– Теперь это один человек. Мы сняли грязный, тесный номер в мотеле. Где и когда – к делу не относится. Там, под самым потолком, был телевизор. Больше ничего не помню. Грязная, обшарпанная комната. Я совсем пала духом. Но была готова на все.

– И это ты называешь неблагоразумным поступком – как будто мы не пережили революцию в семантике, и наш язык не стал простым и четким. Называй вещи своими именами, говори прямо, твой рассказ заслуживает большего. Ты вошла в комнату мотеля, возбужденная ее безликостью, функциональностью и тем, как безвкусно она обставлена. Прошлась босиком по огнеупорному ковру. Мистер Грей ходил по комнате и открывал двери – искал большое зеркало. Он смотрел, как ты раздеваешься. Вы легли на кровать и обнялись. Потом он вошел в тебя.

– Не употребляй это слово. Ты же знаешь, как я отношусь к его употреблению в данном контексте.

– Он осуществил так называемый ввод. Другими словами, произвел введение. Только что он, полностью одетый, положил на туалетный столик ключи от взятой напрокат машины. И вот он уже внутри тебя.

– Никто ни у кого не был внутри. Дурацкое словоупотребление. Я сделала то, что должна была сделать. Я была холодна. Действовала машинально. То была капиталистическая сделка. Тебе дорога жена, которая тебе все рассказывает. Я всячески стараюсь быть именно такой женой.

– Ну ладно, я просто пытаюсь понять. Сколько раз вы ездили в этот мотель?

– В общем, довольно часто, несколько месяцев подряд. Таков был уговор.

Я почувствовал, как по затылку поднимается тепло. Внимательно посмотрел на Бабетту. В глазах ее отражалась печаль. Я откинулся на подушку и взглянул на потолок. Включился приемник. Бабетта тихо заплакала.

– Есть банановый «Джелло», – сказал я. – Стеффи приготовила.

– Молодчина.

– Мне не составит труда его принести.

– Спасибо, не надо.

– Почему включился приемник?

– Таймер сломался. Завтра отнесу в мастерскую.

– Сам отнесу.

– Не надо, – сказала она. – Меня это не затруднит. Я вполне могу отнести.

– Тебе понравилось заниматься с ним сексом?

– Я помню лишь телевизор под потолком – он смотрел на нас экраном.

– А как у мистера Грея с чувством юмора? Ведь женщины ценят мужчин, умеющих шутить о сексе. Я, к сожалению, не умею, и теперь уже вряд ли научусь.

– Тебе достаточно знать, что его зовут мистер Грей. Только и всего. Он не высокий и не маленький, не молодой и не старый. Он не смеется и не плачет. Так тебе же лучше.

– У меня вопрос. Почему компания «Грей Рисерч» не проводила опыты на животных? В некоторых отношениях животные наверняка лучше компьютеров.

– Как раз в этом вся суть. У животных такого состояния не бывает. Оно свойственно только человеку. По словам мистера Грея, животные боятся многих вещей. Но их мозг не настолько сложен, чтобы приспособиться именно к этому состоянию рассудка.

Впервые я начал догадываться, что она все время имела в виду. Я весь похолодел. Какая опустошенность. Слегка приподнявшись и вновь опершись на локоть, я посмотрел на Бабетту. Она снова заплакала.

– Ты должна все рассказать мне, Бабетта. Ты уже многое мне открыла, заставила через многое пройти. Я должен знать все. Что это за состояние?

Чем дольше Бабетта плакала, тем больше я убеждался: я знаю, какие слова сейчас услышу от нее. У меня возникло желание: одеться, уйти и снять где-нибудь комнату до той поры, пока все не забудется. Бабетта подняла голову, и я увидел ее лицо, скорбное и бледное, безысходное отчаяние в глазах. Мы опирались на локти, глядя друг на друга, словно скульптура – философы лениво возлежат в античной академии. Приемник выключился.

– Я боюсь умереть, – сказала Бабетта. – Я постоянно об этом думаю. Никак не проходит.

– Не надо. Это ужасно.

– Я не виновата. Что я могу поделать?

– Ничего не желаю знать. Отложи до старости. Ты еще

молода, много двигаешься. Страх беспричинный.

– Он не перестает меня мучить, Джек. Никак не могу выбросить его из головы. Знаю, я не должна его испытывать, к тому же так осознанно, так непрестанно. Но что я могу поделать? Страх никак не проходит. Вот почему мне сразу бросилось в глаза объявление мистера Грея в газетенке, которую я читала вслух. Заголовок попал в точку: СТРАХ СМЕРТИ. То, о чем я думаю постоянно. Ты разочарован. Я же вижу.

– Разочарован?

– Ты предполагал, что состояние окажется более специфическим. Хорошо бы. Но никто ведь не станет тратить так много времени и сил на поиски средства от обычного легкого недомогания.

Я попытался разубедить ее:

– Откуда ты знаешь, что боишься именно смерти? Смерть – штука слишком неопределенная. Никто не знает, что такое смерть, на что она похожа, с чем ее можно сравнить. Может, у тебя просто личная проблема, и ты придаешь ей огромное, мировое значение.

– Какая проблема?

– Та, о которой ты стараешься не думать.

Может, вес?

– Я похудела. Ты еще о росте забыл?

– Я знаю, что ты похудела. Именно к этому и клоню. Ты пышешь здоровьем. У тебя цветущий вид. Вот и Хукстраттен это подтверждает, твой личный врач. Наверняка есть другая проблема, где-то глубоко.

– Что может быть глубже смерти?

Я попытался убедить ее, что все не так серьезно, как ей кажется:

– Смерти боятся все, Баб. С какой стати ты должна чем-то отличаться? Ты же сама только что сказала, что человеку свойственно это состояние. Любого, кто дожил до семи лет, начинают волновать мысли о смерти.

– В какой-то степени, смерти боятся все. Я своего страха и не скрываю, Не знаю, как и почему он возник. Но вряд ли я одна такая, иначе разве стала бы компания «Грей Рисерч» тратить миллионы на какую-то пилюлю?

– Вот и я об этом. Ты не одна. Таких людей сотни тысяч. Разве это не утешает? Ты похожа на ту женщину, которая по радио сказала, что ей часто звонили с ракетной базы. Она думала, что найдет других людей с подобными психотическими переживаниями и перестанет быть одинокой.

– Но мистер Грей сказал, что у меня особая чувствительность

к страху смерти. Он же дал мне набор тестов. Ему не терпелось начать опыты со мной.

– Именно это мне и странно. Ты так долго скрывала свой страх. Если тебе удается скрывать такое чувство от мужа и детей, может, все не так уж серьезно.

– Эта история – не о лживой жене. Не надо обходить суть моего рассказа, Джек. Это слишком важно.

Я говорил с ней спокойно. Таким голосом возлежащий философ мог бы обращаться к молодому члену академии, чья научная работа подает надежды и где-то даже блистательна, но, возможно, слишком несамостоятельна и питалась эрудицией старшего коллеги.

– Это я у нас в семье одержим страхом смерти, Баб. Только я.

– Ты никогда не говорил.

– Чтобы ты не волновалась. Всегда была энергична, счастлива, полна жизни. Счастлива у нас ты. А я дурак, я обреченный. Это же непростительно: выходит, ты совсем не такая, как я думал. Я оскорблен, уничтожен.

– Я всегда считала, что ты способен размышлять о смерти. Ты же мог ходить на прогулки и размышлять. Но сколько мы ни говорили о том, кто умрет раньше, ты ни разу не сказал, что боишься.

– К тебе это тоже относится. «Как только дети станут взрослыми». Как будто речь шла о поездке в Испанию.

– Я действительно хочу умереть первой, – сказала она, – но это не значит, что мне не страшно. Я безумно боюсь. Боюсь постоянно.

– А я прожил в страхе больше половины жизни.

– Что я, по-твоему, должна сказать? Что твой страх старше и мудрее моего?

– Я просыпаюсь весь в поту. В смертельной испарине.

– А я жую резинку, потому что у меня горло сжимается.

– А у меня нет тела. Я – всего-навсего разум или же личность, совершенно одинокая в громадном пространстве.

– А я впадаю в ступор, – сказала она.

– А у меня нет сил пошевелиться. Я нерешителен, безволен.

– А я представляла себе, как умирает моя мама. Потом она умерла.

– А я представляю себе, как умирают все. Не только я. У меня болезненное воображение.

– Я была так виновата! Считала, что мама умерла потому, что я представила ее смерть. Кажется, я и свою смерть предчувствую. Чем больше о ней думаю, тем раньше она придет.

– Как это странно. Нам так глубоко, жутко, неизбывно

страшно за себя и за тех, кого любим. И все-таки мы ходим, разговариваем с людьми, едим и пьем. Как-то ухитряемся что-то делать. Страхи у нас сильные и неподдельные. Разве не должны они парализовать нас? Как же нам удается совладать с ними, пусть до поры до времени? Мы водим машину, что-то преподаем. Почему никто не видит, как нам было страшно – вчера вечером, сегодня утром? Неужели мы все скрываем друг от друга эти чувства по взаимному согласию? А может, мы, сами того не зная, храним одну общую тайну? Носим одну и ту же маску?

– А что если смерть – всего-навсего звук?

– Электрические помехи.

– Их слышно беспрестанно. Они повсюду. Ужас.

– Однообразный белый шум.

– Порой от него нет спасения, – сказала она. – А иногда он проникает в душу постепенно. Я пытаюсь говорить с ним: «Еще рано, Смерть, погоди».

– Я лежу в темноте и смотрю на часы. Сплошь нечетные числа. Час тридцать семь ночи. Три пятьдесят девять утра.

– Смерть отмечена нечетными числами. Так сказал мне сикх. Тот праведник из Айрон-Сити.

– В тебе вся моя сила, вся энергия. Как же мне убедить тебя, что это страшная ошибка? Я всегда смотрел, как ты купаешь Уайлдера, гладишь мою мантию. А теперь эти невинные наслаждения мне недоступны. Неужели ты не сознаешь, как чудовищно поступила?

– Порой от этого бывает так больно, словно меня ударили, – сказала она. – Так, что даже отпрянуть хочется.

– Неужели ради этого я женился на Бабетте? Чтобы она скрывала от меня правду, прятала вещи, участвовала в тайном сексуальном сговоре против меня? У всех заговоров одна цель, – мрачно сказал я ей.

Мы крепко, надолго обнялись, стиснули друг друга в объятиях, и было в них все: любовь, печаль, нежность, секс и борьба. Как ловко мы чередовали эмоции, находили нюансы, используя малейшие движения наших рук, наших бедер, каждый, даже самый слабый вдох, чтобы достичь согласия в этом нашем страхе, скорее покончить с соперничеством, противопоставить свои затаенные желания хаосу в наших душах.

Этилированный, неэтилированный, неэтилированный высшего качества.

Отдыхая после любви, мы лежали нагишом, мокрые и блестящие от пота. Я укрыл нас обоих одеялом. Некоторое время мы сонно перешептывались. Включился приемник.

– Я здесь, рядом, – сказал я. – Скажи, что тебе хочется или

нужно, и я все сделаю, как бы это ни было трудно.

– Глоток воды.

– Запросто.

– Я пойду с тобой.

– Полежи отдохни.

– Не хочу одна.

Мы надели халаты и направились в ванную попить воды. Бабетта пила, а я тем временем отлил. По пути в спальню я обхватил ее одной рукой, и мы пошли в обнимку, навалившись друг на друга, как подростки на пляже. Я постоял у кровати, а Бабетта аккуратно расправила простыни и положила на место подушки. Она сразу легла и свернулась калачиком, но мне еще нужно было кое-что выяснить и кое-что сказать.

– И все-таки – чего удалось добиться сотрудникам «Грей Рисерч»?

– Они изолировали часть мозга, отвечающую за страх смерти. Дилар воздействует на этот участок и приносит облегчение.

– Невероятно.

– Это не просто сильнодействующий транквилизатор. Препарат особым образом взаимодействуете медиаторами мозга, связанными со страхом смерти. Каждой эмоции, каждому чувству соответствуют свои медиаторы. Мистер Грей обнаружил медиаторы страха смерти, а затем решил найти такие препараты, которые заставили бы мозг вырабатывать собственные ингибиторы.

– Поразительно и очень страшно.

– Всё, что происходит с тобой всю жизнь, – результат стремительного движения молекул где-то у тебя в мозге.

– Генриховы теории насчет мозга. Все они верны. Мы – сумма наших химических импульсов. Не надо мне это рассказывать. Даже думать об этом невыносимо.

– По количеству молекул на определенном участке можно установить все, что ты говоришь, делаешь и чувствуешь.

– А что происходит в этой системе с добром и злом? Со страстью, завистью и ненавистью? Они что, превращаются в скопление нейронов? Не хочешь ли ты сказать, что целой эпохе человеческих слабостей настал конец, и трусость, садизм, растление – слова бессмысленные? Мы что, должны с тоской об этом вспоминать? А как же наша кровожадность? Раньше убийца внушал людям страх: его злодеяние было подвигом. А что происходит, когда мы сводим преступление к молекулам и клеткам? Мой сын играет в шахматы с убийцей. Он все это мне рассказывал. Не хочу слушать.

– Могу я наконец поспать?

– Погоди. Если дилар приносит облегчение, почему же ты в последние дни так грустишь, почему все время смотришь в пространство?

– Все просто. Лекарство не действует.

На этих словах голос ее дрогнул. Бабетта с головой накрылась одеялом. Мне осталось только глазеть на ее холмы и перекаты. На радио позвонил мужчина: «Никак не могу понять, какого я пола». Сквозь стеганое одеяло я погладил Бабетту по голове и плечам.

– Может, уточнишь, в чем дело, Баб? Я здесь, рядом. Я хочу помочь.

– Мистер Грей дал мне шестьдесят таблеток в двух пузырьках. Он сказал, что этого хватит с лихвой. По одной таблетке через каждые семьдесят два часа. Выделение лекарства происходит постепенно, с таким расчетом, чтобы одна пилюля прекращала действовать точно во время приема другой. Где-то в конце ноября или в начале декабря у меня кончился первый пузырек.

– Дениза его нашла.

– Правда?

– С тех пор она идет по твоим следам.

– Где я его оставила?

– В мусоре на кухне.

– Зачем я это сделала? Какая беспечность.

– А второй пузырек? – спросил я.

– Второй пузырек нашел ты.

– Знаю. Я спрашиваю, сколько таблеток ты приняла.

– Из этого – уже двадцать пять. В общей сложности – пятьдесят пять. Пять осталось.

– Четыре. Одну я отдал на анализ.

– Ты мне об этом говорил?

– Да. Ну и как? Состояние хоть как-то изменилось?

Из-под одеяла показалась ее макушка.

– Сперва я думала, что да. В самом начале даже появилась надежда. Потом – никакого улучшения. Меня это все больше удручает. А теперь дай мне поспать, Джек.

– Помнишь, однажды вечером мы ужинали у Марри? По дороге домой заговорили о твоих провалах памяти. Ты сказала, что сама толком не знаешь, пьешь лекарство или нет. Сказала, что не помнишь. Это, конечно, ложь.

– Наверное, – сказала она.

– Но насчет провалов памяти вообще ты не лгала. Мы с Денизой предположили, что твоя забывчивость – побочный эффект одного из твоих лекарств.

Голова появилась целиком.

– Абсолютно неверно, – сказала Бабетта. – Это не побочный эффект лекарства. Это побочный эффект состояния. Мистер Грей сказал, что потеря памяти – отчаянная попытка противодействовать страху смерти. Нечто вроде войны нейронов. Я многое способна забывать, но забыть о смерти не удается. А теперь неудачу потерпел и мистер Грей.

– Он знает об этом?

– Я оставила ему сообщение на автоответчике.

– И что он сказал, когда перезвонил?

– Он прислал мне по почте кассету, я взяла ее с собой к Стоверам и послушала. По его словам, он буквально сожалеет – что бы это ни значило. Мол, я в общем-то была неподходящим объектом. Он уверен, что когда-нибудь, в ближайшем будущем, лекарство кому-нибудь где-нибудь поможет. Сказал, что совершил со мной ошибку. Все делалось непродуманно. Он был слишком нетерпелив.

Была уже глубокая ночь. Мы оба измучились. Но так далеко зашли, так много сказали, что я понимал: на этом останавливаться нельзя. Я глубоко вздохнул. Потом откинулся на подушку и уставился в потолок. Бабетта перегнулась через меня и выключила свет. Затем нажала кнопку приемника, прихлопнув голоса. Примерно так же заканчивались тысячи других ночей. Я почувствовал, как Бабетта опустилась на кровать.

– Я обещал себе кое о чем тебе не рассказывать.

– А до утра нельзя отложить? – спросила она.

– Гипотетически я скоро должен умереть. Не завтра и не послезавтра. Но это уже запланировано.

И я рассказал ей, как подвергся воздействию ниодина «Д». Говорил сдержанно, монотонно, короткими повествовательными предложениями. О специалисте, работавшем на компьютере, о том, как он, вторгшись в мое прошлое, получил пессимистический результат сплошной сверки. Мы представляем собой сумму наших данных, сказал я Бабетте, так же, как и сумму наших химических импульсов. Я рассказал, как упорно старался утаить от нее эту новость. Но после ее собственных откровений мне показалось, что эту тайну хранить не следует.

– Так что речь уже идет не о страхе и не о мнимой угрозе, – сказал я. – Все превратилось в непреложный, бесспорный факт.

Постепенно Бабетта вылезла из-под одеяла. Рыдая, взобралась на меня. Я почувствовал у себя на шее и плечах ее цепкие пальцы. Теплые слезы капали мне на губы. Она принялась колотить меня в грудь, схватила за левую руку и укусила между большим и указательным пальцами. Ее рыдания зазвучали хрипло и сдавленно, в них послышалось страшное, чудовищное

напряжение. Нежно и неистово она схватила меня за голову обеими руками и потрясла из стороны в сторону на подушке – поступок, который в моем представлении никак не вязался ни с характером Бабетты, ни со свойственным ей поведением.

Когда, скатившись с меня на кровать, она забылась тревожным сном, я остался лежать, вперив взор в темноту. Включился приемник. Я сбросил одеяло и пошел в ванную. На пыльной полке у двери лежали Денизины пресс-папье с пейзажиками. Я открыл кран и подставил руки под струю холодной воды. Ополоснул лицо. В ванной было только одно полотенце – маленькое, розовое, с узором из крестиков-ноликов. Я медленно, тщательно вытерся. Потом отодвинул от стены кожух батареи и сунул под нее руку. Пузырек с диларом исчез.

27

Я прошел медосмотр – второй после токсического явления. Никаких устрашающих цифр на компьютерной распечатке не оказалось. Эта смерть по-прежнему таилась так глубоко, что и не разглядишь. Мой доктор, Сундар Чакраварти, спросил, почему я вдруг так зачастил на медосмотры. В прошлом я неизменно боялся что-то узнать.

Я ответил, что и сейчас боюсь. Он широко улыбнулся, ожидая шутливого объяснения. Я пожал ему руку и вышел из кабинета.

Домой я поехал по Элм-стрит, намереваясь заскочить в супермаркет. На улице было полным-полно аварийных машин и карет «скорой помощи». За ними я увидел лежащие повсюду тела. Потом услышал свисток, и прямо перед машиной возник человек с нашивкой на рукаве. Я мельком увидел других – в костюмах из милекса. Улицу перебежали санитары с носилками. Когда человек со свистком подошел поближе, я сумел разобрать буквы на его нашивке: УСВАК.

– Задний ход! – сказал он. – Улица перекрыта.

– А вы, ребята, уверены, что готовы к имитации? Может, лучше дождаться еще одной крупной утечки? Зачем зря время терять?

– Отъезжайте, отгоняйте машину! Вы в зоне поражения.

– Что это значит?

– Это значит, что вы мертвы, – сказал он мне.

Я задним ходом выехал с улицы и поставил машину. Потом не спеша вернулся и пошел пешком по Элм-стрит, старательно делая вид, что я тут совсем не лишний. Держался поближе к магазинам, смешиваясь с толпой техников и полицейских, с людьми в форме. На улице стояли автобусы, патрульные машины, санитарные фургоны. Люди с электронной аппаратурой, казалось, пытались обнаружить радиацию или токсичные осадки. В конце концов я приблизился к жертвам-добровольцам. Их было человек двадцать – они лежали ничком и навзничь, облокачивались на бордюрный камень и с ошалелым видом сидели на мостовой.

Я вздрогнул, увидев среди них свою дочь. Она лежала посреди улицы, на спине, вытянув руку в одну сторону, а голову повернув в другую. Я едва не отвел взгляд. Неужели именно такой она видит себя в девять лет – профессиональной жертвой, что старательно оттачивает свое мастерство? Как естественна она, как глубоко прониклась страшной катастрофой. Неужели только такое будущее она предвидит?

Я подошел и присел на корточки.

– Стеффи! Это ты?

Она открыла глаза.

– Тебе нельзя здесь, если ты не жертва, – сказала она.

– Я только хочу убедиться, что с тобой ничего не случилось.

– Если тебя увидят, у меня будут неприятности.

– Сейчас холодно. Ты заболеешь. Баб знает, что ты здесь?

– Я записалась добровольцем в школе, всего час назад.

– Могли бы хоть одеяла раздать, – сказал я.

Она закрыла глаза. Я поговорил с ней еще немного, но она не желала отвечать. В ее молчании не было ни раздражения, ни легкомыслия. Только добросовестность. Она уже давно предана своей жертвенности.

Я вернулся на тротуар. На другой стороне улицы, где-то в супермаркете, зарокотал усиленный громкоговорителем мужской голос:

– Позвольте поприветствовать всех вас от имени «Организации современных катастроф», частной консультационной фирмы, которая планирует и проводит условные эвакуации. Во время данной учебной тревоги – надеюсь, первой из многих, – мы координируем свои действия с двадцатью двумя ведомствами штата. Чем чаще мы будем репетировать катастрофу, тем меньшая опасность будет грозить нам во время подлинного бедствия. Ничего не поделаешь, такова жизнь, не правда ли? Семнадцать дней подряд вы берете с собой на работу зонтик – и ни капли дождя. В первый же день, когда вы оставляете его дома, – рекордный ливень. И так всю жизнь, не правда ли? Этот механизм мы рассчитываем использовать наряду с прочими. Ладно, к делу. Когда прозвучат три долгих гудка, тысячи специально отобранных эвакуируемых покинут свои дома и рабочие места, сядут в свои транспортные средства и направятся к хорошо оборудованным убежищам, снабженным всем необходимым. Руководители дорожной диспетчерской службы помчатся на свои компьютеризованные посты. По радиовещательной сети УСВАК будут переданы последние, уточненные указания. В зоне действия облака развернутся специальные подразделения, которые будут отбирать пробы воздуха. В зоне приема пищи специалисты будут в течение трех дней брать пробы молока и выбранных наугад продуктов питания. Сегодня мы не моделируем какую-то определенную утечку. Утечка или разлив у нас сегодня – универсальные. Это могут быть и насыщенные химикатами облака, и радиоактивный пар, и дымка неизвестного происхождения. Самое главное – эвакуация. Надо вывести всех из зоны поражения. После ночи вздымающегося облака мы многому научились. Однако плановую

имитацию заменить нечем. Если вмешается реальность в виде автокатастрофы или падения жертвы с носилок, важно помнить, что мы собрались не для того, чтобы вправлять сломанные кости или тушить настоящие пожары. Мы собрались ради имитации. При подлинных чрезвычайных обстоятельствах любая заминка может стоить человеческих жизней. Научившись действовать без задержек сейчас, мы сумеем обойтись без них потом, когда будет дорога каждая минута. Ладно. Когда дважды уныло провоет сирена, старосты улиц обойдут все дома в поисках тех, кого случайно забыли: птичек, рыбок, пожилых и умственно неполноценных людей, инвалидов, больных и так далее. Жертвы, осталось пять минут! Спасатели, помните, что это не имитация взрыва! Эти жертвы обессилены, но не травмированы. Приберегите свою нежную, трогательную заботу о людях для ядерного взрыва, намеченного на июнь. Остается четыре минуты, и мы продолжаем отсчет. Жертвы, обмякните! И помните: вы здесь не для того, чтобы кричать и метаться. В жертвах мы ценим сдержанность. У нас здесь не Нью-Йорк и не Лос-Анджелес. Достаточно и тихих стонов.

Решив, что мне ни к чему на это смотреть, я вернулся к машине и поехал домой. Подъезжая к дому, я услышал первые три гудка. На крыльце сидел Генрих в оранжевом жилете с отражателями и своей камуфляжной кепке. С ним был парень постарше – крепко сбитый здоровяк неопределенного цвета кожи. С нашей улицы, видимо, никто не эвакуировался. Генрих что-то искал в прикрепленных к планшету бумагах.

– В чем дело?

– Я староста улицы, – сказал он.

– Ты знал, что Стеффи будет жертвой?

– Она говорила, что это не исключено.

– Почему ты мне не сказал?

– Ну, подберут ее и положат в «скорую». Что тут страшного?

– Я и сам не знаю, что тут страшного.

– Она должна поступать так, как ей хочется.

– Такое впечатление, что она просто создана для этой роли.

– Когда-нибудь это, возможно, спасет ей жизнь, – сказал он.

– Каким образом игра в раненых и мертвых может спасти кому-нибудь жизнь?

– Раз она занимается этим сейчас, возможно, ей не придется заниматься этим впоследствии. Чем упорнее ты к чему-то готовишься, тем меньше вероятность, что это случится на самом деле.

– Консультант сказал то же самое.

– Это уловка, но она действует.

– А это кто?

– Это Орест Меркатор. Он будет помогать мне разыскивать оставшихся.

– Значит, вы – тот парень, который собирается сидеть в клетке с ядовитыми змеями. Можете объяснить, зачем?

– Хочу побить рекорд, – сказал Орест.

– Почему ради рекорда непременно надо погибнуть?

– Погибнуть? Кто сказал хоть слово о том, чтобы погибнуть?

– Вас будут окружать редкие и смертельно опасные рептилии.

– Они лучшие в своем деле. А я хочу быть лучшим в своем.

– Каково же ваше дело?

– Просидеть в клетке шестьдесят семь дней. Именно столько времени потребуется для побития рекорда.

– Вы хоть понимаете, что рискуете умереть ради пары строчек в книжонке?

Он испытующе посмотрел на Генриха, явно считая мальчишку ответственным за этот идиотский допрос.

– Они вас укусят, – не унимался я.

– Не укусят.

– Откуда вы знаете?

– Знаю и всё.

– Это же настоящие змеи, Орест. Один укус – и дело с концом.

– Один укус – если они будут кусаться. Но кусаться они не будут.

– Это живые змеи. Вы – живой человек. Змеи постоянно кусают людей. Их яд смертелен.

– Людей кусают. А меня не укусят.

Неожиданно для себя я сказал:

– Укусят-укусят. Эти змеи не знают, что вы и мысли о смерти не допускаете. Они не знают, что вы молоды, сильны и думаете, будто смерть может грозить всем, кроме вас. Они укусят вас, и вы умрете.

Я замолчал, устыдившись страстности своей аргументации. Потом с удивлением заметил, что Орест смотрит на меня с некоторым интересом, с невольным уважением. Быть может, из-за моей чрезмерной горячности осознал всю серьезность своей задачи и почуял неотвратимость гибели.

– Если захотят укусить, укусят, – сказал он. – По крайней мере, сразу отдам концы. Это самые лучшие, самые проворные и ядовитые змеи. Если меня укусит африканская гадюка, я умру через пару секунд.

– К чему такая спешка? Вам девятнадцать лет. Вы еще найдете сотни способов умереть, и они будут гораздо лучше змей.

Что это за имя – Орест? Я всматривался в его лицо. Он вполне мог бы быть уроженцем Латинской Америки, Ближнего Востока, Центральной Азии, темнокожим восточноевропейцем, светлокожим негром. Есть ли у него акцент? Я толком не понял. Может, он полинезиец, североамериканский индеец, еврей-сефард? Все труднее понять, чего нельзя говорить людям.

– Сколько фунтов сможете выжать лежа? – спросил он меня.

– Не знаю. Не очень много.

– Вы били когда-нибудь человека кулаком по лицу?

– Может, разок и стукнул слегка. Давно.

– А я бы врезал кому-нибудь по морде. Кулаком, без перчатки. Изо всех сил. Чтобы выяснить, каково это.

Генрих ухмыльнулся, словно типичный стукач из кино. Прозвучала сирена – два унылых гудка. Оба мальчишки принялись искать в своих бумагах нужные адреса, а я вошел в дом. На кухне Бабетта кормила Уайлдера.

– На нем оранжевый жилет, – сказал я.

– Это на всякий случай. Если будет туман, его не собьют машины, в которых люди спасаются бегством.

– По-моему, никто и не думает спасаться бегством. Как ты себя чувствуешь?

– Получше, – сказала она.

– Я тоже.

– По-моему, когда я с Уайлдером, у меня улучшается настроение.

– Я тебя понимаю. Мне с Уайлдером всегда хорошо. Может, потому, что ему все быстро надоедает? Он эгоистичен, но не жаден, он ведет себя несдержанно и совершенно естественно. Поразительно: стоит ему бросить одну вещь, как он тут же пытается схватить другую. Если остальные дети не вполне понимают ценность каждого мгновения, каждого события, мне становится досадно. Они упускают то что следует бережно хранить и смаковать. Но если так поступает Уайлдер, я вижу в этом подлинную гениальность.

– Возможно, однако меня в нем радует нечто другое. Нечто более важное, возвышенное. Я и сама толком не знаю, что именно.

– Напомни мне, что нужно спросить у Марри, – сказал я.

Бабетта поднесла ко рту малыша ложку супа, гримасничая, чтобы он ее передразнивал, и залопотала:

– Да-да-да-да-да-да-да.

– У меня один вопрос. Где дилар?

– Забудь о нем, Джек. Это золото дураков, или как там их называют.

– Жестокий самообман. Знаю. Но мне хотелось бы хранить таблетки в надежном месте – просто как доказательство существования дилара. Если у тебя вдруг омертвеет левое полушарие, я хочу иметь возможность подать на кого-нибудь в суд. Осталось четыре таблетки. Где они?

– Ты что, хочешь сказать, что под кожухом батареи их нет?

– Вот именно.

– Я их не трогала, честное слово.

– Может, ты выбросила их в миг раздражения или депрессии? Они нужны мне только ради исторической достоверности. Как пленки, записанные в Белом Доме. Их отправляют в архив.

– Ты не прошел предварительных испытаний, – сказала она. – Даже одна пилюля может оказаться опасной.

– Я не хочу ничего принимать.

– Нет, хочешь.

– Никто не зовет нас в зону приема пищи. А где мистер Грей? Может, я из принципа хочу на него в суд подать.

– Мы с ним заключили сделку.

– По вторникам и пятницам. Мотель «Грей вью».

– Я не об этом. Я обещала никому не называть его подлинное имя. Учитывая твои намерения, я тем более не должна нарушать обещание. Скорее ради тебя, чем ради него. Я ничего не скажу, Джек. Давай просто продолжать жить как жили. Давай пообещаем друг другу сделать для этого все что в наших силах. Да-да-да-да-да.

Я подъехал к начальной школе и остановился на другой стороне улицы, напротив главного входа. Спустя двадцать минут на улицу хлынула толпа школьников – около трехсот детишек, говорливых, веселых, безудержных. Они выкрикивали остроумные оскорбления, со знанием дела, обстоятельно сквернословили, мутузили друг дружку ранцами и вязаными шапочками. Я сидел за рулем и вглядывался в эту массу лиц, чувствуя себя то ли извращенцем, то ли торговцем наркотиками.

Разглядев в толпе Денизу, я посигналил, и она подошла к машине. Раньше я никогда не заезжал за ней в школу, и Дениза, обходя машину спереди, бросила на меня жесткий подозрительный взгляд – это значило, что она не расположена выслушивать о нашем решении разъехаться или развестись. Домой я поехал вдоль берега реки. Дениза внимательно разглядывала мой профиль.

– Речь о диларе, – сказал я. – Этот препарат не имеет отношения к забывчивости Бабетты. Как раз наоборот. Она принимает дилар для улучшения памяти.

– Я тебе не верю.

– Почему?

– Потому что ты не стал бы заезжать за мной в школу только для того, чтобы это сказать. Потому что мы уже выяснили, что по рецепту это лекарство не купишь. Потому что я разговаривала с ее врачом, и он в первый раз о нем слышит.

– Ты звонила ему домой?

– В кабинет.

– Для обычного терапевта дилар – средство чересчур специфическое.

– Моя мама – наркоманка?

– Я думал, ты умнее.

– Не умнее.

– Нам бы хотелось знать, что ты сделала с пузырьком. Там еще оставалось несколько таблеток.

– Откуда ты знаешь, что я их взяла?

– Мы оба с тобой это знаем.

– Если мне кто-нибудь скажет, что такое дилар, может, мы и договоримся.

– Ты еще не все знаешь, – сказал я. – Твоя мама его больше не принимает. Из каких бы соображений ты ни взяла пузырек, они уже не являются вескими.

Мы развернулись и поехали на запад, через территорию колледжа. Я машинально достал из кармана пиджака темные очки и надел.

– Тогда я его выброшу, – сказала Дениза.

Какие только доводы я ни перепробовал за следующие несколько дней – от искусной паутины некоторых просто захватывало дух. Пытаясь убедить Денизу, что пузырек должен храниться у взрослых, я даже заручился поддержкой Бабетты. Однако воля девочки была воистину несокрушима. В прошлом жизнь ее как юридического субъекта зависела от чужих переговоров и сделок, и теперь она раз и навсегда постановила придерживаться неких принципов – слишком строгих для возможности хоть какого-то соглашения, компромисса. Она твердо решила прятать пузырек до тех пор, пока мы не откроем его тайну.

Может, оно и к лучшему. В конце концов, препарат мог оказаться опасным. К тому же я не сторонник простых решений и не верю, что проглоченное лекарство избавит мою душу от застарелого страха. И все же мысли о блюдцевидной пилюле не давали мне покоя. Подействует ли это лекарство? Может, оно помогает не всем, а некоторым? Доброкачественный вариант ниодиновой угрозы. Таблетка скатывается с моего языка прямо в желудок. Растворяется сердцевина с лекарством, благотворные

химические вещества попадают в мою кровеносную систему, устремляются к участку мозга, отвечающему за страх смерти. Сама пилюля бесшумно самоуничтожается посредством крошечного взрыва, направленного вовнутрь, полимерной имплозии, осторожной, аккуратной и заботливой.

Технология с человеческим лицом.

28

Уайлдер сидел на высоком детском стульчике перед плитой и смотрел, как в маленькой эмалированной кастрюльке кипит вода. Казалось, этот процесс его зачаровал. Может, малыш обнаружил некую чудесную связь между явлениями, которые всегда считал отдельными? На кухне подобные мгновения бывают ежедневно – быть может, не только у меня, но и у него.

Вошла Стеффи:

– Насколько мне известно, только у меня среда – любимый день.

Видимо, ее заинтересовал сосредоточенный вид Уайлдера. Она подошла и встала рядом, пытаясь понять, что именно притягивает его к бурлящей воде. Потом наклонилась и заглянула в кастрюльку: нет ли там яйца?

У меня в голове вдруг зазвучала песенка из рекламы продукта под названием «Рэй-Бэн Уэйфэрер».

– Как прошла эвакуация?

– Многие так и не явились. Мы слонялись без дела и ныли.

– На реальную явятся, – сказал я.

– Тогда будет поздно.

Свет на кухне – яркий, прохладный, от него все сверкало. Стеффи уже собралась в школу и надела пальто, но от плиты не отошла и смотрела то на Уайлдера, то на кастрюльку, пытаясь отыскать, что именно так заинтересовало и восхитило его.

– Баб говорит, ты получила письмо.

– Мама хочет, чтобы я приехала на Пасху.

– Отлично. Ты хочешь поехать? Конечно, хочешь. Тебе же твоя мама нравится. Кажется, она сейчас в Мехико, да?

– Кто меня отвезет?

– В аэропорт – я. А мама тебя встретит. Это нетрудно. Би постоянно это проделывает. Тебе же нравится Би.

Осознав всю чудовищную сложность этой задачи – перелета в другую страну чуть ли не со сверхзвуковой скоростью, на высоте десяти тысяч метров, в одиночку, в горбатом контейнере из титана и стали, – Стеффи на минуту умолкла. Мы смотрели, как кипит вода.

– Я опять записалась в жертвы. Это будет перед самой Пасхой. Поэтому, наверно, придется остаться.

– Еще одна эвакуация? А на сей раз что за повод?

– Странный запах.

– То есть какой-то химический продукт с завода за рекой?

– Наверно.

– Что же должна делать жертва запаха?

– Нам еще не сказали.

– Не сомневаюсь, что уж на этот раз, в виде исключения, тебя отпустят. Я напишу записку.

Первым и четвертым браком я сочетался с Дейной Бридлав, матерью Стеффи. В первом браке мы прожили неплохо и это вдохновило нас на повторную попытку, как только выдался удобный для обоих случай. Когда мы ее предприняли – после безрадостных эпох Дженет Сейвори и Твиди Браунер, – все опять пошло наперекосяк. Правда, лишь после того, как мы зачали Стефани Роуз – одной звездной ночью в Барбадосе. Дейна должна была дать там взятку какому-то чиновнику.

О своей службе в разведке она почти ничего мне не рассказывала. Я знал, что она рецензирует беллетристику для ЦРУ – в основном большие серьезные романы с кодированной структурой. Эта работа утомляла ее и раздражала, почти не оставляя времени наслаждаться едой, сексом или беседами. По телефону она постоянно разговаривала с кем-то по-испански, была сверхдеятельной матерью и вся так и сверкала, будто какая-то жуткая молния. Толстые романы приходили по почте регулярно.

Любопытно, что я то и дело невольно оказывался в обществе разведчиков. Дейна занималась шпионажем на полставки. Твиди происходила из знатного старинного рода, где по давней традиции воспитывались разведчики и контрразведчики, а теперь была замужем за высокопоставленным оперативником, работающим в джунглях. Дженет до ухода в ашрам была специалистом по иностранной валюте и занималась исследованиями для засекреченной группы передовых теоретиков, связанной с неким подозрительным «мозговым центром». Мне она сообщила только, что они никогда не встречаются в одном месте дважды.

Что же касается Бабетты, то к моему обожанию наверняка примешивалось чувство облегчения. Она не хранила в себе никакие тайны – по крайней мере, пока страх смерти не довел ее до безумства подпольных изысканий и эротического жульничества. Я пытался представить себе мистера Грея и его висячий член. Образ получался смутным, незавершенным. Оправдывая фамилию, человек был в буквальном смысле серым, испускал просто зримые помехи.

Вода в кастрюльке заклокотала. Стеффи помогла малышу слезть со стульчика. Выйдя в прихожую, я столкнулся с Бабеттой. Мы обменялись простым, но заданным от чистого сердца вопросом – тем, который после откровенного ночного разговора о

диларе задавали друг другу дважды или трижды в день: *«Как ты себя чувствуешь?»* Задав этот вопрос и услышав его, мы оба почувствовали себя лучше. Я помчался наверх за своими очками.

По телевидению передавали благотворительную викторину в пользу раковых больных.

В закусочной Сентенари-холла я смотрел, как Марри обнюхивает свою посуду. Нью-йоркские эмигранты были бледны как-то по-особому мертвенно. Особенно Лашер и Траппа. Их болезненная бледность свидетельствовала об одержимости, о сильных страстях, подавляемых в тесноте помещений. Марри сказал, что Эллиот Лашер похож на персонажа из film noir. Резкие черты лица и надушенные каким-то маслянистым экстрактом волосы. Мне пришла в голову странная мысль: эти люди тоскуют по черно-белому, а в стремлениях каждого доминируют ахроматические тона, их личные оттенки послевоенной городской серости, возведенные в абсолют.

Излучая угрозу и агрессию, за столик сел Альфонс Стомпанато. Казалось, он смотрит на меня: один завкафедрой оценивает ауру другого. К его мантии на груди была пришита эмблема «Бруклин Доджерз».

Лашер скомкал бумажную салфетку и швырнул ее в человека, сидевшего через два столика от нас. Потом пристально посмотрел на Граппу.

– Кто оказал на твою жизнь самое большое влияние? – спросил он угрожающим тоном.

– Ричард Уидмарк в «Поцелуе смерти». Когда Ричард Уидмарк столкнул ту старую даму в инвалидной коляске с лестницы, я сделал для себя нечто вроде эпохального открытия. Оно разрешило ряд противоречий. Я стал подражать садистскому смеху Ричарда Уидмарка и смеялся так десять лет. Это помогло мне пережить несколько тяжелых в эмоциональном отношении периодов. Ричард Уидмарк в роли Томми Юдо в «Поцелуе смерти» Генри Хатауэя. Помнишь тот жуткий смех? Лицо гиены. Мерзкое хихиканье. Благодаря этому смеху я многое в жизни понял. Он помог мне стать человеком.

– Ты когда-нибудь плевал в свою бутылку с газировкой, чтобы не делиться с другими детьми?

– Машинально. Некоторые даже на бутерброды плевали. Мы играли в расшибец, а потом покупали что-нибудь поесть и попить. И тут начинался целый ливень плевков. Ребята плевали на свои сливочные помадки, в свои русские шарлотки.

– Сколько тебе лет было, когда ты впервые понял, что твой папаша – ничтожество и тупица?

– Двенадцать с половиной, – сказал Граппа. – Я сидел на

балконе в кинотеатре «Лоуз Фэрмонт» и смотрел «Ночную схватку» Фрица Ланга с Барбарой Стэнуик в роли Мэй Дойл, Полом Дагласом в роли Джерри д'Амато и великим Робертом Райаном в роли Эрла Пфайфера. С участием Дж. Кэрролла Нэша, Кита Эндиса и молодой Мэрилин Монро. Фильм снят за тридцать два дня. Черно-белый.

– У тебя хоть раз бывала эрекция, когда стоматолог-гигиенист чистила тебе зубы и при этом терлась о твою руку?

– Да я со счета сбился.

– Когда ты откусываешь заусенец на большом пальце, ты съедаешь его или выплевываешь?

– Пожую немножко, а потом быстро смахиваю с кончика языка.

– Ты когда-нибудь закрываешь глаза, – спросил Лашер, – сидя за рулем на шоссе?

– На Северном девяносто пятом закрыл глаза на целых восемь секунд. Восемь секунд – мой личный рекорд. По извилистым проселочным дорогам я ездил с закрытыми глазами не дольше шести секунд, да и то со скоростью тридцать или тридцать пять миль в час. На многорядных автострадах обычно разгоняюсь до семидесяти и только потом закрываю глаза. Это надо проделывать на прямых участках. На прямых участках, когда в машине сидели люди, я закрывал глаза аж на пять секунд. Главное – дождаться, когда пассажиры задремают.

Лицо у Граппы круглое, влажное, озабоченное. Чем-то похож на обиженного пай-мальчика. Я смотрел, как он закуривает, гасит спичку и бросает ее в салат Марри.

– А в детстве ты очень любил, – спросил Лашер, – воображать себя мертвым?

– Да что там детство! – сказал Граппа. – Я и сейчас постоянно это воображаю. Стоит из-за чего-нибудь расстроиться, как представляю, что все друзья, родственники и коллеги собрались у моего фоба. Они очень, очень сожалеют о том, что не были ко мне внимательнее при жизни. Чувство жалости к себе – вот чего я всячески стараюсь не утратить. Неужели нужно отказываться от него только потому, что взрослеешь? Жалость к себе очень хорошо удается детям, а значит, она – чувство естественное и очень важное. Воображать себя мертвым – проявлять самую низкую, гнусную, самую приятную форму детской жалости к себе. Как раскаиваются и скорбят все эти люди, с виноватым видом стоящие у твоего большого гроба, выкрашенного под бронзу! Они даже не могут взглянуть в глаза друг другу, поскольку знают: смерть этого порядочного, сердобольного человека – следствие заговора, в котором все они принимали участие. Гроб завален

цветами и обит изнутри ворсистой тканью оранжево-розового или персикового цвета. Какими чудесными противоречиями жалости к себе и самоуважения можно упиваться, если вообразить, как тебя готовят к похоронам, обряжают в темный костюм с галстуком, а ты при этом выглядишь загорелым, бодрым и отдохнувшим, как говорят о президенте после отпуска. Но есть во всем этом нечто инфантильнее и приятнее жалости к себе, и оно объясняет, почему я систематически пытаюсь вообразить себя покойником, замечательным парнем в окружении распустивших нюни родных и близких. Так я наказываю людей зато, что считают, будто их жизни важнее моей.

Лашер обратился к Марри:

– Нам надо бы учредить официальный День Мертвецов. Как у мексиканцев.

– Уже есть такой. Называется «Неделя Суперкубка».

Этого я слушать не хотел. Мне приходилось задумываться о собственной смерти, не зависящей ни от каких фантазий. Впрочем, доля истины в словах Граппы, пожалуй, имелась. Его ощущение заговора задело меня за живое. На смертном одре мы прощаем вовсе не жадность или нелюбовь. Мы прощаем людям их способность отстраняться, тайком плести против нас интриги, фактически сводить нас в могилу.

Я смотрел, как Альфонс поводит плечами – медведь медведем. Наверняка разминается, готовясь заговорить. Мне захотелось броситься наутек, бежать сломя голову, удрать.

– В Нью-Йорке, – сказал он, уставившись на меня, – постоянно спрашивают, есть ли у вас хороший врач по внутренним болезням. Ведь подлинная сила именно в них, во внутренних органах. В печени, почках, желудке, кишечнике, поджелудочной железе. Средство от внутренних болезней – подлинное колдовскрое зелье. От хорошего терапевта выходишь полным сил и обаяния, каким бы методом он ни лечил. Люди спрашивают о специалистах по налоговому законодательству и проектированию поместий, торговцах наркотиками. Но важен именно врач-терапевт. «Кто ваш терапевт?» – то и дело строго спрашивает кто-нибудь. Этот вопрос означает, что если ваш терапевт никому не известен, вы наверняка умрете от грибовидной опухоли поджелудочной железы. Вы должны чувствовать себя неполноценным и обреченным не только потому, что из ваших внутренних органов может сочиться кровь, но и потому, что не знаете, к кому по этому поводу обратиться, не умеете заводить полезные знакомства, завоевывать положение в обществе. Военно-промышленный комплекс – ерунда. Подлинную власть – благодаря этим мелочным сомнениям и страхам – каждодневно

прибирают к рукам такие, как мы.

Я поспешно доел десерт, встал из-за стола и ушел не прощаясь. За дверью подождал Марри. Когда он вышел, я взял его за руку чуть повыше локтя, и мы пошли по территории колледжа, словно два почтенных пожилых европейца, склонивших головы за беседой.

– Как вы можете все это слушать? – спросил я. – Смерть и болезни. Неужели им больше не о чем поговорить?

– Я был спортивным обозревателем и часто ездил в командировки с другими журналистами. Гостиницы, самолеты, такси, рестораны. Тема разговора у нас была только одна. Секс и смерть.

– Это две темы.

– Вы правы, Джек.

– Очень не хочется верить, что они неразрывно между собой связаны.

– Просто дело в том, что в разъездах все взаимосвязано. Точнее, все и ничего.

Мы прошли мимо подтаявших сугробиков.

– Как продвигается семинар по автокатастрофам?

– Мы уже просмотрели сотни сцен автомобильных аварий. Столкновения легковушек с легковушками. Легковушек с грузовиками. Грузовиков с автобусами. Мотоциклов с легковушками. Легковушек с вертолетами. Грузовиков с грузовиками. Мои студенты считают эти фильмы пророческими. В них отражена тяга – А вы им что говорите?

– В основном это низкобюджетные фильмы, телефильмы, кино, которое показывают в сельских залах под открытым небом. Своим студентам я говорю, что в подобных местах бесполезно искать апокалипсис. Я считаю эти автокатастрофы частью давней традиции американского оптимизма. Это позитивные явления, проникнутые старинным духом «будет сделано». Каждая новая автокатастрофа должна стать лучше предыдущей. Непрерывно совершенствуются орудия труда и мастерство, ставятся более трудные задачи. Режиссер говорит: «Мне нужно, чтобы этот грузовик с платформой сделал в воздухе двойное сальто, а образовавшийся при этом оранжевый огненный шар в тридцать шесть футов диаметром освещал оператору всю съемочную площадку». Я уверяю своих студентов, что, если они хотят связать все это с технологией, им придется принять в расчет эту тягу к грандиозным свершениям, погоню за мечтой.

– За мечтой? И что отвечают студенты?

– То же, что и вы: «За мечтой?». Вся эта кровь, это стекло, зловещий визг резины. А как же быть с совершенно

бессмысленным расточительством, с ощущением, что цивилизация находится в упадке?

– Ну и как же? – спросил я.

– Я говорю им, что они сталкиваются здесь не с упадком, а с простодушием. Кинематограф избавляется от трудных для понимания людских страстей, чтобы показать нам нечто стихийное, нечто яркое, шумное и недвусмысленное. Это исполнение тайных желаний консерватора, стремление к наивности. Нам хочется снова стать безыскусными. Повернуть вспять поток жизненного опыта, суетности и связанных с нею обязанностей. Мои студенты говорят: «Взгляните на эти раздавленные тела, на отрезанные конечности! Где же тут невинность?»

– И как вы на это возражаете?

– Я говорю им, что автокатастрофу на экране нельзя считать актом насилия. Это прославление, новое утверждение традиционных ценностей и взглядов. Автокатастрофы я связываю с такими праздниками, как День благодарения и День независимости. Мы не оплакиваем умерших и не радуемся чудесам. Это дни извечного мирского оптимизма, самопрославления. Мы станем лучше, будем преуспевать, совершенствоваться. Понаблюдайте за любой автокатастрофой в любом американском фильме. Это же мгновение пылкой отваги, напоминающее о старомодном высшем пилотаже, когда каскадеры ходили по крылу самолета. Постановщики таких аварий способны передать беспечность, беззаботную радость, которая и не ночевала в катастрофах зарубежного кино.

– И насилие здесь ни при чем.

– Вот именно. И наличие здесь ни при чем, Джек. В фильмах царит удивительный дух наивности и веселья.

29

Мы с Бабеттой катили поблескивающие тележки по широкому проходу. Прошли мимо семейства – выбирая товар, они переговаривались на языке жестов. Я то и дело видел цветные огоньки.

– Как ты себя чувствуешь? – спросила Бабетта.

– Прекрасно. Самочувствие отличное. А ты как?

– Может, тебе пройти обследование? Разве тебе не стало бы лучше, если бы выяснилось, что у тебя ничего нет?

– Я уже два раза медосмотр проходил. У меня ничего нет.

– А что сказал доктор Чакраварти?

– Что он мог сказать?

– Он прекрасно говорит по-английски. Я люблю его слушать.

– Меньше, чем он любит говорить.

– Что значит, любит говорить? По-твоему, он пользуется каждым удобным случаем, чтобы поболтать? Он же врач. Ему приходится говорить. Более того, если вдуматься, ты платишь ему за то, чтобы он говорил. Не хочешь ли ты сказать, что он щеголяет своим прекрасным знанием английского? Чтобы тебя уесть?

– Нам нужен стеклоочиститель «Гласс Плюс».

– Не оставляй меня одну, – сказала Бабетта.

– Я только зайду в пятый проход.

– Я не хочу одна, Джек. По-моему, ты это знаешь.

– Мы непременно справимся, – сказал я. – Быть может, даже станем сильнее прежнего. Мы полны решимости выздороветь. Бабетта – не неврастеничка. Она сильная, здоровая, уживчивая, она уверена в себе. С готовностью принимает предложения. Вот какой характер у Бабетты.

Мы не расставались ни у прилавков, ни у кассы. Бабетта купила три газетенки для следующего визита к Старику Тридуэллу. В очереди мы вместе их читали. Потом вместе пошли к машине, погрузили покупки, сели рядышком и поехали домой.

– Вот разве что глаза, – сказал я.

– То есть?

– Чакраварти считает, что мне нужно обратиться к окулисту.

– Опять цветные пятнышки?

– Да.

– Перестань носить эти темные очки.

– Без них я не могу читать лекции о Гитлере.

– Почему?

– Они нужны мне, вот и все.

– Дурацкая, бесполезная вещь.

– Я сделал карьеру, – сказал я. – Может, конечно, я понимаю не все ее факторы, но тем больше оснований не вмешиваться.

Центры помощи страдающим дежа-вю закрылись. Незаметно прекратила работу «горячая линия». Казалось, люди почти всё забыли. Едва ли я вправе их винить, хотя и чувствовал, что меня в известной мере бросили расхлебывать кашу в одиночку.

Уроки немецкого я посещал исправно. Мы с учителем начали работать над вступительным словом, которое мне, возможно, предстояло произнести перед делегатами конференции по Гитлеру – до нее оставалось несколько недель. Окна полностью завалило мебелью и всяким хламом. Говард Данлоп сидел посреди комнаты, и его овальное лицо омывали шестьдесят ватт пыльного света. Я начал подозревать: разговаривает он только со мной. А кроме того – что я ему нужен больше, чем он мне. Жуткая, тягостная мысль.

На полуразвалившемся столе возле двери лежала книга на немецком языке. На переплете зловеще чернел жирный готический шрифт названия: «Das Aegyptische Todtenbuch».

– Что это такое? – спросил я.

– «Египетская книга мертвых», – прошептал Данлоп. – В Германии это бестселлер.

Время от времени, когда Денизы не было дома, я без всякой цели заходил в ее комнату. Брал в руки вещи, клал их на место, смотрел за занавеской и выдвигал ящик стола, шарил ногой под кроватью. Скользил по комнате рассеянным взглядом.

Бабетта слушала беседы с радиослушателями.

Я начал выбрасывать вещи. Вещи с верхних и нижних полок моей кладовки, вещи в коробках из подвала и с чердака. Я выбросил письма, старые дешевые книжки, журналы, которые хранил, чтобы когда-нибудь прочесть, огрызки карандашей. Выбросил теннисные туфли, шерстяные носки, перчатки с рваными пальцами, старые галстуки и ремни. Наткнулся на стопки школьных табелей успеваемости, на сломанные деревяшки от складных парусиновых кресел. Все это я выбросил. Я выбросил все аэрозоли в баллончиках без колпачков.

Газовый счетчик издавал специфический звук.

В тот вечер я видел по телевизору репортаж: полицейские выносили с чьего-то заднего двора в Бейкерсвилле мешок для трупов. По словам репортера, найдены два тела и предполагается, что в том же дворе зарыто больше. Возможно, гораздо больше. Возможно, двадцать, тридцать трупов – точно никто не знает. Репортер взмахнул рукой, показав размеры участка. Большой там двор.

Репортаж вел человек средних лет – он говорил громко, отчетливо и в то же время до известной степени фамильярно, намекая тем самым на свои частые контакты со зрителями, на общие интересы и взаимное доверие. Поиск захоронений будет продолжаться всю ночь, сказал он, и телеканал вернется на место преступления, как только этого потребует развитие событий. В его устах это прозвучало, как обещание любовника.

Три дня спустя я забрел в комнату Генриха, где временно стоял телевизор. Генрих сидел на полу в спортивной фуфайке с капюшоном и смотрел прямой репортаж с того же места. Двор был залит светом прожекторов, и среди куч грунта копались люди с кирками и лопатами. Падал легкий снег. На переднем плане стоял репортер без шапки, в дубленке, и сообщал самые последние новости. Полицейские заявили, что располагают достоверной информацией, землекопы трудились умело и методично, работы продолжались более семидесяти двух часов. Но больше тел не найдено.

Ощущение обманутых ожиданий – всеобщее. На месте происшествия царили уныние и опустошенность. Подавленность, мрачная тоска. Мы и сами ею прониклись – я и мой сын, – пока молча смотрели на экран. Поначалу казалось, что репортер просто оправдывается. Однако, твердя об отсутствии массового захоронения, показывая на землекопов и качая головой, он постепенно впал в отчаяние и, в конце концов, едва ли не взмолился о понимании и сочувствии.

Я подавил в себе разочарование.

30

В темноте, когда все на свете объято сном, не спит лишь рассудок, жадный, как глотающий монеты автомат. Я пытался разглядеть стены, туалетный столик в углу. Привычное ощущение беззащитности. Подавленный, слабый, умирающий, одинокий. Паника, происки Пана, бога девственных лесов, наполовину козла. Вспомнив о приемнике с часами, я повернул голову направо и стал смотреть, как происходит последовательная смена чисел на цифровом табло – с нечетного на четное. Зеленые цифры тлели в темноте.

Через некоторое время я разбудил Бабетту. Когда она придвинулась поближе, в воздухе разлилось тепло ее тела. Тепло удовлетворенности. Смесь сна и беспамятства. Где я? Кто ты такой? Что мне снилось?

– Надо поговорить, – сказал я.

Бабетта что-то бормотала, видимо, пытаясь отогнать кого-то, незримо стоящего над душой. Когда я потянулся к лампе, она наотмашь ударила меня по руке. Лампа зажглась. Бабетта отодвинулась к приемнику, укрылась с головой и застонала.

– Тебе не отвертеться. Нам надо кое-что обсудить. Мне нужен доступ к мистеру Грею. Нужно настоящее название «Грей Рисерч».

Ей удалось лишь простонать:

– Нет.

– Я не требую невозможного. У меня есть чувство меры. Никаких несбыточных надежд и видов на будущее. Я просто хочу проверить, опробовать. В волшебство я не верю. Я прошу только об одном: дай попробовать, а там видно будет. Я уже не один час лежу парализованный. Обливаюсь потом. Пощупай мою грудь, Бабетта.

– Еще пять минут. Мне надо поспать.

– Пощупай. Дай мне руку. Смотри, как мокро.

– Все мы потеем, – сказала она. – Подумаешь, пот.

– Он течет ручьями.

– Ты хочешь принять лекарство. Бесполезно, Джек.

– Мне нужно только одно: несколько минут наедине с мистером Греем, чтобы выяснить, есть ли у меня шансы.

– Он подумает, что ты хочешь его убить.

– Вздор. Я что, сумасшедший? Разве я смогу убить его?

– Он поймет, что я рассказала тебе про мотель.

– Мотель – дело прошлое. Тут уже ничего не изменишь. Зачем убивать единственного человека, который может избавить меня от страданий? Пощупай у меня подмышками, если не веришь.

– Он примет тебя за ревнивого мужа.

– Честно говоря, мотель – не такое большое горе. Мне что, легче станет, если я его убью? Ему не обязательно знать, кто я такой. Назовусь вымышленным именем, выдумаю ситуацию. Помоги мне, прошу тебя.

– Только не говори, что ты потеешь. Подумаешь, пот. Я этому человеку слово дала.

Утром мы сидели за кухонным столом. В прихожей работала сушилка. Я слушал, как со стуком бьются о барабан пуговицы и молнии.

– Я уже знаю, что хочу ему сказать. Опишу все сухо и беспристрастно. Без философии и теологии. Апеллирую к прагматической стороне его натуры. По существу, я приговорен к смерти, и это непременно произведет на него впечатление. Честно говоря, большего и не требуется. Я попал в страшную беду. Думаю, это не оставит его равнодушным. Кроме того, он захочет провести еще один эксперимент с живым объектом. Таковы уж эти ученые.

– Откуда мне знать, что ты его не убьешь?

– Ты же моя жена. Я что, убийца?

– Ты мужчина, Джек. Все мы знаем, каковы мужчины в безрассудной ярости. Как раз это у мужчин получается. Безумная, мучительная ревность. Кровожадность. Если у людей что-то хорошо получается, они вполне естественно хотят как-то проявить свои способности. Будь у меня такие способности, я бы их проявила. Но я их лишена. Поэтому не жажду крови, а читаю вслух слепым. Иными словами, я знаю, на что способна. И готова довольствоваться малым.

– Чем я это заслужил? Это на тебя не похоже. Сарказм, издевка.

– Хватит об этом, – сказала она. – Дилар – моя ошибка. Я не допущу, чтобы ты тоже сделал ее.

Мы слушали, как стучат и скребутся пуговицы и язычки молний. Пора в колледж. Голос наверху произнес: «Калифорнийские ученые заявили, что следующая мировая война, возможно, начнется из-за соли».

Всю вторую половину дня я простоял у окна в своем кабинете, наблюдая за Обсерваторией. Уже смеркалось, когда Винни Ричардс появилась у боковой двери, посмотрела по сторонам, затем звериной рысью двинулась по склону. Я поспешил из кабинета и вниз по лестнице. Через считанные секунды я уже бежал по мощенной булыжником дорожке. Почти сразу меня охватил необыкновенный душевный подъем, то радостное возбуждение, которое сопровождает возвращение

забытого удовольствия. Я увидел, как Винни, мастерски заложив вираж, сворачивает за угол хозяйственной постройки. Я бежал изо всех сил, вырвавшись на волю, разрывая встречный ветер, бежал, выпятив грудь, высоко подняв голову, энергично работая руками. Возле библиотеки Винни появилась вновь – проворная фигурка кралась под арочными окнами, почти не различимая в сумерках. У самых ступенек она вдруг резко стартовала и сразу же набрала скорость. Маневр был проделан ловко и красиво, я оценил его, хотя сам оказался в проигрыше. Я решил обогнуть здание с другой стороны и догнать Винни на длинной прямой дорожке к химическим лабораториям. Некоторое время я бежал рядом с командой по лакроссу, у которой как раз закончилась тренировка. Мы бежали нога в ногу. Игроки размахивали сачками на ритуальный манер и нараспев что-то скандировали, но слов я не разобрал. Добежав до широкой дорожки, я уже судорожно глотал воздух. Винни как сквозь землю провалилась. Я пробежал через автостоянку для преподавателей, мимо ультрасовременной часовни, обогнул здание администрации. Ветер уже можно было услышать – он скрипел голыми ветвями в вышине. Я побежал на восток, передумал, постоял, озираясь, снял очки и напряг зрение. Мне хотелось бежать, я был готов бежать, сколько хватит сил, бежать всю ночь, бежать, позабыв, зачем бегу. Через несколько минут я увидел фигурку – она вприпрыжку поднималась в гору на границе колледжа. Это могла быть только Винни. Я вновь бросился бежать, сознавая, что она слишком далеко, сейчас скроется за гребнем, исчезнет на несколько недель, а может, и месяцев. Вложив весь остаток сил в последний рывок вверх по склону, я помчался по бетону, по траве, потом по гравию. Воздух обжигал легкие, тяжесть в ногах казалась самим притяжением земли, исполнением самого сурового и неумолимого ее приговора – закона падающих тел.

Каково же было мое удивление, когда, допыхтев почти до вершины холма, я увидел, что Винни остановилась. На ней был утепленный пуховик «Гор-Текс», и она смотрела на запад. Я не спеша направился к ней. Миновав ряд частных домов, я увидел, почему она вдруг остановилась. Край земли дрожал в темноватой дымке. В нее, словно корабль в пылающее море, погружалось заходящее солнце. Очередной постмодернистский закат, изобилующий романтическими образами. Стоит ли его описывать? Достаточно сказать, что все в нашем поле зрения, казалось, существует л ишь для того-, чтобы накапливать в себе его свет. Впрочем, закат был не из самых эффектных. Раньше бывали и более насыщенные цвета, общая панорама полотна тоже впечатляла сильнее.

– Привет, Джек. Я не знала, что вы сюда ходите.

– Обычно я езжу на путепровод.

– Замечательно, правда?

– Да, очень красиво.

– Заставляет задуматься. Право же заставляет.

– О чем же вы думаете?

– О чем вообще можно думать перед такой красотой? Мне становится страшно, и я это знаю.

– Это еще не самое жуткое зрелище.

– А меня пугает. Ого, вы только взгляните!

– В прошлый вторник видели? Яркий, великолепный закат. А в этом, по-моему, нет ничего особенного. Наверное, они начинают постепенно сходить на нет.

– Надеюсь, что нет, – сказала она. – Без них было бы скучно.

– Возможно, в атмосфере становится меньше ядовитых веществ.

– Есть целое философское направление, и его представители считают, что эти закаты вызваны не остатками облака, а остатками микроорганизмов, которые его съели.

Мы стояли и рассматривали вал ярко-красного света, похожий на пульсирующее сердце в репортаже по цветному телевидению.

– Помните блюдцевидную пилюлю?

– Конечно, – сказала Винни. – Великолепное произведение инженерного искусства.

– Я выяснил, для чего она предназначена. Чтобы решить извечную проблему. Победить страх смерти. Она заставляет мозг вырабатывать ингибиторы страха смерти.

– Но мы все равно умираем.

– Да, все умирают.

– Просто не будем бояться, – сказала она.

– Совершенно верно.

– По-моему, это любопытно.

– Дилар был создан таинственной группой исследователей. Кажется, среди них есть психобиологи. До вас уже дошли слухи о группе, тайно изучающей страх смерти.

– Я обо всем узнаю последней. Меня невозможно найти. А когда все-таки находят, то непременно сообщают нечто важное.

– Что может быть важнее?

– Вы говорите о сплетнях, о слухах. Все это шито белыми нитками, Джек. Кто эти люди, где их база?

– Потому я и погнался за вами. Думал, вам что-то известно. Я даже не знаю, что такое психобиолог.

– Понятие всеобъемлющее. На стыке различных наук. Вся

настоящая работа делается не ими.

– Неужели вам нечего мне рассказать?

Что-то в моем голосе заставило ее обернуться. Винни было едва за тридцать, но у нее имелся здравый смысл, а глаз на почти незаметные несчастья, из которых состоит жизнь человека, был наметан. Завитки растрепанных каштановых волос спадали на узкое лицо, возбужденно поблескивали глаза. Длинный нос и впалые щеки придавали ей сходство с огромной болотной птицей. Строгий маленький рот. Улыбка никак не вязалась с ее резким неприятием обольстительного остроумия. Как-то Марри сказал мне, что очень увлекся ею, сочтя ее физическую неуклюжесть показателем стремительного развития интеллекта, и я, кажется, понял, что он имел в виду. Хватаясь за все подряд, она ощупью пробиралась в окружающий мир и порой опустошала его.

– Не знаю, почему вас интересует этот препарат, – сказала Винни, – но я считаю, что избавляться от предчувствия смерти, даже от страха смерти – ошибка. Разве смерть – не та граница, в которой мы нуждаемся? Разве не придает она жизни драгоценную размеренность, некую определенность? Спросите себя, был бы хоть один ваш поступок в этой жизни исполнен красоты и смысла, не знай вы о существовании последней черты, границы, предела.

Я смотрел, как свет проникает в округлые верхушки высоких облаков. «Клорет», «Веламинт», «Фридент».

– Меня считают дурочкой, – сказала она. – Что ж, у меня и вправду есть одна дурацкая догадка насчет человеческого страха. Представьте себе, Джек, что вы, убежденный домосед, тяжелый на подъем, оказываетесь вдруг в чаще леса. Краем глаза вам удается что-то разглядеть. Не успев толком ничего сообразить, вы понимаете, что это очень крупное существо и ему нет места в вашей повседневной системе координат. Изъян в картине мира. Здесь не должно быть либо его, либо вас. И вот это существо с важным видом появляется из-за деревьев. Медведь-гризли, громадный, с лоснящейся бурой шерстью, роняет слизь с оскаленных клыков. Вы же еще никогда не видели крупного зверя в чаще, Джек. Он необычен, он так будоражит воображение, что вы начинаете воспринимать собственную личность иначе, по-новому осознавать себя – в странной и ужасающей ситуации. Вы по-новому, глубже понимаете свое «я». Открываете себя заново. Вам ясно, что медведь сейчас разорвет вас на части. Зверь, вставший на задние лапы, дал вам возможность как бы впервые увидеть себя со стороны – в непривычной обстановке, в одиночестве, отдельного, всего себя целиком. Вот этот сложный процесс мы и называем страхом.

– Страх – самосознание, поднятое на более высокий уровень.

– Совершенно верно, Джек.

– А смерть? – спросил я.

– «Я», «я», «я». Если сможете представить смерть более привычной, чаще упоминаемой, ослабнет ваше восприятие себя относительно смерти, а вместе с ним – и страх.

– Как же сделать смерть более привычной? С чего начать?

– Не знаю.

– Может, надо рисковать жизнью, не снижая скорости на поворотах? Или заниматься скалолазанием по выходным?

– Не знаю, – сказала она. – Хорошо бы узнать.

– Надеть страховочный пояс и взобраться наверх по фасаду девяностоэтажного здания? Что мне делать, Винни? Посидеть в клетке с африканскими змеями, как лучший друг моего сына? Вот чем нынче люди занимаются.

– По-моему, главное, Джек, – это забыть о лекарстве в той таблетке. Там нет лекарства, это очевидно.

Она была права. Все они правы. Надо жить себе дальше как живется, растить детей, учить студентов. Стараться не думать о той неподвижной фигуре в мотеле «Грейвью», лапающей мою жену своими грубыми руками.

– И все-таки мне грустно, Винни, но вы придали моей грусти остроту и глубину, которых ей прежде не хватало.

Она отвернулась, залившись краской.

– Вы больше, чем друг до первой беды, – сказал я, – вы настоящий враг.

Она покраснела до корней волос.

– Блестящие люди никогда не думают о загубленных ими жизнях, – сказал я, – на то они и блестящие.

Я смотрел, как Винни краснеет. Она обеими руками натянула на уши свою вязаную шапочку. Взглянув последний раз на небо, мы начали спускаться с холма.

ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ: 1) выписать чек для компании «Уэйвформ Дайнэмикс»? 2) указать на чеке номер вашего счета? 3) подписать ваш чек? 4) произвести платеж полностью – частичные платежи мы не принимаем? 5) вложить в конверт ваш подлинный платежный документ, а не копию? 6) вложить ваш документ в конверт таким образом, чтобы в прозрачном прямоугольнике был виден адрес? 7) отделить зеленую часть вашего документа по пунктирной линии и сохранить ее для учета? 8) указать ваш точный адрес и почтовый индекс? 9) если вы планируете переехать, сообщить нам об этом по меньшей мере за три недели? 10) заклеить конверт? 11) наклеить на конверт марку – министерство почт не осуществляет доставку корреспонденции без почтового сбора? 12) отправить конверт по меньшей мере за три дня до даты, указанной в синем квадратике?

КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ: ЗДОРОВЬЕ, ПОГОДА, НОВОСТИ, ПРИРОДА.

В тот вечер никому не хотелось готовить. Мы сели в машину и поехали на торговую улицу где-то в глуши, за городской чертой. Бесконечная полоса неонового света. Я остановился у заведения, где подавали курятину и шоколадные кексы. Мы решили поесть в машине. Машина вполне соответствовала нашим запросам. Нам хотелось есть, а не глазеть на людей. Хотелось набить желудки и поскорей с этим покончить. Мы не нуждались ни в пространстве, ни в ярком свете. И уж совсем ни к чему было сидеть друг против друга за столом и совместными усилиями плести за столом тонкую и сложную перекрестную сеть кодов и сигналов. Мы были согласны есть, глядя в одну сторону, почти ничего не видя дальше своих рук. Все это смахивало на какое-то оцепенение. Дениза принесла еду в машину, раздала бумажные салфетки. Мы начали трапезу. Ели полностью одетые – в пальто и шапках, – ели молча, терзая куриные крылышки и ножки руками и зубами. В напряженной сосредоточенности все помыслы свелись к единственной неотвязной мысли. Я с удивлением обнаружил, что страшно проголодался. Я жевал и глотал, почти ничего не видя дальше своих рук. Вот как голод уменьшает вселенную. Вот он – край зримого мира пищи. Стеффи оторвала от куриной грудки хрустящую кожицу и отдала Генриху. Кожицу

она никогда не ела. Бабетта обсосала косточку. Генрих обменялся с Денизой крылышками – большое на маленькое. Он считал, что маленькие крылышки вкуснее. Все отдавали Бабетте косточки – обгладывать и обсасывать. Я отогнал от себя мысленный образ мистера Грея, развалившегося нагишом на кровати в номере мотеля, – картинка нечеткая, расплывчатая по краям. Мы послали Денизу за новыми порциями и молча стали ее ждать. Потом вновь набросились на еду, почти ошеломленные глубиной своего наслаждения. Стеффи негромко спросила:

– Почему астронавты не падают вниз?

Наступила пауза – мгновение, выпавшее из вечности.

Дениза перестала есть и сказала:

– Они легче воздуха.

Мы все перестали жевать. Повисла тревожная тишина.

– Там нет воздуха, – сказал наконец Генрих. – Они не могут быть легче того, чего нет. Космос – вакуум, если не считать тяжелых молекул.

– А я думала, в космосе холодно, – сказала Бабетта. – Если там нет воздуха, как там может быть холодно? Почему бывает тепло или холодно? Из-за воздуха – по крайней мере, так я считала. Если нет воздуха, не должно быть холодно. Это как день без погоды.

– Неужели там совсем ничего нет? – спросила Дениза. – Что-то же должно быть.

– Что-то есть, – раздраженно сказал Генрих. – Тяжелые молекулы.

– Когда не знаешь, надевать ли свитер, – сказала Бабетта.

Вновь наступила пауза. Мы немного подождали, гадая, окончен ли разговор. Потом опять взялись за еду. Принялись молча обмениваться лишними кусочками курицы, совать руки в картонные коробки с жареной картошкой. Уайлдер любил мягкие белые ломтики, и все выбирали их для него. Дениза раздала маленькие пакетики с водянистым кетчупом. Как и все в машине, наши облизанные пальцы пахли жиром. Мы менялись кусочками и глодали кости.

Стеффи вполголоса спросила:

– А в космосе очень холодно?

Мы снова стали ждать. Потом Генрих сказал:

– Зависит от того, как высоко заберешься. Чем выше, тем холоднее.

– Минуточку! – сказала Бабетта. – Чем выше, тем ближе к солнцу. А значит, теплее.

– С чего ты взяла, что солнце находится высоко?

– Как же оно может быть низко? Чтобы увидеть солнце, надо

посмотреть наверх.

– А ночью? – спросил Генрих.

– Оно находится с другой стороны земли. Но люди все равно смотрят наверх.

– Самое главное в теории сэра Альберта Эйнштейна, – сказал он, – солнце не может быть наверху, если стоишь на солнце.

– Солнце – огромный расплавленный шар, – сказала Бабетта. – Стоять на солнце невозможно.

– Он же сказал «если». По существу, нет ни верха и низа, ни жары и холода, ни дня и ночи.

– Что же есть?

– Тяжелые молекулы. Весь смысл космоса в том, что там могут остывать молекулы, улетевшие с поверхности гигантских звезд.

– Как молекулы могут остывать, если не существует ни жары, ни холода?

– Жара и холод – всего лишь слова. Считай, что это просто слова. Нам приходится употреблять слова. Не можем же мы только мычать.

– Это называется солнечная королла, – сказала Дениза, затеявшая отдельную дискуссию со Стеффи. – Мы видели ее недавно, когда смотрели прогноз погоды.

– А я думала, «королла» – это машина, – сказала Стеффи.

– Всё на свете – машина, – сказал Генрих. – Нужно понять самое главное: глубоко внутри гигантских звезд происходят самые настоящие ядерные взрывы. Русские баллистические ракеты, которые должны внушать всем такой страх, – полная ерунда. Тут взрывы в сотни миллионов раз мощнее.

Наступила долгая пауза. Никто не произнес ни слова. Вернувшись к еде, мы успели откусить и разжевать только один кусочек.

– Предполагается, что эту безумную погоду нам устраивают русские физики, – сказала Бабетта.

– Какую безумную погоду? – спросил я.

– У нас есть физики, у них есть физики – предположительно, – сказал Генрих. – Они хотят сгубить наш урожай, влияя на погоду.

– Пока что погода нормальная.

– Для этого времени года, – язвительно вставила Дениза.

Как раз на той неделе один полицейский видел, как из НЛО выбросили тело. Это случилось во время обычного патрулирования на окраине Глассборо. Мокрый от дождя труп неопознанного мужчины, полностью одетого, был найден той же ночью, чуть позже. Вскрытие показало, что смерть была вызвана

множественными переломами и остановкой сердца, произошедшей, возможно, в результате сильнейшего шока. Под гипнозом полицейский, Джерри Ти Уокер, во всех подробностях оживил в памяти загадочный ярко светящийся неоном объект, с виду похожий на громадный волчок, зависший на высоте восьмидесяти футов над полем. Полицейский Уокер, ветеран вьетнамской войны, сказал, что эта странная сцена напоминает ему, как экипажи сбрасывали с вертолетов людей, подозреваемых в связи с вьетконговцами. Удивительно: наблюдая, как открывается люк и тело камнем падает на землю, Уокер почувствовал, что прямо ему в мозг телепатически передается какое-то страшное сообщение. Полицейские гипнотизеры планируют повысить интенсивность сеансов и попытаться раскрыть смысл этого сообщения.

Необычные зрелища наблюдались по всей округе. Казалось, от города к городу светящейся змеей протянулась накаленная линия ментальной энергии. Какая разница, верите вы в такие явления или нет. Они вызывали возбуждение, волнение, дрожь. В небесах раздастся некий оглушительный глас или звук, и нас заберут отсюда, спасут от смерти. Люди, невзирая на риск, ездили на городские окраины, где одни поворачивали обратно, а другие отваживались доехать до более отдаленных районов – в те дни, казалось, зачарованных, живших в святой надежде на чудо. Воздух стал теплым и нежным. Ночи напролет лаяла соседская собака.

На стоянке возле закусочной мы ели свои шоколадные кексы. Крошки прилипали к буграм ладоней. Мы всасывали крошки, мы облизывали пальцы. Когда трапеза близилась к концу; физические пределы нашего сознания начали расширяться. Мир пищи лишился границ, и вокруг возник другой мир, шире. Мы стали видеть дальше своих рук. Выглянули в окошки, посмотрели на машины и огни. Посмотрели на людей, выходящих из закусочной, – на мужчин, женщин и детей, которые несли коробки с едой, наклоняясь вперед, навстречу ветру. Трое на заднем сиденье нетерпеливо заерзали. Им хотелось быть дома, а не здесь. Хотелось в мгновение ока оказаться в своих комнатах, среди своих вещей, а не сидеть в тесном автомобиле, на этой не защищенной от ветра бетонной равнине. Возвращение домой – всегда серьезное испытание. Я завел машину, зная, что всего через несколько секунд накопившееся нетерпение примет угрожающие формы. Мы с Бабеттой чувствовали: сзади затевается нечто мрачное и грозное. Они ополчатся на нас, пользуясь классической стратегией ссоры между собой. Но за что нас критиковать? За то, что мы недостаточно быстро везем их домой?

Зато, что мы старше них, выше ростом и чуть более уравновешенные? Быть может, им не по душе наш статус заступников – заступников, которые рано или поздно непременно их подведут? Или же они попросту критикуют нас за то, какие мы есть – за наши голоса, черты лица, жесты, походку, манеру смеяться, цвет глаз, цвет волос, оттенок кожи, за наши хромосомы и клетки?

Словно желая отвлечь их, словно не в силах вынести скрытого смысла исходящей от них угрозы, Бабетта деликатно спросила:

– Интересно, почему эти НЛО появляются главным образом на севере штата? Лучшие необычные явления наблюдаются на севере. Людей похищают и забирают на борт. Там, где приземлялись летающие тарелки, фермеры находят следы выжженной растительности. Одна женщина рожает, по ее словам, энлэошного ребенка. И все это на севере.

– Именно там горы, – сказала Дениза. – Космические корабли могут скрываться от радаров и прочего.

– Почему горы на севере? – спросила Стеффи.

– Горы всегда на севере, – объяснила ей Дениза. – Таким образом весной, как и запланировано, тает снег, и вода стекает по склонам в водоемы возле больших городов, которые именно по этой причине находятся в низменной части штата.

Мне показалось – на мгновение, – что она права. Ее слова были не лишены некоего странного смысла. Но так ли это? Может, все это – безумные фантазии? Должны же быть большие города в северной части некоторых штатов. Или они находятся к северу от границы, в южной части штатов, расположенных севернее? Утверждение Денизы явно было ошибочным, и все же мне пришлось как следует напрячься – на мгновение, – чтобы его опровергнуть. Я никак не мог назвать ни городов, ни гор, чтобы доказать ложность ее утверждения. Должны же быть горы в южной части некоторых штатов. Или они обычно находятся к югу от границы, в северной части штатов, расположенных южнее? Я пытался назвать столицы всех штатов, перечислить фамилии губернаторов. Как север может быть ниже юга? Не этот ли вопрос вносит путаницу в мои мысли? Не в этом ли коренится заблуждение Денизы? Или же, как это ни ужасно, она все-таки права?

По радио сказали: «Избыток соли, фосфора, магния».

Вечером мы с Бабеттой сидели и пили какао. На кухонном столе, среди купонов, длинных лент чеков из супермаркета, каталогов торгово-посылочных фирм, лежала открытка от Мэри Элис, моей старшей дочери. Прекрасный плод моего первого

брака с Дейной Бридлав, шпионкой, а следовательно – родная сестра Стеффи, хотя их разделяют десять лет и два брака. Мэри Элис уже девятнадцать, и она живет на Гавайях, где работает с китами.

Бабетта взяла бульварную газетку, оставленную кем-то на столе.

– Установлено, что мышиный писк звучит с частотой сорок тысяч колебаний в секунду. Хирурги применяют высокочастотную запись мышиного писка для уничтожения опухолей в организме человека. Ты веришь?

– Да.

– Я тоже.

Она отложила газету. Немного погодя взволнованно спросила:

– Как ты себя чувствуешь, Джек?

– Я здоров. Самочувствие отличное. Честное слово. А ты?

– Лучше бы я не рассказывала тебе о своем состоянии.

– Почему?

– Тогда бы ты не сказал, что, может быть, умрешь первым. У меня есть всего два сильных желания. Этого я хочу больше всего на свете. Чтобы Джек не умер первым. И чтобы Уайлдер навсегда остался таким, как сейчас.

32

Мы с Марри шли по территории колледжа в своей европейской манере – степенно, с задумчивым видом, склонив головы за беседой. Иногда один хватал другого за руку возле локтя – жест близости и физической поддержки. В других случаях мы шли чуть поодаль друг от друга, Марри – сжав руки за спиной, Глэдни – по-монашески сложив на животе, что выдавало некоторую озабоченность.

– Как ваши успехи в немецком?

– Я еще неважно говорю. Слова даются с трудом. Мы с Говардом готовим вступительную речь для конференции.

– Вы зовете его Говардом?

– Не в глаза. В глаза я его никак не зову, и он меня никак не называет. Вот такие отношения. А вы хоть изредка с ним видитесь? В конце концов, живете под одной крышей.

– Разве что мельком. Похоже, такое положение вещей вполне устраивает всех пансионеров. У нас такое впечатление, будто этого жильца не существует.

– Что-то в нем не так. Не могу понять, что именно.

– Он телесного цвета, – сказал Марри.

– Верно. Однако меня не это беспокоит.

– Нежные руки.

– Разве в этом дело?

– Нежные руки у мужчины заставляют задуматься. Вообще нежная кожа, младенческая. По-моему, он не бреется.

– А что еще? – спросил я.

– Пятнышки высохшей слюны в уголках рта.

– Вы правы, – взволнованно сказал я. – Высохшая слюна. Когда он наклоняется вперед, демонстрируя артикуляцию, я чувствую, как слюна летит мне прямо в лицо. А что еще?

– Еще привычка стоять у человека над душой.

– И все это вы замечаете, хотя видитесь с ним мельком. Удивительно. Что еще? – спросил я.

– Еще строгая осанка, которая, по-моему, не вяжется с его шаркающей походкой.

– Да, при ходьбе он не шевелит руками. Еще, еще?

– И кое-что еще, никак со всем этим не связанное, нечто мрачное и жуткое.

– Вот именно. Но что? Никак не могу понять.

– Вокруг него странная атмосфера, некое настроение, ощущение, некое присутствие, какая-то эманация.

– Но что? – спросил я, поражаясь собственному личному

интересу. На краю моего поля зрения плясали цветные пятнышки.

Мы прошли тридцать шагов, и тут Марри принялся кивать. На ходу я следил за выражением его лица. Он кивал, переходя улицу, и продолжал кивать всю дорогу мимо музыкальной библиотеки. Я шел нога в ногу с ним, сжимая его руку у локтя, всматриваясь в его профиль, дожидаясь, когда он заговорит, и нимало не беспокоясь, что нам с ним совсем не по пути, а он все кивал, пока мы приближались ко входу в «Уилмот Грандж» – отреставрированное здание девятнадцатого века на границе колледжа.

– Но что? – спросил я. – Что?

Лишь четыре дня спустя он позвонил мне домой в час ночи и доверительно прошептал на ухо:

– Он похож на человека, который находит тела умерших привлекательными с эротической точки зрения.

Я пошел на еще один, последний урок. Стены и окна были загорожены скопившимися вещами – они занимали уже почти полкомнаты. Хозяин сидел передо мной с каменным лицом и, закрыв глаза, перечислял фразы из разговорника для туристов: «Где я нахожусь?», «Не могли бы вы мне помочь?», «Уже ночь, а я заблудился». Я с трудом досидел до конца. Марри навсегда повесил на этого человека правдоподный ярлык. Почти непостижимое в Говарде Данлопе сделалось понятным. Странное и почти отталкивающее сделалось болезненным. Отвратительная похотливость вырвалась из его тела наружу и, казалось, распространилась по всей забаррикадированной комнате.

Право же, мне наверняка будет не хватать этих уроков. А также – собак, немецких овчарок. В один прекрасный день они попросту исчезли. Наверное, понадобились в другом месте или их отправили обратно в пустыню оттачивать мастерство. Правда, люди в костюмах из милекса остались. С приборами для измерения и взятия проб они бригадами из шести-восьми человек разъезжали по городу на сигарообразных машинах, похожих на игрушки «Лего».

Я стоял у кровати Уайлдера и смотрел, как он спит. Голос за стеной произнес: «В «Набиско» Дайна Шор» за четыреста тысяч долларов».

То была ночь, когда сгорела дотла психиатрическая больница. Мы с Генрихом сели в машину и поехали смотреть. На место происшествия съехались и другие мужчины с мальчишками-подростками. Очевидно, в подобных случаях отцы и сыновья стремятся подружиться. Пожары сближают их, помогают завязать разговор. Можно по достоинству оценить оборудование и снаряжение пожарных, обсудить и покритиковать

методы работы. Мужественность пожарного дела – чтобы не сказать типично мужская сила пожаров – вполне соответствует такому лаконичному диалогу, который отцы с сыновьями могут вести без неловкости и смущения.

– В основном, пожары в старых зданиях начинаются в электропроводке, – сказал Генрих. – Неисправная проводка. Это первая фраза, которую обычно слышишь в толпе.

– В основном люди погибают не от ожогов, – сказал я. – Они задыхаются в дыму.

– Это вторая фраза, – сказал он.

Пламя гудело в мансардных окнах. Мы стояли на другой стороне улицы и смотрели, как оседает часть крыши, как гнется и падает высокая труба. Из соседних городов то и дело прибывали машины с насосами, и на землю тяжело спускались люди в резиновых сапогах и старомодных касках. Шланги разворачивались и наводились на цель, а над крышей, в отблесках огня, на выдвижной лестнице показалась фигура. Мы смотрели, как начинает рушиться портик, чья дальняя колонна уже накренилась. По лужайке шла женщина в горящей ночной рубашке. Мы разинули рты – ни дать ни взять благодарная аудитория. Увидев эту хрупкую седую женщину, объятую пламенем, мы поняли: она безумна, она так далека от мира грез и неистовства, что огонь вокруг ее головы кажется чуть ли не пустяком. Никто не проронил ни слова. В этом пекле, среди вспыхивающих и с грохотом падающих деревянных конструкций, она обрела тишину и покой. Как ярко и убедительно. Какова сила безумия. Один брандмейстер поспешил к ней, затем в нерешительности попятился, будто она оказалась не той, кого он рассчитывал здесь встретить. Она упала в бледной вспышке огня – негромкой, будто чашка разбилась. Вокруг нее уже суетились четверо пожарных, пытавшихся сбить пламя касками и фуражками.

Неимоверными усилиями огонь продолжали сдерживать – труд этот казался таким же древним и давно утраченным, как возведение соборов, и пожарных подхлестывал благородный дух цехового братства. В кабине одной машины сидел далматинский дог.

– Странно, что на все это можно смотреть бесконечно, – сказал Генрих. – Совсем как на огонь в камине.

– Ты хочешь сказать, что огонь в камине и пожар одинаково притягательны?

– Я только хочу сказать, что можно смотреть бесконечно.

– «Огонь всегда зачаровывал человека». Ты это хочешь сказать?

– Это мой первый горящий дом. Дай мне шанс, – сказал он.

Отцы с сыновьями, запрудившие тротуар, показывали пальцами то на одну, то на другую часть полусгоревшего здания. Сквозь толпу бочком пробрался Марри – его меблированные комнаты находились всего в нескольких шагах оттуда. Он молча пожал нам руки. Лопались стекла. Сквозь крышу провалилась еще одна труба – несколько кирпичей упали на лужайку. Марри вновь пожал нам руки и тут же исчез.

Вскоре запахло чем-то едким. Возможно, загорелся изоляционный материал – полистироловая оболочка труб и проводов – или что-то из десятка других веществ. Воздух насытился резким, горьким зловонием, перебившим запахи дыма и обугленного камня. У людей, толпившихся на тротуаре, испортилось настроение. Одни поднесли к лицам платки, другие тотчас же с отвращением удалились. Судя по всему, независимо от причины запаха, люди почувствовали себя обманутыми. Постановка высокой и страшной античной драмы оказалась под угрозой срыва из-за чего-то противоестественного, какого-то наглого, подлого вмешательства. Наши глаза начало жечь. Толпа рассосалась. Казалось, нас вынудили признать, что существует вторая разновидность смерти. Есть натуральная, а есть синтетическая. Запах разогнал нас, но за ним крылось нечто гораздо худшее – такое чувство, будто смерть приходит двумя путями, порой одновременно, смерть проникает в рот и нос, смерть имеет запах и способна каким-то образом преображать душу.

Мы поспешили к своим машинам, думая уже не только о бесприютных, безумных и погибших, но и о самих себе. Вот как подействовал запах горящего материала. Усугубил нашу печаль, приблизил к разгадке тайны нашего смертного часа.

Дома я подогрел нам обоим молока. И удивился, что Генрих его пьет. Сжимая кружку в руках, он заговорил о шуме большого пожара, грохоте горения, усиленном потоками воздуха, как при разгоне прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Мы сидели и пили молоко. Немного погодя он пошел в свой чулан подтягиваться на перекладине.

Я засиделся допоздна, думая о мистере Грее. Сером, нечетком, размытом. Картинка дрожала и колыхалась, очертания фигуры расплывались от случайных искажений. В последнее время я невольно стал часто думать о мистере Грее. Иногда это бывал собирательный образ. Не менее четырех сероватых фигур, занимающихся изысканиями. Ученые, провидцы. Их изменчивые тела проникали друг сквозь друга, смешиваясь, соединяясь, сливаясь. Немного похожи на инопланетян. Умнее всех нас,

бескорыстные, бесполые, твердо решившие своим инженерным искусством избавить нас от страха. Но когда тела сливались, я оставался наедине с той же фигурой – руководителем проекта, туманным серым соблазнителем, мелкой рябью движущимся по комнате мотеля. К постели, к заговору. Я представлял, как моя жена полулежит на боку, видел ее пышные округлые формы – нагое тело, застывшее в вечном ожидании. Я смотрел на нее его глазами. Зависимая, покорная, эмоционально порабощенная. Я чувствовал его власть и превосходство. Преимущество его положения. Он завладевал моими мыслями – этот человек, которого я никогда не видел, этот полуобраз, едва заметный мазок мысленного света. Его тусклые руки тискали розовато-белую грудь. Такую отчетливую и живую, такую восхитительную на ощупь, с рыжеватыми веснушками вокруг соска. Звуки были пыткой. Я слышал шелест их любовной прелюдии, ласковый лепет, шорох плоти. Слышал шлепки и хлопки, чмоканье влажных ртов, скрип пружин продавленной кровати. Затишье, сопровождаемое бормотанием и возней. Потом серая постель погружалась во мрак, и медленно замыкался круг.

«Панасоник».

33

В котором часу я открыл глаза, почувствовав, что поблизости – некто или нечто? Был ли тот час нечетным? Всю комнату затянуло паутиной полумрака. Я вытянул ноги, прищурился, постепенно сосредоточился на знакомом объекте. Уайлдер. Он стоял в двух шагах от кровати, вглядываясь в мое лицо. Мы долго не сводили глаз друг с друга. Его большая круглая голова на несоразмерно приземистом теле с маленькими ручками и ножками придавала ему сходство с примитивистской глиняной статуэткой, неким домашним идолом неведомого культового происхождения. У меня возникло ощущение, будто он хочет мне что-то показать. Пока я потихоньку вставал с кровати, он потопал в своих стеганых башмачках за дверь. Я последовал за ним в коридор и к окну, то выходит в наш задний двор. Выйдя босиком и без халата, я почувствовал, как холод проникает сквозь гонконгский полиэфир моей пижамы. Уайлдер стоял и смотрел в окно – подоконник был чуть ниже его подбородка. Казалось, я всю жизнь ходил в пижаме, застегнутой наперекосяк, с расстегнутой и провисшей ширинкой. Уже светает? Это что – вороны каркают на деревьях?

Во дворе кто-то сидел. В старом плетеном кресле сидел выпрямившись седовласый человек – неподвижная мрачная фигура, от которой веяло жутковатым спокойствием. Поначалу, заспанный и ошеломленный, я понятия не имел, как расценить это зрелище. Казалось, ему требуется более подробное толкование, чем то, на которое я сейчас способен. Лишь одна мысль пришла мне в голову – он появился здесь не случайно, его прислали с какой-то целью. Потом в душу мне стал закрадываться страх, гнетущий и неодолимый: кулак, то и дело сжимавшийся у меня в груди. Кто этот человек, что здесь происходит? Я осознал, что Уайлдера рядом нет. Добравшись до двери его комнаты, я увидел, как он зарывается головой в подушку. Когда я подошел к кровати, он уже крепко спал. Я не знал, что делать. Мне было холодно, я совсем ослаб. Медленно, хватаясь за дверные ручки и перила, словно желая напомнить себе о свойствах реальных вещей, я вернулся к окну. Человек по-прежнему сидел во дворе, уставившись на кусты живой изгороди. В неверном блеклом свете он, недвижный и прозорливый, был виден мне в профиль. Так ли он стар, как мне показалось сначала, или седые волосы – всего лишь символ, часть его аллегорической силы? Ну конечно, все кончено. Наверное, это Смерть – или посыльный Смерти, мастер своего дела с ввалившимися глазами, явившийся из чумной

эпохи, из эпохи инквизиции и бесконечных войн, бедламов и лепрозориев. Наверняка сей автор афористических напутствий бросит на меня лишь мимолетный взгляд – умный, иронический, – когда произнесет свою изящную, отточенную фразу о моем уходе в мир иной. Я долго смотрел и ждал, когда он шевельнет рукой. Неподвижность его была властной. Я чувствовал, что с каждой секундой становлюсь бледнее. О чем свидетельствует бледность? Каково это – видеть, как Смерть собственной персоной приходит за тобой? Меня проняло ужасом до костей. Меня бросало то в жар, то в холод, я весь пересыхал и обливался потом, я был сам не свой. Кулак сжимался у меня в груди. Я подошел к лестнице, сел на верхнюю ступеньку и вгляделся в свою ладонь. Сколько еще не сделано. Каждое слово, каждый поступок – бисерина в великолепном орнаменте мироздания. Даже моя собственная, ничем не примечательная ладонь, испещренная перекрестными изгибами и штрихами выразительных линий, карта всей моей жизни – и та могла бы на долгие годы стать объектом чьего-нибудь изучения и удивления, смешанного с восторгом. Космология против пустоты.

Я встал и вернулся к окну. Он никуда не делся. Я ушел и спрятался в ванной. Опустил крышку унитаза и немного посидел, раздумывая, что делать дальше. Пускать его в дом не хотелось.

Некоторое время я ходил взад и вперед. Потом открыл кран, подставил руки под струю холодной воды и плеснул в лицо. Мне было легко и тяжело, я чувствовал себя бестолковым и догадливым. С полки у двери я взял пресс-папье с картинкой. В пластмассовом диске плавало объемное изображение Большого Каньона. Когда я поворачивал вещицу на свету, цветная картинка приближалась и удалялась. Флуктуирующие плоскости. Мне нравился этот термин. Он звучал музыкой бытия. Если бы только можно было представить себе, что смерть – всего лишь новая поверхность, где можно еще немного пожить. Другая грань космического разума. Стремительный спуск по трассе Светлого Ангела.

Я обратился к вещам первоочередным. Если я не хочу пускать его в дом, остается одно: выйти во двор. Но сначала – заглянуть к младшим детям. Тихо ступая босыми бледными ногами, я прошелся по комнатам. Надеялся, что где-то нужно подоткнуть одеяло, где-то – забрать игрушку из теплых рук ребенка, – точно забрел на минуту в телевизионную мелодраму. Все было тихо и спокойно. Неужели смерть одного из родителей они сочтут лишь новой формой развода?

Я заглянул к Генриху. Он лежал, свернувшись калачиком в левом углу кровати, у самого изголовья, весь напряженный,

словно пружина игрушки-сюрприза. Я постоял в дверях, кивая.

Я заглянул к Бабетте. Она спустилась на много уровней, снова став девчонкой, бегущей во сне фигуркой. Я поцеловал ее в макушку, вдохнув тепло сна, отдающее затхлостью. В стопке книжек и журналов отыскал свой «Майн Кампф». Включился приемник. Я поспешил из комнаты, боясь, как бы чей-нибудь жалобный голос, позвонивший на радио, крик чужой души, не стал последним, что я услышу в земной жизни.

Я спустился на кухню. Выглянул в окно. Он все еще сидел в плетеном кресле, на мокром газоне. Я открыл внутреннюю дверь, потом вторую, наружную, и вышел из дома, прижимая к животу «Майн Кампф». Когда вторая дверь с шумом захлопнулась, человек дернул головой и расставил пошире ноги. Потом поднялся с кресла и повернулся ко мне. Развеялась магическая атмосфера мрачного, властного спокойствия, аура прозорливости, стерлась печать вековой и страшной тайны. Сквозь непостижимым образом исчезающую первую фигуру стала вырисовываться вторая – обретать реальный облик, проявляться в бодрящем свете зари как совокупность движений, свойств и очертаний, силуэт живого человека, и черты его, пока я удивленно наблюдал за их возникновением, казались все более знакомыми.

То была не Смерть – передо мной стоял лишь Верной Дики, мой тесть.

– Я что, заснул? – спросил он.

– Почему вы сидите во дворе?

– Не хотел будить вас, родственнички.

– Мы разве знали о вашем приезде?

– До вчерашнего дня я и сам о нем не знал. Сел в машину и поехал прямиком, без остановок. Четырнадцать часов.

– Бабетта будет рада вас видеть.

– Это уж как пить дать.

Мы вошли в дом. Я поставил на плиту кофейник. Верной сел за стол в своей потрепанной джинсовой куртке и принялся играть крышкой старой зажигалки «Зиппо». Он был похож на дамского угодника, переживающего крушение своей карьеры. Его серебристые волосы немного потускнели, приобретя желтоватый оттенок, и он стал зачесывать их назад, в «утиный хвостик». Щеки покрывала примерно четырехдневная щетина. Хронический кашель сделался резким и трескучим – свидетельство некоторой безответственности. Бабетту беспокоило не столько его состояние, сколько тот факт, что собственные приступы кашля доставляли ему такое злобное наслаждение, словно нечто зловеще притягивало его к этим ужасным звукам. Он по-

прежнему носил армейский ремень с ковбойской пряжкой.

– Ну и что, черт возьми? Взял да и приехал. Подумаешь.

– Чем вы сейчас занимаетесь?

– Где крышу гонтом покрою, где трубу засуричу. Левачу помаленьку, вот только левачить мне не с чего. Только халтура и осталась.

Я обратил внимание на его руки. Загрубелые, в рубцах, исцарапанные, постоянно грязные и жирные от густой смазки. Он поглядывал вокруг, пытаясь выяснить, не нужно ли что-нибудь заменить или починить. Неисправные вещи частенько служили поводом для произнесения целых речей. Только благодаря им Вернон мог поговорить о прокладках и шайбах, о заливке раствором, конопачении, грунтовке. Временами он, казалось, нарочно засыпал меня такими терминами, как коловорот или лучковая пила. Мою слабую осведомленность в подобных вопросах он считал признаком некоей более серьезной некомпетентности – а может, и тупости. На таких вещах весь мир держится. Ничего не знать о них и не интересоваться ими – значит, поступаться фундаментальными принципами, изменять своему полу, всему роду людскому. Что может быть никчемнее мужчины, который не может починить текущий кран, – никчемного по сути своей, глухого к голосу истории, к тому, что заложено в его генах? Я не был уверен, что придерживаюсь иного мнения.

– Я тут на днях сказал Бабетте: «Меньше всего твой отец похож на вдовца».

– А она что?

– Она считает вас угрозой самому себе. «Он заснет с сигаретой. Заживо сгорит в постели с пропавшей без вести женщиной под боком. Официально пропавшей без вести. С какой-нибудь неопознанной заблудшей, многократно разведенной бедняжкой».

В знак того, что он высоко ценит интуицию Бабетты, Вернон закашлялся. Легочный кашель, затрудненное дыхание. Слышно было, как у него в груди булькает вязкая слизь. Я налил ему кофе и подождал.

– Я еще хоть куда, Джек, не сомневайся. Одна бабенка даже хочет замуж за меня выскочить. Она ходит в церковь, а та – в обычном трейлере. Только Бабетте не говори.

– Ни за что.

– А то расстроится. От звонков покою не будет.

– Она считает, что для брака вы стали чересчур необузданным.

– Нынче самое главное в браке что? Если хочешь получить

мелкие дополнительные услуги, даже не надо из дома выходить. В укромных уголках американского семейного гнездышка можно получить все что душе угодно. В такое уж время мы живем, на радость и горе. Чего только жены не делают. Причем всё – охотно. Даже просить ни о чем не надо. Раньше в американской семье знали только простой дедовский способ. А теперь получаешь все тридцать три удовольствия. Ты и не представляешь, что нынче в койке вытворяют. Но вот что в наше время самое поразительное: чем больше у тебя выбор дома, тем больше проституток видишь на улицах. Как это понимать, Джек? Ты же профессор. Что это значит?

– Не знаю.

– Жены носят съедобные трусики. Знают все слова и правильно их употребляют. А между тем, проститутки стоят на улицах круглые сутки, в любую погоду. Кого ждут? Туристов? Коммерсантов? Неудовлетворенных охотников за женским полом? Все будто с цепи сорвались. Кажется, я где-то читал, как японцы в Сингапур летают. Самолеты битком набиты мужиками. Удивительный народ.

– Вы серьезно собираетесь жениться?

– Надо быть полным психом, чтоб жениться на бабе, которая ходит молиться в дом на колесах.

Лукавил Вернон: под маской простачка в ожидании подходящего момента скрывались живой, пытливый ум и природная проницательность. Бабетте это действовало на нервы. Она не раз видела, как он бочком подходит к женщинам в общественных местах, чтобы невозмутимо, с непроницаемой физиономией задать какой-нибудь каверзный вопрос. Бабетта отказывалась ходить с ним в рестораны, опасаясь его экспромтов перед официантками – замечаний интимного свойства, выверенных до последнего слова реплик в сторону и комментариев: так говорил бы какой-нибудь ветеран радиопрограмм для полуночников. В такие минуты он не раз приводил ее в ярость и смущение, и она сидела как на иголках в обитых искусственной кожей кабинках.

И вот Бабетта вошла – в спортивном костюме перед своим утренним забегом вверх по ступенькам стадиона. Она увидела за столом отца, и тело ее, казалось, лишилось движущей силы. Ноги подкосились, и она остановилась на полусогнутых. В ней сохранилась лишь одна способность – в изумлении разинуть рот. Она будто пародировала разинувшую рот женщину. Она была воплощением разинутости рта, недостижимым идеалом – не менее смущенным и встревоженным, чем я в тот миг, когда увидел Вернона во дворе, неподвижного, в мертвой тишине. И

сейчас я наблюдал, как ее лицо заливает беспомощное изумление.

– Мы разве знали, что ты приедешь? – спросила она. – Почему ты не позвонил? Ты никогда не звонишь.

– Ну, приехал. Подумаешь. Би-бип.

Бабетта по-прежнему стояла на полусогнутых, пытаясь свыкнуться с его грубоватым появлением, жилистой фигурой и потасканным видом. Какой эпической силой, должно быть, показался он ей, воплотившись у нее на кухне, родитель, отец, задубевший от прожитых лет, ходячая история многочисленных связей и отношений, приехавший напомнить ей, кто она такая, сорвать с нее личину, цапнуть ее невнятную жизнь, – без предупреждения.

– Я могла бы все подготовить. Ты ужасно выглядишь. Где ты будешь спать?

– А где я спал в прошлый раз?

Пытаясь вспомнить, оба посмотрели на меня.

Мы готовили завтрак и ели, дети спускались вниз и подходили к Вернону, тот целовал их и ерошил им волосы, время шло, и Бабетта привыкала к ленивой личности в залатанных джинсах, а я начал замечать, с каким удовольствием она вертится поблизости, хлопочет вокруг него, внимательно слушает. Наслаждение сквозило в привычных жестах и машинальных ритмичных движениях. Иной раз приходилось напоминать Вернону, какие продукты он больше всего любит, каким образом приготовленными и приправленными их предпочитает, какие анекдоты рассказывает лучше всего, какие фигуры былых времен – просто дураки, а какие – шуты гороховые. Из Бабетты рекой текли обрывки воспоминаний об иной жизни. Изменился ритм ее речи, она заговорила, как в деревне. Стали другими слова, их значения. Передо мной была девчонка, которая когда-то помогала отцу шлифовать и отделывать старый дуб, поднимать с половиц батареи отопления. Годы, когда он плотничал, его увлечение мотоциклами, татуировка у него на бицепсе.

– Ты скоро станешь похож на жердь, папа. Доешь картошку. На плите есть еще.

А Верной говорил мне:

– Такой невкусной жареной картошки, какая получалась у ее матери, уже вряд ли где поешь. Разве что в государственном парке. – Тут он поворачивался к Бабетте: – Джек знает, за что я терпеть не могу эти парки. Сердце не трогают.

Мы переселили Генриха вниз, на диван, и предоставили Вернону отдельную комнату. Нас нервировало, когда мы заставали его на кухне и в семь утра, и в шесть, да и в любой

неурочный час, когда я или Бабетта спускались вниз сварить кофе. Складывалось впечатление, будто Вернон полон решимости перехитрить нас, вызвать у нас чувство вины, доказать, что как бы мало мы ни спали, он спит еще меньше.

– Я тебе так скажу, Джек. Вот стареешь и начинаешь понимать, что к чему-то готов, – только не знаешь, к чему. Все время готовишься. Причесываешься, стоишь у окна и смотришь на улицу. У меня такое чувство, будто где-то рядом постоянно шныряет какой-то суетливый человечек. Вот почему я вскочил в машину и сразу к вам.

– Рассеять чары, – сказал я. – Удрать от рутины. Рутина, доведенная до крайности, Верн, может быть смертельно опасной. У меня один друг утверждает, что именно поэтому люди и берут отпуск. Не чтобы отдохнуть, пережить волнующие приключения или побывать в незнакомых местах, а чтобы спастись от смерти, которая таится в рутине.

– Он что, еврей?

– Какое это имеет отношение к делу?

– У вас кровельный желоб покосился, – сказал он. – Ты же знаешь, как его починить, да?

Вернон любил слоняться по двору, поджидая мусорщиков, телефонных мастеров, почтальона, разносчика вечерних газет. Человека, с которым можно поболтать о технических приемах и операциях. О специальных методах. О маршрутах, интервалах, снаряжении. Сведения о занятиях не по его части развивали его цепкость ума.

Он любил поддразнивать наших детей, прикидываясь простачком. Дети неохотно возражали на его безобидные колкости. Ко всем родственникам они относились с недоверием. Родственники для них были щекотливой проблемой, частью темного, запутанного прошлого, поделенных надвое жизней, воспоминаний, разбуженных одним именем или словом.

Он любил сидеть и курить в своем видавшем виды фургончике.

Бабетта наблюдала из окна, ухитряясь выражать любовь, беспокойство, раздражение и отчаяние, надежду и уныние почти одновременно. Лишь Вернон шевельнется, в ней сквозил целый ряд смешанных чувств.

Он любил общаться с покупателями в торговом центре.

– Может, хоть ты объяснишь мне, Джек?

– Что объяснить?

– Из всех моих знакомых только ты человек образованный. Ответь мне.

– Спрашивайте.

– Неужели люди были такими же тупыми до появления телевидения?

Однажды ночью я услышал чей-то голос и решил, что это Верной стонет во сне. Надев халат, я вышел в коридор и понял, что это работает телевизор в Денизиной комнате. Я вошел и выключил его. Дениза спала в куче одеял, одежды и книжек. Уступив порыву, я тихонько подошел к открытому чулану, дернул за шнурок лампочки и заглянул внутрь: нет ли здесь дилара. Не заходя внутрь, я наклонился и насколько смог прикрыл дверь. Я увидел целую гору обуви, тряпок, игрушек, игр и прочего. Роясь в вещах, я то и дело улавливал некий едва заметный аромат детства. Пластилин, тапочки, карандашная стружка. Пузырек мог лежать в старом ботинке, в кармане какой-нибудь поношенной рубашки, скомканной и брошенной в угол. Дениза пошевелилась, и я замер, затаив дыхание.

– Что ты делаешь? – спросила она.

– Не бойся, это я.

– Я знаю, кто это.

Я снова принялся рыться в чулане, решив, что при этом у меня будет не такой виноватый вид.

– И знаю, что ты ищешь.

– Дениза, недавно я здорово перепугался. Мне показалось, должно случиться нечто ужасное. Слава богу, выяснилось, что я ошибся. Но последствия оказались затяжными. Мне нужен дилар. Он поможет мне решить одну проблему.

Я продолжал поиски.

– Что за проблема?

– Неужели тебе мало того, что проблема существует? Иначе я бы не пришел. Мы же с тобой друзья?

– Друзья. Просто не хочу, чтобы меня обманывали.

– Никакого обмана. Мне очень нужно попробовать это лекарство. Осталось четыре таблетки. Я приму их, и дело с концом.

Чем небрежнее тон, тем больше шансов ее пронять.

– Не будешь ты их принимать. Ты отдашь их маме.

– Прежде всего следует уяснить себе одну вещь, – сказал я тоном высокопоставленного правительственного чиновника. – Твоя мама не наркоманка. Дилар – не такой препарат.

– А какой? Скажи наконец, что это такое.

Что-то в ее голосе или же у меня внутри, то и в абсурдности всей ситуации позволило мне обдумать возможности ответа. Большой шаг вперед. Почему бы в самом деле не рассказать? Она достойна доверия, способна правильно толковать смысл серьезных вещей. Я понял, что, скрывая от нее правду, мыс

Бабеттой все это время поступали глупо. Девочка нормально воспримет правду, лучше узнает нас и еще больше полюбит – за слабость и страх.

Я подошел и сел на край кровати. Дениза внимательно посмотрела на меня. Я рассказал ей самое главное, опустив слезы, взрывы чувств, отвращение, ужас, воздействие ниодина «Д» на меня, договоренность Бабетты с мистером Греем о сексе, спор, кто из нас больше боится смерти. Ограничившись самим препаратом, я рассказал ей все, что знал о его поведении в желудочно-кишечном тракте и мозге.

Дениза сразу же заговорила о побочных эффектах. Все лекарства имеют побочные эффекты. Лекарство, способное устранять страх смерти, наверняка имеет ужасные побочные эффекты, особенно если оно еще проходит испытания. Безусловно, она права. Бабетта говорила о скоропостижной смерти, прекращении мозговой деятельности, отмирании левого полушария мозга, частичном параличе, о других мучительных и странных состояниях тела и разума.

Я сказал Денизе, что сила внушения может оказаться важнее побочных эффектов.

– Помнишь, как ты услышала по радио, что из-за вздымающегося облака потеют ладони? У тебя же ладони стали потными, правда? Под воздействием силы внушения одни люди заболевают, другие выздоравливают. Может, и не важно, насколько сильно или слабо действует дилар. Если я считаю, что он мне поможет, значит, он поможет.

– До поры до времени.

– Речь идет о смерти, – прошептал я. – В сущности не важно, что именно содержится в этих таблетках. Пусть там будет хоть сахар, хоть перец. Я жду не дождусь, чтобы меня ублажили, одурачили.

– Разве это не глупо?

– Вот что, Дениза, происходит с людьми, доведенными до отчаяния.

Повисло молчание. Я ожидал, что она спросит: неизбежно ли это отчаяние, не придется ли ей когда-нибудь изведать тот же страх, пройти сквозь такое же тяжкое испытание.

Вместо этого она сказала:

– Сильно или слабо он действует – не важно. Я выбросила пузырек.

– Не может быть. Куда?

– Сунула в пресс для мусора.

– Я тебе не верю. Когда это было?

– Неделю назад. Я подумала, что Баб может тайком обшарить

мою комнату и найти пузырек. Вот и решила от него избавиться. Никто ведь не хотел рассказывать мне, что это такое, правда? Поэтому я бросила его туда вместе с банками, бутылками и прочим хламом. Потом спрессовала.

– Как старый автомобиль.

– Никто мне ничего не говорил. А сказать было проще простого. Я все время была здесь.

– Ничего страшного. Не волнуйся. Ты сделала мне одолжение.

– Надо было сказать примерно восемь слов, только и всего.

– Обойдусь я без этого пузырька.

– У меня уже не в первый раз пытаются что-то выманить.

– Все равно мы друзья, – сказал я.

Я поцеловал ее в лоб и направился к двери. Вдруг до меня дошло, что я страшно проголодался. Я спустился вниз поискать еды. Свет на кухне горел. Верной сидел за столом, полностью одетый, курил и кашлял. Его сигарета уже наполовину истлела, и дюйм пепла держался на честном слове. Была у него такая привычка – подолгу не стряхивать пепел. По мнению Бабетты, тем самым он пытался внушить людям тревогу, держал их в напряженном ожидании. То же безрассудство, что ему вообще свойственно.

– Ты-то мне и нужен.

– Верн, уже глубокая ночь. Вы когда-нибудь спите?

– Идем в машину, – сказал он.

– Вы что, шутите?

– Тут такая история, что лучше решать все с глазу на глаз. В доме полно женщин. Или я ошибаюсь?

– Мы здесь одни. О чем вы хотели поговорить?

– Они спят и подслушивают, – сказал он.

Чтобы не разбудить Генриха, мы вышли через черный ход. Следом за Верноном я прошел вдоль боковой стены дома и спустился по ступенькам к подъездной дорожке. В темноте стояла его маленькая машина. Он сел за руль, а я втиснулся рядом, подобрав полы халата. Такое чувство, будто попался в какую-то тесную ловушку. В машине держался стойкий запах, напоминавший какие-нибудь вредные пары в недрах автомастерской – смесь запахов усталого металла, огнеопасной ветоши и пригоревшей резины. Обивка была порвана. В свете уличного фонаря с приборного щитка и верхней лампочки свисали провода.

– Я хочу отдать его тебе, Джек.

– Что отдать?

– Много лет он был моим. Теперь я хочу отдать его тебе. Как

знать, может, мы больше не увидимся с вами, родственнички. И черт с ним. Наплевать. Подумаешь.

– Вы отдаете мне машину? Не нужна мне ваша машина. Жуткий драндулет.

– Ты – мужчина, живешь в современном мире. У тебя когда-нибудь было огнестрельное оружие?

– Нет, – сказал я.

– Так я и думал. Я сказал себе: вот последний мужчина в Америке, которому даже нечем себя защитить.

Вернон порылся в драном заднем сиденье, достал из дырки маленький темный предмет и правой рукой протянул мне.

– Возьми его, Джек.

– Что это?

– Взвесь-ка на ладони. Попробуй на ощупь. Он заряжен.

Он протянул предмет мне. Я тупо повторил:

– Что это?

Даже не верилось, что я держу в руке пистолет. Я не отрывал от него взгляда, пытаясь понять, из каких побуждений действует Вернон. Неужто он и вправду тайный курьер Смерти? Заряженное оружие. Как быстро оно произвело во мне перемену – даже рука онемела, пока я таращился на эту штуку, отказываясь как-либо ее называть. Может, Вернон хочет, чтобы я задумался, хочет привнести в мою жизнь новую цель, некий замысел, стройность? Мне захотелось вернуть штуковину ему.

– Вещица игрушечная, но стреляет настоящими пулями, а в твоем положении большего и не требуется. Не волнуйся, Джек. Вычислить его никто не сможет.

– С какой это стати кому-то вдруг захочется его вычислять?

– Сдается мне, если даришь кому-то заряженный пистолет, следует дать подробный отчет. Это автоматический пистолет «Цумвальт» двадцать пятого калибра немецкого производства. Он не обладает убойной силой крупнокалиберного оружия, но ведь ты не собираешься охотиться с ним на носорога, правда?

– В том-то и дело. На кого мне с ним охотиться? Зачем мне эта штуковина?

– Не называй его штуковиной. Отнесись к нему со всем уважением, Джек. Это отличное оружие. Удобное, легкое, его можно спрятать где угодно. Познакомься с ним получше. А когда тебе захочется его применить, дело десятое.

– И когда же мне захочется его применить?

– Ты что, с луны свалился? Какой нынче век? Вспомни, как легко я проник к тебе во двор. Стоило открыть окно – и я в доме. На моем месте мог бы оказаться профессиональный взломщик, сбежавший заключенный, какой-нибудь бродяга с жидкой

бороденкой. Бродячий убийца, которых сейчас повсюду развелось. Серийный маньяк, который по будням служит в конторе. Выбирай любого.

– Может, там, где вы живете, и нужен пистолет. Забирайте. Нам он ни к чему.

– Себе я раздобыл боевой «магнум», и он всегда лежит у меня в изголовье. Я тебе даже рассказать не могу, что при виде его с лицом человека делается.

Он многозначительно посмотрел на меня. Я снова уставился на пистолет. Мне пришло в голову, что это лучший прибор для измерения людской приспособленности к миру. Я подбросил его на ладони, понюхал стальное дуло. Что человеку дает – помимо ощущения компетентности, благополучия и собственной важности – обладание смертоносным оружием, умение с ним обращаться, готовность в любую минуту его применить? Припрятанное смертоносное оружие. Тайна, другая жизнь, второе «я», мечта, колдовская сила, заговор, бред.

Немецкого производства.

– Только Бабетте не говори. Она страшно разозлится, если узнает, что ты прячешь огнестрельное оружие.

– Он не нужен мне, Верн. Забирайте.

– И не оставляй его где попало. Если его найдут дети, ты сразу влипнешь в историю. Пошевели мозгами. Подумай, куда лучше положить его так, чтобы в нужный момент был под рукой. Заранее прикинь вероятный сектор обстрела. Если опасаешься незваного гостя, главное – откуда он войдет, каким путем направится к ценным вещам. Если речь о психе – с какой стороны он на тебя набросится. Психи непредсказуемы, потому что сами не ведают, что творят. Могут откуда угодно появиться, даже с дерева спрыгнуть. Не поленись, утыкай оконные карнизы битым стеклом. Научись быстро падать на пол.

– Мы не желаем, чтобы в нашем городке у кого-то заводилось оружие.

– Хоть раз в жизни пошевели мозгами, – сказал он мне в темной машине. – Дело вовсе не в вашем желании.

Наутро приехала бригада рабочих – ремонтировать мостовую. Вернон был тут как тут. Стоя рядом, наблюдал, как они крошат отбойными молотками и убирают старое покрытие, потом выравнивают дымящийся асфальт. Когда рабочие уехали, его визит, судя по всему, окончился, свелся к собственной затухающей инерции. Нам стало чудиться, что там, где стоит Вернон, образуется пустота. Он осторожно разглядывал нас с почтительного расстояния, словно мы, люди посторонние, таили на него обиду. Все попытки наладить общение лишь

аккумулировали необъяснимую усталость.

На тротуаре Бабетта обняла его и расплакалась. Перед отъездом Вернон побрился, вымыл машину и повязал на шею синий платок. Казалось, Бабетта никак не может наплакаться вволю. Вглядывалась в его лицо и плакала. Плакала, обнимая его. Дала ему в дорогу пенопластовую коробку с бутербродами, курицей и кофе, и плакала, когда ставила ее на продавленное сиденье с разодранной обивкой.

– Она славная девчушка, – мрачно сказал мне Вернон.

Сев за руль, он посмотрелся в зеркальце и поправил свой утиный хвостик. Потом ненадолго закашлялся, и мы еще раз услышали, как булькает мокрота. Бабетта снова расплакалась. Наклонившись к окошку с другой стороны, мы смотрели, как он горбится, поудобнее устраиваясь за рулем, как небрежно свешивает левую руку наружу.

– Обо мне не беспокойтесь, – сказал он. – Небольшая хромота – это пустяк. Люди моего возраста вообще еле ноги волочат. В определенном возрасте хромота – дело обычное. На кашель наплевать. Кашлять полезно. Когда кашляешь, вся эта жидкая дрянь перетекает с места на место. Если эта дрянь не оседает на одном месте на долгие годы, она безвредная. Так что кашель – штука неплохая. Как и бессонница. Бессонница – штука неплохая. Какой мне прок от сна? В моем возрасте чем больше спишь, тем меньше пользы приносишь. Меньше кашляешь или хромаешь. И насчет женщин не волнуйтесь. Общение с женщинами – штука неплохая. Мы берем напрокат кассету и помаленьку занимаемся сексом. Это кровь разгоняет, сердце лучше работает. Курить – так это тоже ерунда. Мне нравится думать, что хоть что-то сходит мне с рук. Пускай мормоны курить бросают. Помрут от чего-нибудь и повреднее. О деньгах и речи нет. Я живу строго по средствам. Ни пенсии, ни сбережений, ни акций с облигациями. Так что насчет этого можете не волноваться. Обо всем уже позаботились другие. И зубы – чепуха. С зубами все в порядке. Чем сильнее шатаются, тем легче их языком расшатывать. Можно хоть чем-то язык занять. А трясучка чего? Время от времени всех трясет. К тому же у меня только левая рука дрожит. Если делать вид, будто она чужая, так даже приятно. Скажете, я необъяснимо и резко исхудал? Так нет ведь никакого смысла есть то, чего не видишь. О зрении даже говорить не стоит. Хуже, чем сейчас, уже не будет. А о рассудке вообще забудьте. Рассудок слабеет раньше, чем тело. Считается, так и должно быть. Так что за рассудок не беспокойтесь. С рассудком все в порядке. Лучше подумайте о машине. Руль весь перекошен. Тормоза трижды меняли. Капот открывается на каждой выбоине.

И все – бесстрасто. Концовка Бабетту даже развеселила. О машине. Пораженный, я стоял и смотрел, как она кружит по двору от хохота. Ее колени подгибались, она шаркала ногами, все опасения и оправдания забыты в отзвуках его лукавства.

34

Настало время пауков. Пауки в верхних углах комнат. Коконы, закутанные в тонкие кружева. Дрожащие серебристые нити казались не более чем игрой света – недолговечного, как новость, как мысль, рожденная самим светом. Голос наверху произнес: «А теперь смотрите. Джоани пытается повредить Ральфу коленную чашечку резким ударом ногой, приемом «бусидо». Она входит в контакт, он падает, она убегает».

Дениза шепнула Бабетте, что Стеффи ежедневно проверяет, нет ли опухоли у нее в груди. Бабетта рассказала мне.

Мы с Марри увеличили дальность своих глубокомысленных прогулок. Однажды в городе он принялся негромко, смущенно восторгаться тем, что парковка устроена по диагонали. В рядах стоящих наискось автомобилей есть своя привлекательность, некий местный колорит. Эта форма стоянки – неотъемлемая часть американского провинциального ландшафта, даже если машины сплошь иностранного производства. Такая схема расположения не только практична, но исключает конфронтацию, лейтмотив сексуальной агрессивности, характерный для стоянок на многолюдных улицах больших городов, где автомобили пристраиваются друг к другу сзади.

Марри утверждает, что можно испытывать тоску даже по тому месту, где находишься в данный момент.

Двухэтажный мир обыкновенной главной улицы. Скромный, благопристойный, коммерческий на свой неспешный лад, на довоенный, с остатками довоенных архитектурных деталей, сохранившимися на верхних этажах, в медных карнизах и окнах со свинцовыми стеклами, в похожем на амфору фризе над входом в дешевую лавчонку.

Он побудил меня придумать «Закон Руин».

Я сказал Марри, что Альберт Шпеер хотел возводить сооружения, которые будут прекрасно ветшать и разрушаться, наподобие величественных римских руин. Ни тебе ржавых корпусов, ни трущоб с покореженными стальными конструкциями. Он знал: Гитлер одобрит все, что наверняка будет изумлять потомков. Шпеер нарисовал одно имперское административное здание, которое предстояло построить из специальных материалов, делающих возможным романтическое разрушение – изобразил рухнувшие стены, полуразвалившиеся колонны, увитые глициниями. Разрушение – неотъемлемая часть созидания, сказал я, а это значит, что принцип жажды власти подкреплен некой ностальгией или же стремлением создавать то,

по чему будут тосковать грядущие поколения.

Марри сказал:

– У меня нет никакого доверия к чужой ностальгии – я доверяю только своей. Ностальгия есть плод неудовлетворенности и гнева. Это разрешение споров между прошлым и настоящим. Чем сильнее ностальгия, тем короче путь к насилию. Война есть форма, которую принимает ностальгия, когда людей вынуждают говорить добрые слова о своей стране.

Погода промозглая. Я открыл холодильник, заглянул в морозилку. Полиэтиленовая пленка, удобная обертка для недоеденных припасов, пакеты на липучке с печенкой и ребрышками, поблескивающие кристалликами ледяной корки, издавали странное потрескивание. Сухое, холодное шипение. Словно какой-то элемент распадался на составные части, превращался в пары фреона. Жутковатые помехи, назойливые, но почти подсознательные: я вообразил зимующие души, некую форму жизни, погруженную в зимнюю спячку, только приближающуюся к порогу восприятия.

Поблизости никого. Я подошел к прессу, выдвинул ящик и заглянул в мешок для отбросов. Влажный куб из полураздавленных жестянок, одежных вешалок, костей и прочего мусора. Бутылки разбиты, картонные коробки сплющены. Цвета изделий сохранили первоначальные яркость и насыщенность. Сквозь слои прессованного растительного вещества просачивались жиры, соки и вязкие жидкие отходы. Я чувствовал себя археологом, собирающимся рыться в найденной куче обломков каменных орудий и разнообразного пещерного хлама. Дениза спрессовала дилар почти десять дней назад. Ту партию отбросов почти наверняка уже вынесли из дома и забрали. А если нет, то прессующий плунжер, несомненно, уничтожил таблетки.

Это оправдывало мои попытки поверить в то, что я попросту коротаю время, ковыряясь в отбросах от нечего делать.

Я отогнул манжеты мешка, освободил защелку и вынул мешок. Зловоние с потрясающей силой ударило в нос. Неужели все это наше? Принадлежит нам? Неужели это создали мы? Я отнес мешок в гараж и вывалил содержимое. Спрессованная куча смахивала на ироническую модерновую скульптуру – массивную, приземистую, пародийную. Я ткнул в нее рукояткой граблей, потом разбросал все по бетонному полу и принялся изучать предмет за предметом, одну бесформенную массу за другой, удивляясь, почему чувствую себя виноватым – человеком, вторгающимся в чужую личную жизнь, раскрывающим интимные, а может, и постыдные тайны. Трудно не смутиться при виде некоторых вещей, приговоренных к безжалостному уничтожению

мощным аппаратом. Но почему я чувствую себя семейным соглядатаем? Неужели мусор – штука настолько личная? Может, в нем кроются следы чьей-то пылкой страсти, свидетельства глубоко скрытой горячности чьей-то натуры, ключи к постижению тайных желаний, унизительных пороков? Неких привычек, фетишей, пристрастий, наклонностей? Неких поступков, совершаемых в одиночестве, особенностей поведения? Я нашел рисунки цветными карандашами – изображения фигуры с пышной женской грудью и мужскими гениталиями. Нашел длинный кусок бечевки с рядом узлов и петель. Поначалу казалось, что узлы вязали наобум. Присмотревшись, я решил, что обнаружил сложную взаимосвязь между размером петель, видом узлов (одинарные или двойные) и расстоянием от узлов с петлями до узлов без петель. Какая-то оккультная геометрия или символическая гирлянда навязчивых идей. Нашел банановую кожуру с тампоном внутри. Быть может, такова темная изнанка потребительного сознания? Наткнулся на отвратительную комковатую массу волос, мыла, ушных тампончиков, раздавленных тараканов, ватных колечек для мозолей, стерильных бинтов, испачканных гноем и свиным жиром, обтрепанных зубных ниток, сломанных стержней от шариковых ручек, зубочисток с сохранившимися на них кусочками пищи. Лохмотья мужских трусов со следами губной помады – вероятно, сувенир из мотеля «Грейвью».

Но нигде ни следа разбитого желтого пузырька, ни остатков блюдцевидных таблеток. Ничего страшного. Я стойко выдержу все, что мне предстоит, без помощи химических препаратов. Бабетта сказала, что дилар – золото дураков. Она права, Винни Ричардс права, Дениза права. Они мои друзья, и они правы.

Я решил еще раз пройти обследование. Когда результаты подготовили, я пришел к доктору Чакраварти – в его кабинетик в медицинском центре. Он сидел и читал распечатку, расположив на столе длинные кисти рук, едва заметно кивая, – человек с отечным лицом и мутными глазами.

– А, вот и вы опять, мистер Глэдни! В последнее время мы стали видеться чаще! Как приятно встретить пациента, который серьезно относится к своему статусу!

– К какому статусу?

– К статусу пациента. Люди склонны забывать, что они пациенты. Стоит им выйти из кабинета или из больницы, как они просто выбрасывают это из головы. А ведь все вы – постоянные пациенты, нравится вам это или нет. Я врач, а вы – пациент. Врач не перестает быть врачом в конце дня. И пациенту не пристало. Люди требуют, чтобы врач исполнял свои обязанности с

величайшей серьезностью, был умелым и опытным. А что же пациент? Он-то насколько профессионален?

Все это он произнес монотонно, тщательно подбирая слова и не отрывая взгляда от распечатки.

– Что-то не очень нравится мне ваш калий, – продолжал он. – Взгляните-ка. Число в скобках со звездочками, выданными компьютером.

– Что это значит?

– На данном этапе вам нет никакого смысла знать.

– А как у меня обстояли дела с калием в прошлый раз?

– В общем-то более или менее нормально. Но, возможно, это ложное повышение содержания. Мы имеем дело с цельной кровью. Существует проблема гелевого барьера. Знаете, что это значит?

– Нет.

– Объяснять некогда. Бывают истинное повышение и ложные повышения. Больше ничего вам знать не нужно.

– Насколько же у меня повысилось содержание калия?

– Оно уже явно превысило все мыслимые пределы.

– Что может значить этот симптом?

– Возможно, ничего, а возможно – действительно очень много.

– Как именно много?

– Не хотелось бы заниматься пустословием.

– Я только пытаюсь выяснить, не может ли этот калий служить показателем какого-то состояния, как раз начинающего проявляться, какого-то состояния, вызванного то ли недоброкачественной пищей, то ли вредным воздействием какого-либо вещества, оказавшегося после утечки в воздухе или дожде.

– Вы что, действительно соприкасались с подобным веществом?

– Нет, – сказал я.

– Вы уверены?

– Абсолютно. А что, эти цифры указывают на какой-то симптом возможного вредного воздействия?

– Если бы вы не подвергались вредному воздействию, то вряд ли они могли бы указывать на какой-то симптом, не правда ли?

– Значит, мы договорились, – сказал я.

– Скажите мне одну вещь, мистер Глэдни, только честно. Как вы себя чувствуете?

– Насколько мне известно, я чувствую себя отлично. Первосортно. Собственно говоря, я уже много лет не чувствовал себя так хорошо.

– Что значит «собственно говоря»?

– С учетом того обстоятельства, что я стал старше.

Он внимательно посмотрел на меня. Казалось, он пытается смутить меня своим пристальным взглядом. Потом что-то записал в мою историю болезни. Я чувствовал себя мальчишкой, которого распекает за прогулы директор школы.

– Как можно отличить истинное повышение от ложного? – спросил я.

– Я направлю вас в Глассборо на дополнительное обследование. Вы не против? Там есть совершенно новое учреждение. Называется ферма «Осенняя жатва». У них блестящее новенькое оборудование. Вы не разочаруетесь, вот увидите. Оно и вправду блестит.

– Хорошо. Но разве содержание калия – это единственное, за чем мы должны следить?

– Чем меньше вы будете знать, тем лучше. Поезжайте в Глассборо. Велите им тщательно вас обследовать. Приложить все старания. Велите направить вас ко мне с результатами в запечатанном конверте. Я проанализирую их до мельчайших подробностей. Разложу все по полочкам. Уверяю вас, сотрудники «Осенней жатвы» обладают необходимыми знаниями, имеют в своем распоряжении самые точные приборы, лучших лаборантов из стран третьего мира, новейшую методику.

Его жизнерадостная улыбка напоминала спелый персик на ветке.

– Вдвоем, как врач и пациент, мы сумеем добиться того, чего не смогли бы добиться поодиночке. Предупредительным мерам уделяют мало внимания. А ведь, как говорится, легче предупредить, чем лечить. Это пословица или сентенция? Наверняка профессор сможет нам сказать.

– Надо подумать.

– Во всяком случае, самое главное – предупредить болезнь, не правда ли? Я только что листал последний номер «Американского гробовщика». Картина просто ужасающая. Отрасль едва справляется с размещением огромного количества покойников.

Бабетта права. Он прекрасно говорил по-английски. Приехав домой, я принялся выбрасывать вещи. Наживки для рыбной ловли, потерявшие упругость теннисные мячи, рваные дорожные сумки. Обшарил чердак в поисках старой мебели, ненужных абажуров, перекосившихся ширм, кривых карнизов для занавесок. Выбросил рамы для картин, колодки для обуви, подставки для зонтов, настенные полочки, детские стульчики и кроватки, складные сервировочные столики – есть перед телевизором,

стульчики с погремушками, сломанные проигрыватели. Выбросил бумажную подстилку для полок, пожелтевшую почтовую бумагу, рукописи своих статей, корректурные гранки тех же статей, журналы, в которых эти статьи напечатаны. Чем больше вещей я выбрасывал, тем больше находил. Дом превратился в мрачный лабиринт, полный старых, отслуживших свой срок вещей. Вещи обрели некую безмерность, сделались невыносимо тяжелыми, взаимосвязанными, гибельными. Я шагал по комнатам, швыряя вещи в картонные коробки. Пластмассовые электрические вентиляторы, перегоревшие тостеры, вышитые по канве сцены из «Звездного пути». Чтобы вытащить все на тротуар, потребовалось гораздо больше часа. Никто мне не помогал. Я не нуждался ни в помощи, ни в компании, ни в сочувствии. Мне хотелось только одного: вынести все эти вещи из дома. Сидя в одиночестве на крыльце, я ждал, когда вокруг воцарятся мир и спокойствие.

Женщина, шедшая по улице, сказала: – Деконгестант, антигистамин, суппрессивное средство от кашля, болеутолитель.

35

Бабетта никак не могла наслушаться разговоров с радиослушателями.

– Я ненавижу свое лицо, – сказала одна женщина. – Уже много лет для меня это постоянная проблема. Из всех лиц, которые могли бы мне достаться – в смысле наружности, – я заполучила именно самое невзрачное. Но как я могу не смотреть? Даже если вы отберете у меня все зеркала, я все равно найду, куда посмотреться. С одной стороны, не смотреть невозможно. Но с другой – я его ненавижу. Короче говоря, я по-прежнему смотрю. Это ведь мое лицо, чье же еще? Что дальше? Забыть, что оно есть? Делать вид, будто оно чужое? А позвонила я потому, Мел, что хочу найти других людей, которым трудно примириться со своим лицом. Для начала вот несколько вопросов. Как выглядели вы до своего рождения? Как будете выглядеть в загробной жизни, независимо от расы и цвета кожи?

Бабетта почти не снимала спортивный костюм. Простой серый тренировочный костюм, просторный и мешковатый. В нем она стряпала, возила детей в школу, ходила в магазины хозтоваров и канцелярских принадлежностей. Немного поразмыслив, я решил, что в этом нет ничего особенного, не о чем беспокоиться, нет оснований полагать, будто она впадает в апатию и отчаяние.

– Как ты себя чувствуешь? – спросил я. – Говори правду.

– Что такое правда? Я стала больше времени проводить с Уайлдером. Уайлдер помогает мне выстоять.

– Очень надеюсь, что ты станешь прежней Бабеттой, здоровой и общительной. Я нуждаюсь в этом ничуть не меньше твоего, а то и больше.

– Что такое нужда? Все мы нуждаемся. Где тут уникальность?

– Значит, по существу, ты чувствуешь себя все так же?

– То есть, мутит ли меня при мысли о смерти? Страх не проходит, Джек.

– Мы должны по-прежнему вести активную жизнь.

– Активная жизнь помогает, но Уайлдер помогает больше.

– Мне это кажется, – спросил я, – или он и вправду стал гораздо меньше говорить?

– Разговоров вполне хватает. Что такое разговоры? Я не хочу, чтобы он говорил. Чем меньше он говорит, тем лучше.

– Дениза переживает за тебя.

– Кто?

– Дениза.

– Разговоры – это радио, – сказала она. Дениза не выпускала свою маму на пробежки, пока та не пообещает нанести на кожу несколько слоев солнцезащитного геля. Девочка выходила следом за Бабеттой из дома, чтобы сзади плеснуть ей на шею последнюю каплю лосьона, потом поднималась на цыпочки, чтобы его равномерно втереть. Старалась смазывать все открытые места. Брови, веки. Мать с дочерью жарко спорили о том, действительно ли это необходимо. Дениза сказала, что солнце опасно для людей с белой кожей. Ее мама заявила, что все это – просто способ выставить напоказ болезнь.

– К тому же, я бегунья, – сказала она. – А бегуна вредные лучи, по определению, поражают с меньшей вероятностью, чем человека, который стоит или идет пешком.

Дениза повернулась ко мне, всплеснув руками, всем видом своим умоляя вразумить эту женщину.

– Самые опасные лучи – прямые, – сказала Бабетта. – А значит, чем быстрее движется человек, тем больше вероятность, что попадание будет лишь частичным – косыми, скользящими лучами.

Дениза разинула рот, у нее едва не подкосились ноги. Честно говоря, я не был уверен в том, что ее мать не права.

– Все это – принудительный ассортимент, который навязывают нам корпорации, – подвела итог Бабетта. – Солнцезащитный гель, система сбыта, страх, болезнь. Одного без другого не бывает.

Я отвез Генриха и его приятеля, укротителя змей Ореста Меркатора, пообедать на торговую улицу. Было четыре часа – время, когда Орестов тренировочный график предусматривал самую сытную еду. По его просьбе, мы пошли в ресторан «Каса Марио Винсента» – блокгауз с узкими окнами, казавшийся частью некоей системы береговых укреплений.

Мысли об Оресте и его змеях не давали мне покоя, и я искал удобного случая продолжить давний разговор.

Мы сидели в кроваво-красной кабинке. Толстыми руками Орест держал украшенное кисточкой меню. Казалось, плечи его стали намного шире, и серьезная голова утонула в них.

– Как идет подготовка? – спросил я.

– Я немного снизил интенсивность. Не хочу достигнуть пика слишком рано. Я умею заботиться о своей спортивной форме.

– Генрих сказал, что вы учитесь спать сидя, чтобы легче было в клетке сидеть.

– Этому я уже научился. Теперь у меня другая задача.

– Какая же?

– Употреблять побольше углеводов.

– Потому мы и пришли сюда, – сказал Генрих.

– Каждый день я немного повышаю дозу.

– Дело в том, что в клетке он будет расходовать колоссальную энергию. Придется быть настороже, напрягаться, когда подползет мамба, да мало ли что.

Мы заказали макароны и воду.

– Скажите, Орест, вас не беспокоит, что решающий момент уже близок?

– Что значит, беспокоит? Я хочу войти в клетку, вот и все. Чем скорее, тем лучше. Таков у Ореста Меркатора характер.

– Вы не волнуетесь? Не думаете о том, что может случиться?

– Ему нравится быть оптимистом, – сказал Генрих. – Нынче все спортсмены таковы. О неудачах никто не думает.

– В таком случае объясните мне, что значит быть пессимистом. О чем вы думаете, когда представляете себе неудачу?

– Я думаю вот о чем. Без змей я никто. Вот и весь пессимизм. Неудача – это если ничего не выйдет, если общество защиты животных не пустит меня в клетку. Как я смогу быть лучшим в своем деле, если мне не разрешат этим делом заниматься?

Мне нравилось смотреть, как Меркатор ест. Пищу он всасывал по законам аэродинамики. В соответствии с разностью давления, скоростью поглощения. Он ел молча, целеустремленно, сосредоточенно набивая брюхо и с каждым комком крахмала, скользившим по его языку, преисполняясь, по-видимому, все большего самомнения.

– Вы же знаете, что вас могут укусить. В прошлый раз мы об этом говорили. Вы думаете о том, что произойдет, когда ядовитые зубы сомкнутся у вас на запястье? Думаете о смерти? Вот что я хочу знать. Смерть вас не пугает? Может, мысли о ней не дают вам покоя? Позвольте мне играть в открытую, Орест. Вы боитесь умереть? Испытываете страх? От страха вы дрожите или потеете? Когда вы думаете о клетке, о змеях, о ядовитых зубах, вам не кажется, что на комнату падает какая-то тень?

– Как раз на днях я где-то прочел одну вещь. Сегодня умирает больше народу, чем за все прошлые периоды всемирной истории, вместе взятые. Подумаешь, еще один. Но уж лучше умереть при попытке внести имя Ореста Меркатора в книгу рекордов.

Я посмотрел на сына. Потом спросил:

– Не хочет ли он сказать, что за эти сутки умрет больше народу, чем за всю историю человечества до сих пор?

– Он хочет сказать, что сегодня мертвых больше, чем когда-либо прежде, в общей сложности.

– Что это за мертвые? Уточни.

– Он говорит о людях, которые уже мертвы.

– Что значит уже мертвы? Все, кто умер, уже мертвы.

– Он говорит о людях в могилах. О покойниках, которые известны. О тех, кого можно сосчитать.

Я слушал внимательно, пытаясь понять, что они имеют в виду. Оресту принесли вторую порцию.

– Но люди иногда сотни лет в могилах лежат. Может, он хочет сказать, что в могилах больше мертвецов, чем во всех прочих местах?

– Смотря что ты имеешь в виду под прочими местами.

– Сам не знаю, что я имею в виду. Утопленников. Тех, кого взрывом в клочья разорвало.

– В наши дни мертвых больше, чем когда-либо прежде. Вот и все, что он хочет сказать.

Еще некоторое время я смотрел на него. Потом повернулся к Оресту:

– Вы сознательно идете на верную смерть. Твердо решили сделать то, чего люди всю жизнь стараются не делать. Умереть. Я хочу знать, почему.

– Мой тренер говорит: «Дыши и ни о чем не думай». Он говорит: «Стань змеей, и ты познаешь неподвижность змеи».

– У него теперь есть тренер, – сказал Генрих.

– Он мусульманин-суннит, – сказал Орест.

– В Айрон-Сити, возле аэропорта, живут несколько суннитов.

– Сунниты, в основном, – корейцы. Правда, мой, кажется, араб.

– Разве это не муниты, в основном, корейцы? – спросил я.

– Он – суннит, – сказал Орест.

– Но ведь именно муниты, в основном, – корейцы. Хотя нет. Корейцы только руководители.

Они задумались. Я наблюдал за Орестом. Смотрел, как он вилкой бросает макароны себе в глотку. Серьезное лицо, неподвижная голова с входным отверстием для пищи, которую швыряет внутрь автоматическая вилка. Какая целеустремленность, какая верность намеченному курсу. Если каждый из нас – центр своего существования, то Орест, казалось, настойчиво стремился расширить этот центр, превратить его в пуп земли. Неужели все спортсмены таковы – делают более полноценной собственную личность? Возможно, их отвага, которой мы завидуем, имеет мало общего со спортом. Готовясь храбро встретить опасность, они тем самым избегают ее в каком-то более глубоком смысле и под бдительным присмотром некоего ангела-хранителя обретают способность уберечься от

каждодневного умирания. Но разве Орест – спортсмен? Он будет просто-напросто сидеть – сидеть шестьдесят семь часов в стеклянной клетке и ждать, когда его укусят на виду у всех.

– Вы не сможете защищаться, – сказал я. – Мало того, вы будете сидеть в клетке с самыми склизкими, жуткими и мерзкими тварями на земле. Со змеями. Люди видят змей в страшных снах. Видят скользких, ползучих, холоднокровных яйцекладущих позвоночных. Люди обращаются к психиатрам. В нашем коллективном бессознательном змеи занимают особенно гнусное место. А вы добровольно входите в замкнутое пространство с тридцатью или сорока самыми ядовитыми змеями на свете.

– Почему это они склизкие? Вовсе они не склизкие.

– Знаменитая склизкость – это миф, – сказал Генрих. – Он входит в клетку с габонскими гадюками – у них ядовитые зубы в два дюйма длиной. Может, там будет дюжина мамб. А мамба, между прочим, – самая проворная змея, обитающая на суше. При чем тут склизкость?

– Все это лишь подтверждает мои слова. Ядовитые зубы. Змеиный укус. Каждый год от змеиных укусов погибает пятьдесят тысяч человек. Это вчера по телевизору передавали.

– Чего только не передавали вчера по телевизору, – сказал Орест.

Ответ меня восхитил. Наверно, я и Орестом восхищался. По прихоти бульварной прессы он формировал в себе сильное «я». Упорно тренировался, то и дело говорил о себе в третьем лице, употреблял много углеводов. Рядом всегда был тренер, аура вдохновенной игры с огнем притягивала его друзей. Чем ближе решающий момент, тем больше жизненных сил.

– Тренер учит его дышать древним способом, на манер мусульман-суннитов. Змея – это одно существо. А человек может стать тысячью существ.

– Стать змеей, – сказал Орест.

– Люди начинают интересоваться, – сказал Генрих. – Похоже, поднимается шумиха. Похоже, он и вправду это сделает. Похоже, ему уже поверили. Все условия соблюдены.

Если собственное «я» – это смерть, как оно может быть сильнее смерти?

Я попросил счет. Извне приходят какие-то обрывки с мистером Греем. Туманный образ в серых трусах и носках. Я достал из бумажника несколько купюр и, энергично потерев их пальцами, убедился, что к ним не прилипли другие. В зеркале мотеля во весь рост отражалась моя жена – белое тело, пышная грудь, розовые коленки, коротенькие пальцы на ногах – в одних гетрах мятного оттенка, похожая на второкурсницу, зачинщицу

оргии.

Когда мы приехали домой, она гладила в спальне белье.

– Чем занимаешься? – спросил я.

– Слушаю радио. Правда оно только что выключилось.

– Если ты думаешь, что мы покончили с мистером Греем, то пора тебе о нем напомнить.

– Речь идет о собирательном образе или о мистере Грее как индивидууме? Это имеет огромное значение.

– Безусловно. Дениза спрессовала пилюли.

– Значит ли это, что с собирательным образом покончено?

– Я не знаю, что это значит.

– Значит ли это, что ты сосредоточил свое мужское внимание на индивидууме в мотеле?

– Этого я не говорил.

– Тебе и не нужно этого говорить. Ты же мужчина. А мужчина идет путем кровожадной ярости. Это биологический путь. Путь примитивной, слепой и бессмысленной мужской биологии.

– Поразительное самомнение для женщины за глажкой носовых платков.

– Джек, когда ты умрешь, я просто упаду на пол и не встану. В конце концов – быть может, очень не скоро – меня найдут во тьме, где я затаюсь, лишившись дара речи, забыв язык жестов. Но сейчас я все равно не помогу тебе найти ни этого человека, ни его препарат.

– Вековая мудрость тех, кто гладит и шьет.

– Спроси себя, чего ты хочешь больше – унять свой застарелый страх или отомстить за свое уязвленное мужское самолюбие, глупое и ребяческое.

Я пошел в другой конец коридора помогать Стеффи – она заканчивала укладывать вещи. Спортивный комментатор сказал: «Они не освистывают – они кричат: "Брюс, Брюс!"». У Стеффи были Дениза и Уайлдер. По разлившейся по комнате скрытности я понял: Дениза давала конфиденциальные советы по поводу визитов к удаленным родителям. Самолет Стеффи вылетал из Бостона и совершал две посадки между Айрон-Сити и Мехико, но ей не надо было делать пересадок, поэтому задача представлялась выполнимой.

– Как я узнаю маму?

– Ты же виделась с ней в прошлом году, – сказал я. – Она тебе понравилась.

– А что, если она не захочет отправлять меня обратно?

– За эту идею мы должны благодарить Денизу, не так ли? Спасибо, Дениза. Не волнуйся. Она отправит тебя обратно.

– А что, если нет? – сказала Дениза. – Такое бывает, сам

знаешь.

– На сей раз такого не будет.

– Тебе придется ее похитить.

– Не понадобится.

– А вдруг понадобится? – спросила Стеффи.

– Ты бы это сделал? – спросила Дениза.

– Такого никогда не бывает.

– Такое бывает постоянно, – сказала она. – Один родитель забирает дочку, другой родитель нанимает похитителей, чтобы те привезли ее обратно.

– А вдруг она меня не отпустит? – спросила Стеффи. – Что ты будешь делать?

– Ему придется послать в Мексику людей. Больше он ничего сделать не сможет.

– Но он это сделает? – спросила Стеффи.

– Твоя мама знает, что ей нельзя оставлять тебя у себя, – сказал я. – Она все время в разъездах. Об этом не может быть и речи.

– Не волнуйся, – сказала ей Дениза. – Что бы он сейчас ни говорил, когда придет пора, он заберет тебя обратно.

Стеффи с любопытством и глубоким интересом посмотрела на меня. Я сказал ей, что сам поеду в Мексику и сделаю все необходимое, чтобы увезти ее домой. Она посмотрела на Денизу.

– Лучше нанять, – участливо сказала старшая. – Так хоть будут опытные люди.

Вошла Бабетта и взяла Уайллера на руки.

– Вот ты где! – сказала она. – Мы едем со Стеффи в аэропорт. Едем, едем. Да-да!

«Брюс, Брюс!»

На другой день началась эвакуация из-за ядовитого запаха. Повсюду разъезжали автомобили с надписью «УСВАК». Улицы патрулировали люди в костюмах из милекса, у многих – приборы для измерения вреда здоровью. Консультационная фирма, задумавшая эвакуацию, посадила небольшую группу прошедших компьютерный отбор добровольцев в полицейский фургон на автостоянке возле супермаркета. Полчаса люди тужились, пытаясь вызвать рвоту. Эпизод записали на видеокассету, которую отправили куда-то на исследование.

Три дня спустя ветер принес из-за реки настоящий ядовитый запах. Казалось, город замер в нерешительности, погрузился в глубокую задумчивость. Стал медленнее двигаться транспорт, сделались чрезвычайно учтивыми водители. Ни объявлений о каких-либо официальных мероприятиях, ни микроавтобусов и санитарных фургончиков, выкрашенных в спектральные цвета.

Люди избегали смотреть друг другу в глаза. Раздражающее жжение в ноздрях, привкус меди на языке. С течением времени желание бездействовать вроде бы усилилось и стало непреодолимым. Некоторые утверждали, что вообще не чувствуют никакого запаха. С запахом всегда так. Некоторые делали вид, будто не замечают в своей пассивности никакой иронии судьбы. Они принимали участие в учениях по УСВАКу, а теперь спасаться бегством не желали. Некоторые интересовались причиной запаха, некоторые выглядели обеспокоенными, некоторые считали, будто отсутствие технического персонала означает, что беспокоиться не о чем. У всех начали слезиться глаза.

Часа через три после того, как мы их почувствовали, пары внезапно рассеялись, избавив нас от необходимости продолжать бесплодную дискуссию.

36

Время от времени я вспоминал об автоматическом пистолете «Цумвальт», спрятанном в спальне.

Настало время висячих насекомых. Белые дома с гусеницами, висящими на карнизах. Белые камни на подъездных дорожках. Если пройтись вечером по середине улицы, слышно, как женщины говорят по телефону. Когда теплеет, в темноте начинают раздаваться голоса. Женщины говорят о своих сыновьях-подростках. Какие взрослые, как быстро. Просто жуть. Как много они едят. Какие большие, когда в дверях встанут. В эту пору кругом полным-полно каких-то червяков. Ползают в траве, липнут к стенам, висят в воздухе, висят на деревьях и карнизах, липнут к оконным сеткам. Женщины звонят в другие города бабушкам и дедушкам взрослеющих мальчишек. Те говорят вдвоем по телефону «Тримлайн» – сияющие от радости старики в свитерах ручной вязки, живущие на фиксированные доходы.

Что происходит с ними, когда кончается этот рекламный ролик?

Однажды вечером позвонили и мне. Телефонистка сказала:

– Тут некая Мать Деви желает говорить с неким Джеком Глэдни за счет вызываемого абонента. Вы согласны?

– Здравствуй, Дженет. Чего ты хочешь?

– Просто поздороваться. Спросить, как поживаешь. Мы же целую вечность не общались.

– Не общались?

– С вами хочет знать, приедет ли наш сын летом в ашрам.

– Наш сын?

– Твой, мой и его. Детей своих учеников свами считает своими детьми.

– На прошлой неделе я отправил дочку в Мексику. Когда она вернется, я буду готов разговаривать о сыне.

– Свами говорит, что мальчику полезно побывать в Монтане. Он подрастет, поправится. Сейчас у него трудный возраст.

– Зачем ты звонишь? Серьезно.

– Просто поприветствовать тебя, Джек. Мы здесь друг друга приветствуем.

– Этот свами часом не из тех, с причудами и белоснежной бородой, которых так забавно разглядывать?

– Мы здесь люди серьезные. В историческом цикле всего четыре эпохи. Нам довелось жить в последнюю. Осталось так мало времени, что уже не до причуд.

Ее тонкий, писклявый голос доносился до меня, отражаясь от

полого шара, зависшего на геостационарной орбите.

– Если Генрих хочет летом тебя навестить, я не против. Пускай ездит верхом, ловит форель. Но я не хочу, чтобы он увлекся чем-то личным и серьезным, к примеру – религией. У нас тут же был разговор о похищении детей. Все нервничают.

– Последняя эпоха – это Эпоха Тьмы.

– Прекрасно. А теперь скажи, чего ты хочешь?

– Ничего. У меня все есть. Душевное спокойствие, цель, настоящие друзья. Мне просто хочется поприветствовать тебя. Приветствую тебя, Джек! Я по тебе скучаю. Скучаю по твоему голосу. Мне просто хочется немного поговорить, на пару минут по-дружески предаться воспоминаниям.

Я повесил трубку и вышел прогуляться. Женщины сидели в своих хорошо освещенных домах и говорили по телефону. Лучатся ли у свами глаза? Сможет ли он ответить на те вопросы мальчика, которые ставили в тупик меня, переубедить его в тех случаях, когда я провоцировал дискуссии и мелкие ссоры? В каком смысле является последней Эпоха Тьмы? Быть может, она несет всеобщую гибель, мрак, что полностью поглотит все сущее и тем самым скрасит мою собственную одинокую смерть? Я прислушивался к женским разговорам. Ко всем звукам, ко всем душам.

Когда я вернулся домой, Бабетта в своем спортивном костюме стояла у окна в спальне, вперив взор во мрак ночи.

Начали съезжаться делегаты конференции по Гитлеру. Три дня около девяноста гитлероведов будут слушать лекции, выступать на публичных дискуссиях, ходить в кино. Бродить по территории колледжа с приколотыми к лацканам пластиковыми бирками, на которых готическим шрифтом вытиснены их имена. Будут сплетничать о Гитлере, распространять обычные сенсационные слухи о последних днях в «фюрербункере».

Интересно, что несмотря на огромную разницу в национальном и региональном происхождении, они походили друг на друга. Бодры: и нетерпеливые, они смеялись, брызжа слюной, предпочитали старомодную одежду, отличались добродушием и пунктуальностью. Казалось, все они сладкоежки.

Я приветствовал их в ультрасовременной часовне. Выступал я минут пять – по-немецки, по заранее написанному тексту. Говорил главным образом о матери, брате и собаке Гитлера. У него был пес по кличке Волк. И по-английски, и по-немецки это одно и то же слово. Слова, которые я употреблял в своем выступлении, большей частью одинаковы в обоих языках. Много дней я просидел со словарем, составляя списки таких слов. Мои

высказывания, само собой, были странными и бессвязными. Я часто упоминал о Волке, еще чаще – о матери и брате, несколько раз – о туфлях и носках, а также о джазе, пиве и бейсболе. Разумеется, шла речь и о самом Гитлере. Я то и дело произносил это имя, надеясь, что в его тени останется незамеченной ненадежная структура моих фраз.

Все остальное время я старался избегать входивших в группу немцев. Даже в черной мантии и темных очках, с нацистскими литерами своего имени на груди, в их присутствии, слушая их гортанную речь, их слова, их веские аргументы, я терялся, чувствовал себя заурядным смертным. Они рассказывали анекдоты про Гитлера и играли в карты – в свой немецкий безик. А я был способен разве что пробормотать наобум какое-нибудь односложное словечко да затрястись от беспричинного смеха. Я много времени проводил в своем кабинете – прятался.

Стоило мне вспомнить о пистолете, притаившемся в стопке нижних рубашек неким тропическим насекомым, как меня охватывало какое-то острое чувство. То ли страшное, то ли приятное – я и сам толком не понимал. Чаще всего оно воскрешало в памяти полузабытые мгновения детства, глубокое волнение ребенка, хранящего тайну.

Огнестрельное оружие – устройство весьма хитроумное. Особенно такой маленький пистолет. Коварная личная вещь, тайная история жизни ее владельца. Я вспомнил, каково мне было несколько дней назад, когда я пытался найти дилар. Я чувствовал себя соглядатаем, проникающим в тайну семейного мусора. Неужели я мало-помалу погружаюсь в некую тайную жизнь? Неужели она для меня – последнее средство спасения от гибели, походя уготовленной мне силой или бессильем, законом, властью или хаосом – что бы ни обусловливало подобные вещи? Кажется, я начинаю понимать своих бывших жен и их связь с разведкой.

Гитлероведы собирались вместе, бродили, с жадностью ели, смеялись, скаля слишком крупные зубы. Я сидел в темноте за своим столом и размышлял о тайнах. Неужели тайны сродни тоннелю в царство грез, где человек управляет развитием событий?

Вечером я рванул в аэропорт встречать дочь. Прилетела она взволнованная и довольная, в мексиканской одежде. Она сказала, что люди, присылающие маме книги на рецензию, не желают оставлять ее в покое. Дейна ежедневно получает большие толстые романы, пишет рецензии, копирует их на микрофильмы и отправляет в секретный архив. Жалуется на издерганные нервы, на периоды глубокой умственной усталости. Стеффи она сказала,

что хочет покончить со шпионажем и начать нормальную жизнь.

Утром я рванул в Глассборо на дополнительное обследование, рекомендованное моим врачом – на ферму «Осенняя жатва». Важность подобного события прямо пропорциональна количеству выделений организма, которые вас просят собрать для анализа. Я вез с собой несколько пузырьков, и в каждой содержались какие-нибудь скорбные отбросы или выделения. Отдельно, в бардачке, покоился зловещий пластмассовый медальон, который я благоговейно поместил в три вложенных друг в друга мешочка и крепко завязал. Там хранился мазок самого сокровенного из всех отбросов – то, на что дежурные лаборанты должны взирать с таким же почтением, смешанным с трепетом и ужасом, с каким мы стали в последнее время относиться к экзотическим религиям мира.

Но сначала следовало отыскать само учреждение. Оказалось, оно находится в функциональном здании из светлого кирпича, одноэтажном, с выложенными плитами полами и ярким освещением. Зачем кому-то понадобилось назвать подобное место фермой «Осенняя жатва»? Быть может, попытка нейтрализовать бездушность блестящих точных приборов? Неужели при помощи необычного названия нас можно одурачить, заставить поверить в то, что мы живем в преканцерозную эпоху? Какой диагноз могут нам поставить в учреждении под названием ферма «Осенняя жатва»? Коклюш, круп? Легкая форма гриппа? Привычные, знакомые хвори обитателей старого дома на ферме, требующие постельного режима и глубокого массажа грудной клетки с применением успокаивающей мази «Викс». Может, кто-нибудь почитает нам вслух «Дэвида Копперфильда»?

У меня были дурные предчувствия. Образцы мои забрали, а меня посадили за консоль компьютера. В ответ на вопросы, появлявшиеся на экране, я принялся мало-помалу выстукивать историю своей жизни и своей смерти. Каждый ответ порождал новые вопросы в неумолимой прогрессии основных и дополнительных математических множеств. Я трижды солгал. Мне выдали просторный балахон и браслетик с номером. Потом отправили по узким коридорам на обмер и взвешивание, анализ крови, энцефалографию, фиксацию потоков, текущих сквозь мое сердце. Они сканировали и зондировали то в одном кабинете, то в другом, и каждое тесное помещение казалось чуть меньше предыдущего, чуть больше раздражало: свет был все ярче, человеческой мебели – все меньше. Каждый раз – новый лаборант. Каждый раз – безликие пациенты в лабиринте коридоров, товарищи по несчастью, переходящие из кабинета в кабинет, одетые в одинаковые балахоны. Никто не здоровался. Меня

привязали к доске, напоминающей детские качели, перевернули вниз головой и минуту продержали в таком положении. Из стоявшего рядом аппарата появилась распечатка. Меня поставили на бегущую дорожку и велели бежать, бежать. На бедрах закрепили ремнями приборы, к груди присоединили электроды. Кто-то сидел за консолью и печатал, передавая сообщение машине, которая должна была сделать мое тело прозрачным. Я слышал завывание магнитного ветра, видел вспышки северного сияния. Люди брели по коридору, словно неприкаянные души, неся в высоко поднятых руках мензурки с собственной мочой. Я стоял в кабинете размером с чулан. Мне велели держать один палец у себя перед носом, закрыв левый глаз. Стена исчезла из виду, вспыхнул яркий свет. Они хотели помочь мне, спасти меня.

В конце концов, снова одевшись, я сел по другую сторону стола от нервного молодого человека в белом халате. Он изучал мое досье, бормоча, что он тут недавно. Я с удивлением обнаружил, что этот факт меня нисколько не огорчает. По-моему, я даже успокоился.

– Когда будут получены результаты?

– Результаты получены, – сказал он.

– Я думал, мы поговорим на общие темы. По-человечески. О том, что недоступно машинам. А через два-три дня, наверно, будут готовы точные цифры.

– Цифры готовы.

– А я, по-моему, еще не готов. Вся эта блестящая аппаратура немного выбивает из колеи. Нетрудно предположить, что после такого обследования может заболеть даже совершенно здоровый человек.

– С какой же это стати кто-то вдруг заболеет? Нигде больше нет таких точных испытательных приборов. Для анализа данных у нас имеются самые современные компьютеры. Эта аппаратура спасает людям жизнь. Уверяю вас, я видел, как это происходит. У нас есть оборудование, которое работает лучше новейших рентгеновских аппаратов и сканирующих устройств УЗИ. Мы заглядываем в человека глубже и точнее.

Казалось, он обретает уверенность. Этот парень с кротким взглядом и скверным цветом лица напоминал мне мальчишек, что стоят в супермаркете возле кассы и кладут товары в пакеты.

– Обычно мы начинаем следующим образом, – сказал он. – Я задаю вопросы на основе распечатки, а потом вы отвечаете в меру своих возможностей. Когда мы всё закончим, я отдам вам результаты в запечатанном конверте, а вы передадите их своему врачу, когда придете на платную консультацию.

– Отлично.

– Отлично. Обычно мы начинаем с вопроса, как вы себя чувствуете.

– На основе распечатки?

– Просто – как вы себя чувствуете? – кротко сказал он.

– На мой субъективный взгляд, говоря строго, я чувствую себя относительно здоровым и ожидаю подтверждения.

– Затем мы обычно переходим к усталости. Вы в последнее время усталость не чувствуете?

– А что люди обычно говорят?

– Распространенный ответ – легкое утомление.

– Я мог бы сказать то же самое, и будьте уверены, на мой субъективный взгляд, это довольно точно отражает фактическое положение дел.

Видимо, довольный ответом, он четко обозначил что-то – условными знаками належавшем перед ним листе бумаги.

– Как насчет аппетита? – спросил он.

– Я мог бы охарактеризовать его двояко.

– В общем-то, я тоже – на основе распечатки.

– То есть вы хотите сказать, что аппетит у меня то появляется, то пропадает.

– Это утверждение или вопрос?

– Смотря на что указывают цифры.

– Значит, мы пришли к согласию.

– Отлично.

– Отлично, – сказал он. – Как насчет сна? Речь о сне у нас заходит обычно перед тем, как мы предлагаем человеку чаю или кофе без кофеина. Сахара мы не даем.

– Многие ли ваши пациенты плохо спят?

– Только на последних стадиях.

– На последних стадиях сна? Вы имеете в виду, что они просыпаются рано утром и не могут снова заснуть?

– На последних стадиях жизни.

– Так я и думал. Отлично. Единственное, на что могу пожаловаться, – слегка пониженный порог чувствительности.

– Отлично.

– Я стал спать более беспокойно. А кто спокойно спит?

– Стали метаться и ворочаться?

– Метаться, – сказал я.

– Отлично.

– Отлично.

Он что-то записал. Казалось, все идет хорошо. Увидев, как хорошо все идет, я воспрял духом. От предложенного чая отказался, что, по-видимому, парня обрадовало. Мы быстро продвигались вперед.

– А тут мы спрашиваем о курении.

– Это проще простого. Ответ отрицательный. И речь вовсе не о том, что пять или десять лет назад я бросил. Я никогда не курил. Даже в подростковом возрасте. Ни разу не пробовал. Никогда не видел необходимости.

– Это всегда плюс.

Ободренный таким образом, я почувствовал себя гораздо увереннее.

– Мы быстро продвигаемся вперед, не правда ли?

– Некоторые предпочитают разговор затягивать, – сказал он. – Начинают интересоваться своим состоянием. Это становится чем-то вроде хобби.

– Кому он нужен, этот никотин? Мало того, я и кофе-то редко пью – и только без кофеина. Не могу понять, что люди находят во всей этой искусственной стимуляции. Лично меня пьянит обыкновенная прогулка по лесу.

– Отказаться от кофеина всегда полезно. Вот именно, подумал я. Вознаградите меня за добродетель. Сохраните мне жизнь.

– А молоко! – сказал я. – Людям недостаточно кофеина и сахара. Им еще и молоко подавай. Все эти жирные кислоты. С детства не пью молока. К жирным сливкам не притрагиваюсь. Ем легкую пищу, редко употребляю крепкие напитки. Никогда не понимал, почему все с ними так носятся. Вода! Вот мой любимый напиток. Стакан воды еще никому не повредил.

Я ждал, когда он скажет, что я продлеваю себе жизнь на много лет.

– Кстати о воде, – сказал он, – вы подвергались когда-нибудь воздействию промышленных контаминантов?

– Чего?

– Отравляющих веществ, содержащихся в воздухе или воде.

– Именно об этом вы обычно спрашиваете после сигарет?

– Этот вопрос программой не предусмотрен.

– Вы хотите спросить, не работаю ли я с каким-нибудь материалом наподобие асбеста? Конечно, нет! Я преподаватель. Преподавание – это моя жизнь. Я всю жизнь работаю в колледже. При чем тут асбест?

– Вы слышали когда-нибудь о деривате ниодина?

– А что, должен был – судя по распечатке?

– У вас в крови обнаружены следы этого вещества.

– Откуда им взяться, если я о нем никогда не слышал?

– Судя по данным магнитного сканера, они есть. Я сейчас смотрю на цифры в скобках, с маленькими звездочками.

– Вы хотите сказать, что обнаружили в распечатке первые

неоднозначные признаки едва заметного состояния, вызванного воздействием минимально допустимой утечки?

Почему я вдруг заговорил ходульными фразами?

– Показания магнитного сканера не вызывают сомнений, – сказал он.

Что случилось с нашим обоюдным молчаливым согласием быстро покончить со всеми пунктами программы без пустой траты времени и бесплодных дискуссий?

– Что происходит, если в крови у человека обнаруживаются следы этого вещества?

– У него образуется туманный сгусток, – сказал он.

– Но я думал, никто толком не знает, какой вред ниодин «Д» причиняет людям. Крысам – да.

– Вы же сказали, что никогда о нем не слышали. Откуда вы знаете, причиняет он вред или нет?

Тут он меня перехитрил. Я почувствовал, что он заговаривает мне зубы, обманывает меня, принимает за идиота.

– Знания обновляются ежедневно, – сказал он. – Мы располагаем противоречивыми данными, указывающими на то, что в результате воздействия этого вещества определенно может образоваться сгусток.

Его уверенность стремительно крепла.

– Отлично. Перейдем к следующему вопросу. У меня мало времени.

– Как раз сейчас я должен вручить запечатанный конверт.

– Что там у вас дальше? Физзарядка? Ответ категорически отрицательный. Терпеть ее не могу и делать отказываюсь.

– Отлично. Я вручаю конверт.

– Позвольте спросить – из праздного любопытства: что такое туманный сгусток?

– Возможное новообразование в организме.

– А туманным он называется потому, что вы не можете получить его четкое изображение?

– Мы получаем очень четкие изображения. Оптический блок формирует самые четкие изображения, которые только возможны в пределах человеческих сил. А туманным сгусток называется потому, что он бесформенный и не имеет явных границ.

– Какой вред он может причинить в том случае, если события будут развиваться по наихудшему из возможных сценариев?

– Может послужить причиной смерти.

– Говорите прямо, черт возьми! Я презираю этот современный профессиональный жаргон.

Он стойко переносил оскорбления. Чем больше я злился, тем больше ему это нравилось. Парень, пышущий энергией и

здоровьем.

– Теперь пора попросить вас заплатить в регистратуре.

– А как же калий? Я приехал сюда прежде всего потому, что содержание калия у меня – значительно выше нормы.

– Калием мы не занимаемся.

– Отлично.

– Отлично. Последнее, о чем я обязан вас попросить, – это отвезти конверт вашему врачу. Ваш врач в этих условных знаках разбирается.

– Значит, это всё. Отлично.

– Отлично, – сказал он.

Неожиданно для себя я сердечно пожал ему руку. Через несколько минут я уже был на улице. По газону неуклюже топал мальчишка и пинал перед собой футбольный мяч. Другой малыш сидел на траве и снимал носки, хватая их за пятки и дергая. Литературщина, раздраженно подумал я. Улицы изобилуют приметами бурной жизни, а герой с грустью размышляет о последней фазе своего угасания. Переменная облачность, ветер умеренный, с ослабеванием к заходу солнца.

Вечером я прогулялся по улицам Блэксмита. Мерцание голубоглазых телевизоров. Голоса в трубках кнопочных телефонов. Где-то далеко бабушка с дедушкой, прижавшись друг к другу в кресле, нетерпеливо приникли к трубке, а в это время посредством модуляции несущих волн образуются звуковые сигналы. Это голос их внука, взрослеющего мальчишки, чье лицо красуется на моментальных снимках, стоящих в рамках вокруг телефона. Глаза стариков светятся радостью, но к этой радости примешивается, омрачая ее, осознание какой-то сложной и прискорбной ситуации. Что говорит им юнец? Он несчастен из-за отвратного цвета лица? Хочет бросить школу и всю рабочую неделю трудиться в магазине «Фудленд» – укладывать товары в пакеты? Он уверяет их, что *любит* укладывать товары в пакеты. Только это и доставляет ему удовольствие. Первым делом кладешь галлоновые кувшины, упаковки баночного пива выравниваешь по краям, для тяжелых товаров – двойной пакет. У парня это отлично получается, он уже приобрел сноровку и, даже не успев еще ни к чему притронуться, ясно видит, как должны быть расположены в пакете товары. Похоже на дзэн, дедуля. Я выхватываю из стопки два пакета, аккуратно засовываю один в другой. Главное – не помять фрукты, следить, чтобы не разбились яйца, мороженое – в сумку-холодильник. Каждый день мимо проходят тысячи людей, но меня никто не замечает. Мне нравится, бабуля, это абсолютно безопасно, именно так я хочу прожить всю жизнь. А старики, любящие его несмотря ни на что, с

грустью слушают, прильнув к трубке глянцевитого «Тримлайна», белой «Принцессы», стоящей в спальне, простого коричневого «Ротари» в обшитом панелями дедушкином подвальном убежище. Старик запускает пятерню в копну своих седых волос, старуха подносит к глазам очки со сложенными дужками. Склоняющаяся к западу луна то и дело скрывается за стремительно несущимися по небу облаками, времена года сменяются в мрачном монтаже, покуда вокруг не воцаряется зимнее безмолвие, глубокая тишина ледяного ландшафта.

Ваш врач в этих знаках разбирается.

37

Долгая прогулка началась в полдень. Я не предполагал, что все это выльется в долгую прогулку. Думал, поразмышляем немного о том о сем – Марри с Джеком, – побродим полчасика по территории колледжа. Но вышло так, что мы почти до вечера кружили по городу, совершив серьезную сократовскую прогулку, имевшую практические последствия.

Мы с Марри встретились после его семинара по автокатастрофам и побрели вдоль внешней границы территории, мимо обшитых кедровым гонтом кооперативных домов, занявших свою обычную оборонительную позицию среди деревьев – мимо скопления жилых домов, настолько хорошо гармонирующих с окружающей средой, что на зеркальные стекла окон то и дело натыкаются птицы.

– Вы курите трубку, – сказал я.

Марри заискивающе улыбнулся:

– Это неплохо смотрится. Мне нравится. Это производит впечатление.

Улыбаясь, он потупился. Черенок у трубки был длинный и узкий, а чубук имел форму куба. Светло-коричневая трубка, похожая на некий старый, видавший виды предмет домашней утвари – быть может, на древнюю реликвию меноннитов или шекеров. Интересно, не подобрал ли Марри ее в тон к своим длинным бакенбардам, придававшим его лицу некоторую суровость. Казалось, его жесты и обороты речи скованы традицией строгой добродетели.

– Почему мы не в состоянии осмыслить смерть? – спросил я.

– Это же очевидно.

– Вот как?

– Иван Ильич кричал три дня. Большей осмысленности от нас добиться нельзя. Толстой и сам силился понять. Он до ужаса боялся смерти.

– Такое впечатление, будто наш страх и становится ее причиной. Будто научись мы не бояться, каждый мог бы жить вечно.

– Мы сами приближаем ее своими разговорами. Вы это имеете в виду?

– Не знаю, что я имею в виду. Знаю только, что я просто делаю вид, будто продолжаю жить. С медицинской точки зрения, я уже умер. У меня в организме растет туманный сгусток. За такими вещами медики следят, как за искусственными спутниками. И все это – результат воздействия побочного

продукта, образовавшегося при производстве инсектицида. В моей смерти есть что-то неестественное. Какая-то она ограниченная, неполноценная. Я застрял где-то между небом и землей. На моей надгробной плите следовало бы выгравировать баллончик с аэрозолем.

– Хорошо сказано.

– В каком смысле – хорошо сказано? Я хотел, чтобы он со мной поспорил, поднял мое умирание на более высокий уровень, придал мне уверенности.

– Вы считаете, что это несправедливо?

– Разумеется! А что, разве мой ответ банален?

Казалось, он пожал плечами.

– Подумайте о том, как я жил. Разве была моя жизнь бешеной погоней за наслаждениями? Разве был я одержим стремлением к самоуничтожению, разве употреблял запрещенные препараты; гонял на быстроходных машинах, злоупотреблял алкоголем? Бокал сухого хереса на вечеринке для преподавателей. Я ем легкую пищу.

– Это неправда.

Он с важным видом попыхивал своей трубкой, втягивая щеки. Некоторое время мы шли молча.

– Вы считаете свою смерть преждевременной? – спросил он.

– Все смерти преждевременны. Ни один ученый еще не объяснил, почему мы не можем жить сто пятьдесят лет. А ведь некоторые и вправду столько живут – судя по газетному заголовку, который я видел в супермаркете.

– Не считаете ли вы, что именно ощущение незавершенности вызывает у вас самое глубокое сожаление? Ведь есть дела, которые вы еще надеетесь довести по конца. Незаконченная работа, проблемы, требующие умственного напряжения.

– Смерть вызывает самое глубокое сожаление. Смерть – единственная серьезная проблема. Ни о чем другом я не думаю. Речь идет только об одном. Я хочу жить.

– Из одноименного фильма Роберта Уайза с Сьюзен Хэйуард в роли Барбары Грэм, осужденной за убийство. Музыка Джонни Мандела – энергичные джазовые композиции.

Я посмотрел на него.

– Значит, вы хотите сказать, Джек, что даже если бы добились всего, чего надеялись добиться в личной жизни и работе, смерть все равно внушала бы вам такой же страх.

– Вы что, с ума сошли? Конечно! Так может думать только элитист. Вы бы спросили упаковщика из супермаркета, боится ли он смерти не потому, что это смерть, а потому, что еще осталась интересная бакалея, которую ему хотелось бы уложить в пакеты?

– Хорошо сказано.

– Речь идет о смерти. Я не хочу, чтобы она чуть помедлила, позволив мне дописать монографию. Я хочу, чтобы она оставила меня в покое, дав пожить еще лет семьдесят или восемьдесят.

– Статус обреченного человека придает вашим высказываниям определенную убедительность и авторитетность. Мне это нравится. Думаю, по мере приближения рокового часа вы начнете понимать, что люди стремятся услышать каждое ваше слово. От слушателей отбоя не будет.

– Вы хотите сказать, что для меня это прекрасная возможность приобрести друзей?

– Я хочу сказать, что вы не вправе ни впадать в отчаяние, ни жаловаться на судьбу и тем самым подводить живых людей. Люди будут рассчитывать на ваше мужество. В умирающем друге люди надеются увидеть человека стойкого и благородного, до хрипоты твердящего о нежелании сдаваться, способного блеснуть неукротимым чувством юмора. Ваш авторитет растет уже сейчас, пока мы разговариваем. Вокруг вас образуется едва заметный ореол. Мне это не может не нравиться.

Мы шли вниз по середине крутой извилистой улицы. Вокруг не было ни души. По сторонам неясно вырисовывались очертания старых домов, стоящих над каменными лестницами, частью обветшалыми.

– Вы верите в то, что любовь сильнее смерти?

– Нет, и никогда не поверю.

– Отлично, – сказал он. – Нет ничего сильнее смерти. А вы не считаете, что смерти боятся только те люди, которые боятся жизни?

– Бред! Сущая нелепица.

– Верно. Мы все до некоторой степени боимся смерти. Те, кто утверждает обратное, лгут самим себе. Ограниченные люди.

– Люди, чьи прозвища красуются на номерных знаках их машин.

– Браво, Джек! А вы не думаете, что жизнь без смерти в известной мере несовершенна?

– Как она может быть несовершенной? Несовершенной ее делает именно смерть.

– Разве осознание неизбежности смерти не заставляет нас еще больше дорожить жизнью?

– Какой смысл дорожить тем, что основано на страхе и тревоге? Человек всю жизнь тревожится и дрожит от страха.

– И то правда. Больше всего мы дорожим тем, от чего на душе у нас становится спокойно. Женой, ребенком. А призрак смерти не делает ребенка более драгоценным?

– Нет.

– Нет. Нельзя считать жизнь более драгоценной только на том основании, что она скоротечна. Выскажу предположение. До того как человек начнет жить полнокровной жизнью, ему следует сообщить о том, что он умрет. Верное или ошибочное?

– Ошибочное. Стоит поверить в неизбежность смерти, как становится невозможно получать удовольствие от жизни.

– Вы бы хотели точно знать день и час своей смерти?

– Ни в коем случае. В страхе перед неведомым мало хорошего. Но столкнувшись с неведомым, мы можем сделать вид, будто его не существует. А зная точные даты, многие совершали бы самоубийство – хотя бы только ради того, чтобы не умирать по расписанию.

Мы перешли старый автодорожный мост, перегороженный, захламленный наводящими уныние поблекшими предметами. Потом, пройдя по тропинке вдоль ручья, приблизились к кромке школьного футбольного поля. Женщины приводили туда маленьких детей, и те играли в ямах для прыжков в длину, как в песочницах.

– Как бы мне ее перехитрить? – спросил я.

– Вы могли бы положиться на технологию. Она довела вас до этого состояния, она же может и выручить. В этом вся суть технологии. С одной стороны, пробуждает стремление к бессмертию, с другой – может стать причиной всеобщего вымирания. Технология – вожделение, отнятое у природы.

– Вот как?

– Технологию придумали, чтобы с ее помощью хранить страшную тайну наших слабеющих тел. Но в то же время, технология – это жизнь, не так ли? Она продлевает жизнь, дает возможность заменять изношенные органы новыми. Каждый день новые устройства, новые методы. Лазеры, мазеры, ультразвук. Положитесь на нее целиком и полностью, Джек. Поверьте в нее. Вас поместят в сверкающую трубу, ваше тело облучат основными элементами вселенной. Светом, энергией, снами. Самой милостью Божьей.

– Спасибо, Марри, но в ближайшее время мне вряд л и захочется обращаться к врачам.

– В таком случае, вы всегда сможете перехитрить смерть, сосредоточившись на загробной жизни.

– Каким образом?

– Это же очевидно. Читайте специальную литературу о реинкарнации, переселении душ, гиперпространстве, воскрешении мертвых и так далее. Эти верования стали основой развития некоторых блестящих научных концепций. Изучайте их.

– Вы сами-то верите в подобные вещи?

– Уже тысячи лет во все это верят миллионы людей. Свяжите с ними свою судьбу. Вера в перевоплощение, в новую жизнь фактически всеобща. Наверное, это что-нибудь да значит.

– Но все эти блестящие концепции – они же совершенно разные.

– Но в ваших устах все это звучит как удобная фантазия, худшая разновидность самообмана.

И вновь он, казалось, пожал плечами:

– Подумайте о замечательной поэзии, о музыке, танцах и обрядах, которые рождаются благодаря нашему стремлению к жизни после смерти. Быть может, всего этого достаточно для оправдания наших надежд и иллюзий, хотя умирающему я бы такого не сказал.

Он многозначительно подтолкнул меня локтем. Мы направлялись к торговой части города. Марри остановился, приподнял ногу и, постучав трубкой о каблук, выбил пепел. Потом со знанием дела, чубуком вперед, положил вещицу в карман вельветового пиджака.

– Нет, серьезно, вы еще долго сможете находить утешение в идее загробной жизни.

– Но разве я не должен верить? Разве не должен искренне, всем сердцем чувствовать, что где-то там, во тьме, за пределами этой жизни, существует нечто неведомое?

– Что такое, по-вашему, загробная жизнь – масса фактов, которые только и ждут, когда их обнаружат? По-вашему, американские военно-воздушные силы собирают информацию о загробной жизни и держат ее в тайне, потому что мы еще не готовы примириться с полученными данными? Эти данные вызвали бы панику? Нет. Я скажу вам, что такое загробная жизнь. Это приятная и очень трогательная идея. Можете верить в нее, можете не верить – на ваше усмотрение. А пока вы должны сделать одну вещь: уцелеть после покушения на вашу жизнь. Это моментально подняло бы вам тонус. Вы почувствовали бы себя избранником судьбы, обрели бы притягательную силу.

– Раньше вы говорили, что притягательную силу придает мне смерть. И, кроме того, кому вдруг понадобилось бы меня убивать?

Он опять пожал плечами:

– Тогда нужно уцелеть после железнодорожной катастрофы, в которой погибнут сотни людей. Остаться невредимым, когда ваша одномоторная «Сессна» упадет на поле для гольфа, наткнувшись на линию электропередачи всего через несколько минут после взлета. Не обязательно убийство. Суть в том, что вы стоите возле догорающих обломков, а другие лежат без движения,

скорчившись от боли. Это может нейтрализовать действие любого количества туманных сгустков, по крайней мере на время.

Мы принялись разглядывать витрины, потом зашли в обувной магазин. Марри посмотрел обувь «Уиджен», «Уоллаби», «Хаш Паппи». Мы вышли на солнечный свет. На нас искоса поглядывали дети в легких колясках: видимо, мы представлялись им чем-то необычным.

– Вам помогает знание немецкого?

– Не сказал бы.

– Но хоть раз помогло?

– Не могу сказать. Не знаю. Кто знает такие вещи?

– Чего вы пытались добиться все эти годы?

– Наверно, хотел подпасть под чары.

– Правильно. Тут нечего стыдиться, Джек. Это всего-навсего ваш страх. Из-за него вы так поступаете.

– *Всего-навсего* мой страх? *Всего-навсего* моя смерть?

– Нам не следует удивляться вашей неудаче. Насколько сильными оказались немцы? В конце концов, они проиграли войну.

– То же самое сказала Дениза.

– Вы обсуждаете это с детьми?

– Поверхностно.

– Беспомощных и напуганных людей тянет к магическим, мифическим фигурам, к героям эпического масштаба, которые устрашают, представляют собой мрачную угрозу.

– Надо полагать, вы говорите о Гитлере.

– Некоторые люди кажутся исполинами, способными изменить жизнь. Гитлер представляется исполином, способным победить смерть. Вы думали, он защитит вас. Я это прекрасно понимаю.

– Правда? А вот я до сих пор не могу понять.

– Это же совершенно очевидно. Вы искали помощи и спасения. Безмерный ужас отвлекал бы вас от мыслей о собственной смерти. «Скрой меня от посторонних глаз, – говорили вы. – Поглоти мой страх». На одном уровне вы хотели спрятаться в Гитлере и его злодеяниях. На другом – воспользоваться им, чтобы стать более значительным и сильным. Я вижу тут смешение средств. Впрочем, я вас не осуждаю. То был смелый поступок, дерзкий выпад. *Воспользоваться Гитлером.* Я способен восхищаться этой попыткой, даже если понимаю, насколько она нелепа, – хотя и не более нелепа, чем ношение амулета или деревяшки от сглаза. Шестьсот миллионов индусов остаются дома, если утром знаки не благоприятствуют выходу на работу. Так что, на мой взгляд, вы ничем не выделяетесь.

– Огромная страшная бездна.

– Само собой, – сказал он.

– Неисчерпаемость.

– Понимаю.

– Нечто громадное, не поддающееся описанию.

– Да, конечно.

– Тьма кромешная.

– Безусловно, безусловно.

– Нечто ужасное и безграничное.

– Я вас прекрасно понимаю.

Едва заметно улыбнувшись, он постучал по крылу стоящей наискось машины.

– Почему вы потерпели неудачу, Джек?

– Смешение средств.

– Правильно. Есть много способов перехитрить смерть. Вы пытались применить два одновременно. С одной стороны, вы обращали на себя внимание, а с другой – пытались спрятаться. Как мы называем такую попытку?

– Нелепой.

Я вошел вслед за ним в супермаркет. Разноцветные вспышки, многоголосый шум океана. Мы прошли под ярким полотнищем – рекламировалась лотерея для сбора средств на какую-то неизлечимую болезнь. Судя по формулировке, можно было предположить, что болезнь достанется тому, кто выиграет в лотерею. Марри сравнил полотнище с тибетским молитвенным флагом.

– Почему я испытываю этот страх так долго, так непрестанно?

– Это же очевидно. Вы не умеете его подавлять. Все мы сознаем, что от смерти нет спасения. Как же мы боремся с тягостным предчувствием неизбежного? Мы подавляем его, скрываем, предаем забвению, гоним от себя. У одних людей это получается лучше, чем у других, – только и всего.

– А у меня может получиться лучше?

– Не может. Некоторые люди попросту не обладают бессознательными инструментами для необходимой маскировки.

– Откуда же нам знать, что подавление происходит, если эти инструменты – бессознательные, а то, что мы подавляем, так искусно замаскировано?

– То же самое говорил Фрейд. Когда упоминал о неясных, грозных фигурах.

Взяв коробку «Хэнди-Рэпа II», Марри прочел надпись жирным шрифтом и изучил штрих-код. Понюхал пакетик супа-концентрата. Данные сегодня убедительны как никогда.

– А вам не кажется, что неспособность к подавлению каким-то

образом идет на пользу моему здоровью? Быть может, постоянный страх – естественное состояние человека, и, пытаясь свыкнуться со своим страхом, я ежедневно совершаю геройский поступок, а, Марри?

– Вы чувствуете себя героем?

– Нет.

– Значит, скорее всего, вы не герой.

– Но разве подавление не противоестественно?

– Страх противоестественен. Гром и молния противоестественны. Боль, смерть, реальность – все это противоестественно. Мы не в силах свыкнуться с этими вещами. Мы слишком много знаем. Потому и прибегаем к подавлению, компромиссу и самообману. Так мы и выживаем в этом мире. Таков естественный язык человечества.

Я внимательно посмотрел на него:

– Я делаю зарядку. Поддерживаю спортивную форму.

– Это неправда, – сказал он.

Он помог какому-то старику разобрать дату на обертке булки с изюмом. Мимо плыли дети в серебристых тележках.

«Тегрин, денорекс, селсан-блю».

Марри что-то записал в свою маленькую книжечку. Я смотрел, как ловко он обходит дюжину упавших яиц в разорванной картонной упаковке, из которой сочилось вещество, содержащее много желтка.

– Почему мне так хорошо, когда я с Уайлдером? Совсем не так, как с остальными детьми, – сказал я.

– Вы чувствуете его безграничное «эго», его свободу от всяческих рамок.

– В каком смысле он свободен от рамок?

– Он не знает, что умрет. Не имеет никакого представления о смерти. Вы дорожите этим его счастливым неведением, этой неспособностью сознавать опасность. Вам хочется подойти к нему поближе, дотронуться до него, хочется смотреть на него, вдыхать его запах. Как же ему повезло! Воплощение неведения, всесильный малыш. Ребенок – это всё, взрослый человек – ничто. Подумайте об этом. Вся жизнь человека есть объяснение этого загадочного противоречия. Неудивительно, что мы сбиты с толку, обескуражены, потрясены.

– Не слишком ли вы сгущаете краски?

– Я же из Нью-Йорка.

– Мы делаем красивые, прочные вещи, создаем гигантские цивилизации.

– Блестящие ухищрения, – сказал он. – Замечательные способы ухода от действительности.

Двери раздвинулись по сигналу фотоэлементов. Мы вышли на улицу, миновали химчистку, дамскую парикмахерскую, магазин оптики. Марри снова закурил свою трубку, принявшись с важным видом посасывать мундштук.

– Мы поговорили о способах перехитрить смерть, – сказал он. – Обсудили то, как вы уже пытались применить два таких способа, причем взаимоисключающих. Упомянули о технологии, о железнодорожных катастрофах, о вере в загробную жизнь. Но существуют и другие методы, и мне бы хотелось затронуть один такой подход.

Мы перешли улицу.

– Я полагаю, Джек, что на свете есть два сорта людей. Убийцы и смертники. Большинство из нас – смертники. Мы не обладаем ни особым темпераментом, ни страстностью натуры, ни прочими качествами, необходимыми для того, чтобы стать убийцей. Мы не противимся смерти. Безропотно ложимся и умираем. Но представьте себе, каково это – быть убийцей. Вообразите, как возбуждает – теоретически – убийство человека, с которым вы столкнулись лицом к лицу. Если он умрет, вы будете жить. Убить его – значит получить кредит на жизнь. Чем больше людей вы убиваете, тем больший кредит у вас накапливается. Этим и объясняется огромное количество зверских убийств, войн, смертных казней.

– Вы хотите сказать, что на протяжении всей истории человечества люди пытались отсрочить свой смертный час, убивая других?

– Это же очевидно.

– И это, по-вашему, возбуждает?

– Я теоретизирую. Теоретически насилие – одна из форм переселения душ. Смертник покорно погибает. Убийца продолжает жить. Происходит удивительное уравновешивание. Когда банда мародеров собирает в кучу трупы, она набирается сил. Силы накапливаются так, словно эти люди заслужили милость богов.

– Какое отношение это имеет ко мне?

– Это просто теория. Мы с вами – два профессора, вышедших на прогулку. Но представьте себе прилив первобытной силы при виде поверженного в прах, истекающего кровью врага!

– Значит, по-вашему, при этом человек получает больший кредит, как при банковской сделке.

– Вам грозит небытие. Полное и окончательное забвение. Вас не станет. Не станет, Джек! Смертник примиряется с этим фактом и умирает. Убийца – теоретически – пытается отменить собственную смерть, убивая других. Он приобретает время,

приобретает жизнь. Заставляет людей корчиться. Повергает их в прах и смотрит, как тонкой струйкой течет кровь.

Пораженный, я посмотрел на него. Он с довольным видом раскуривал трубку, глухо причмокивая.

– Это один из способов одолеть смерть. А в конечном счете – способ стать хозяином положения. Стать убийцей разнообразия ради. Пускай кто-нибудь другой будет смертником. Пускай он заменит вас – теоретически – в этой роли. Вам уже никак не умереть, если умрет он. Он умирает, вы остаетесь жить. Как видите, проще простого.

– Значит, вы утверждаете, что именно так люди поступали с незапамятных времен.

– И до сих пор так поступают. Люди делают это в маленьком масштабе личной жизни, делают это группами, толпами, массами. Убивают, чтобы выжить.

– Звучит жутковато.

Казалось, он пожал плечами:

– Кровопролитие никогда не бывает беспорядочным. Чем больше народу вы убиваете, тем большую власть над собственной смертью получаете. В самой жестокой и огульной расправе всегда кроется тонкий расчет. Говорить об этом – вовсе не значит пропагандировать убийство. Мы с вами – два профессора в среде обитания интеллектуалов. Наш долг – изучать течение мысли, докапываться до смысла людских поступков. Но представьте, как возбуждает победа в смертельной схватке, вид истекающего кровью подонка!

– Замышляйте убийство – вот что вы хотите сказать. Но ведь, в сущности, любой заговор – уже убийство. Плести интриги – значит умирать, знаем мы это или нет.

– Плести интриги – значит жить, – сказал он.

Я посмотрел на него. Вгляделся в его лицо, перевел взгляд на руки.

– Наш жизненный путь начинается с хаоса, с детского лепета. Вступая в жизнь, мы пытаемся сделать ее целенаправленной, разработать какой-то план. В этом чувствуется самоуважение. Вся ваша жизнь – это схема, план, график. Правда, план неудавшийся, но дело не в этом. Планировать жизнь – значит придавать ей смысл, пытаться контролировать ее, делать более или менее сносной. Эти попытки не прекращаются даже после смерти – мало того, именно после смерти они могут увенчаться успехом. Похоронные обряды порой помогают довести задуманное до конца посредством ритуала. Представьте себе похороны государственного деятеля, Джек. Все продумано до мелочей, все идет строго по плану, согласно заведенному порядку. Вся страна

затаила дыхание. Усилия огромного и всемогущего правительства сосредоточены на проведении церемонии, после которой от хаоса не должно остаться и следа. Если все оканчивается благополучно, если цель достигнута, то вступает в силу некий естественный закон совершенства. Страна избавляется от тревог, становится ясно, что покойный прожил жизнь не зря, да и вообще жизнь вновь обретает смысл, делается более полноценной.

– Вы уверены? – спросил я.

– Что-то замышлять, на что-то нацеливаться, приводить в порядок время и пространство – только так можно расширить возможности человеческого сознания.

В колледж мы возвращались кружным путем. Тихие улицы в глубокой тени, мешки с мусором, выставленные на тротуары. Мы перешли закатный путепровод, ненадолго остановившись посмотреть, как мимо проносятся машины. В стекле и хроме отражалось солнце.

– Вы убийца или смертник, Джек?

– Вы же знаете ответ. Я всю жизнь был смертником.

– В таком случае, что вы можете сделать?

– А что вообще может сделать смертник? Разве не ясно, что человек такого склада не способен переметнуться на сторону противника?

– Давайте поразмышляем об этом. Рассмотрим, так сказать, нрав зверя. Животного мужского пола. Разве в душе мужчины нет неисчерпаемого запаса, резерва, источника потенциального физического насилия?

– Теоретически, наверно, есть.

– А мы и рассуждаем чисто теоретически. Именно так мы и рассуждаем. Двое друзей на улице, в тени деревьев. Как же еще, если не теоретически? Разве не там – глубинная залежь, нечто вроде месторождения сырой нефти, которое можно использовать, когда представится случай? Огромное черное озеро мужской ярости.

– Вот и Бабетта о том же. О кровожадной ярости, чреватой убийством. Вы рассуждаете так же.

– Удивительная женщина. Она права или нет?

– Теоретически? Вероятно, права.

– Разве нет в мужской душе некоего грязного пространства, о котором вы бы предпочли ничего не знать? Пережитка некоего доисторического периода, когда по земле бродили динозавры, а мужчины сражались кремневыми орудиями? Когда убить – значило выжить?

– Бабетта говорит о мужской биологии. А может, не о биологии, а о геологии?

– Разве это имеет значение, Джек? Мы лишь хотим выяснить, есть ли все это в глубине души самого скромного и благоразумного человека.

– Думаю, есть. Вполне возможно. Смотря по обстоятельствам.

– Так есть или нет?

– Есть, Марри. Ну и что?

– Просто я хочу это от вас услышать. Только и всего. Просто пытаюсь установить истины, которыми вы и без того владеете, – истины, которые на неком элементарном уровне всегда были вам известны.

– Вы хотите сказать, что смертник может стать убийцей?

– Я всего лишь приглашенный преподаватель. Я теоретизирую, хожу на прогулки, восхищаюсь деревьями и домами. У меня есть мои студенты, моя арендованная комната; мой телевизор. Иногда я беру на заметку то слово, то образ. Я восхищаюсь газонами, верандами. Какая замечательная вещь – веранда! Как я жил до сих пор без веранды, на которой можно посидеть? Я размышляю, строю догадки, постоянно делаю записи. Сюда я приехал думать и смотреть. Хочу предупредить вас, Джек. Я и впредь буду упорно этим заниматься.

Мы миновали мою улицу и стали подниматься в гору к колледжу.

– Кто ваш доктор?

– Чакраварти, – сказал я.

– Хороший врач?

– Откуда мне знать?

– У меня вывих плеча. Старая сексуальная травма.

– Я боюсь к нему обращаться. Распечатку своей смерти я спрятал в нижний ящик комода.

– Я знаю, как вам приходится. Но самое трудное еще впереди. Вы уже попрощались со всеми, кроме самого себя. А как человек прощается с собой? Весьма любопытная экзистенциальная дилемма.

– Это уж точно.

Мы прошли мимо административного корпуса.

– Очень жаль, что это скажу именно я, Джек, но не сказать нельзя.

– Что?

– Лучше уж вы, чем я.

Я мрачно кивнул.

– Почему этого нельзя не сказать?

– Потому что друзья должны быть откровенны друг с другом до конца, какой бы горькой ни была правда. Я бы чувствовал себя ужасно, если бы не сказал вам то, что думаю, – особенно в такой

момент.

– Я ценю это, Марри. Действительно ценю.

– К тому же, это часть всеобщего опыта умирания. Не важно, размышляете вы об этом осознанно или нет, но на каком-то уровне вы отдаете себе отчет в том, что все вокруг думают: «Лучше уж он, чем я». Это вполне естественно. Нельзя ни винить этих людей, ни желать им зла.

– Все, кроме моей жены. Она хочет умереть первой.

– Зря вы так уверены, – сказал Марри. У входа в библиотеку мы пожали друг другу руки. Я поблагодарил его за откровенность.

– Именно к этому все, в конце концов, и сводится, – сказал он. – Человек всю жизнь прощается с другими людьми. Как же он прощается с самим собой?

Я выбросил проволоку от багета, металлические подставки для книг, пробковые подставки для бутылок, пластмассовые бирки для ключей, пыльные пузырьки с меркурохромом и вазелином, задубевшие кисти, затвердевшие сапожные щетки, загустевшую жидкость-корректор. Выбросил огарки свечей, ламинированные салфетки, обтрепанные кухонные варежки. Я не пощадил ни вешалки-плечики, ни планшеты с магнитными зажимами. Я жаждал мести и вел себя, как дикарь. С каждой вещью у меня были свои счеты. Это они как-то ухитрились втравить меня в эту историю. Погубили меня, не оставив ни малейшей надежды на спасение. За мной по пятам, храня почтительное молчание, ходили обе девочки. Я выбросил свою продавленную фляжку, обшитую хаки, свои нелепые хиповые сапоги. Выбросил дипломы, аттестаты, награды и грамоты. Девочки остановили меня, когда я шарил в ванных, сметая на пол обмылки, влажные полотенца, флаконы из-под шампуня с выцветшими этикетками и без колпачков.

ПРОСИМ ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ. Через несколько дней вы получите по почте вашу новую кредитную карточку для банковского автомата. Если это будет красная карточка с серебряной полоской, ваш секретный код останется таким же, как сейчас. Если это будет зеленая карточка с серой полоской, вам следует явиться с карточкой в ваше отделение банка для разработки нового секретного кода. Особой популярностью пользуются коды, основанные на датах рождения. ВНИМАНИЕ! Нигде не записывайте ваш код. Не носите свой код с собой. ПОМНИТЕ! Вы не получите доступа к своему банковскому счету, если ваш код будет введен неправильно. Запомните свой код наизусть. Никому не сообщайте свой код. Только ваш код позволяет вам получить доступ в систему.

38

Я лежал, уткнувшись головой Бабетте в грудь: похоже, так в последнее время я устраивался все чаще. Она погладила меня по плечу.

– Марри говорит, проблема втом, что мы не подавляем свой страх.

– Не подавляем?

– Одним людям это дано, другим нет.

– Дано? Я думала, подавление устарело. Нам уже много лет не советуют подавлять свои страхи и желания. Подавление – причина нервного напряжения, беспокойства, угнетенного состояния, сотен болезней и недомоганий. Я думала, мы ни в коем случае не должны ничего подавлять. Нам советуют говорить о наших страхах, устанавливать контакт со своими чувствами.

– О контакте со смертью речи не идет. Смерть так беспощадна, что страх приходится подавлять – тем из нас, кто умеет.

– Но подавление – это же просто самообман, нечто механическое. Это всем известно. Мы не должны сдерживать свое естество.

– По словам Марри, сдерживать свое естество естественно. В этом – наше главное отличие от животных.

– Но это же безумие.

– Это единственный способ выжить, – сказал я, не отрывая головы от ее груди.

Задумавшись, она погладила меня по плечу. Серые вспышки статики: человек неподвижно стоит возле двуспальной кровати. Вся расплывчатая искаженная фигура идет рябью. Его соседку по номеру мне представлять не нужно. Внешне наши тела – ее и мое – единое целое, но все удовольствие от касания уже отнял у меня мистер Грей. Это его наслаждение я испытывал, его подлая властная натура овладела Бабеттой вместо меня. В другом конце коридора раздался взволнованный голос: «Если вы постоянно забываете, куда дели моток бечевки, положите его в корзинку «Барни», присоедините к своей кухонной пробковой доске несколько пружинных зажимов, прикрепите корзинку к зажимам. Проще простого!»

На другой день я впервые взял с собой в колледж автоматический пистолет «Цумвальт». Когда я читал лекции, он лежал в боковом кармане пиджака, когда принимал посетителей в кабинете – в верхнем ящике стола. Пистолет породил другую реальность, которую я уже начинал обживать. Хрустально-чистый

воздух вызывал головокружение. В груди теснились невыразимые щемящие чувства. Эту реальность я мог контролировать, тайно подчинять своей воле.

Какие глупцы – те, кто входит ко мне в кабинет без оружия!

Как-то раз, под вечер, я достал пистолет из стола и внимательно его осмотрел. В обойме осталось только три патрона. Интересно, каким образом Вернон Дики израсходовал недостающие боеприпасы (или как там называют их люди, разбирающиеся в огнестрельном оружии?). Четыре таблетки дилара, три пули «Цумвальта». Почему я удивился, обнаружив, что пули отлиты именно в форме пуль? Наверно, думал, что за десятилетия, минувшие с тех пор, как до меня дошли первые сведения о предметах и их назначении, почти все вещи приобрели новые названия и очертания. Оружие имело форму пистолета, маленькие остроконечные снарядики – форму пуль, несомненно. Как вещи, запомнившиеся с детства: порой наткнувшись на них через сорок лет, вы впервые сознаете, что они сделаны гениально.

В тот вечер я услышал, как Генрих у себя в комнате уныло напевает «Улицы Ларедо». Я заглянул к нему спросить, вошел ли, наконец, Орест в клетку.

– Все сказали, что это негуманно. Никто так и не дал официального разрешения. Ему пришлось уйти в подполье.

– Где же это подполье?

– В Уотертауне. Орест и его тренер. Они нашли там нотариуса, который пообещал заверить документ, подтверждающий, что Орест Меркатор столько-то дней провел взаперти с этими ядовитыми пресмыкающимися и все такое прочее.

– Где же они нашли в Уотертауне большую застекленную клетку?

– Они ее и не нашли.

– Что же они нашли?

– Комнату в единственной гостинице. Да и змей было всего три. И через четыре минуты его укусили.

– Ты хочешь сказать, что хозяин гостиницы разрешил ему держать в номере ядовитых змей?

– Хозяин ничего не знал. Человек, который раздобыл змей, принес их в дорожной сумке. Этот грандиозный трюк удался отлично – вот только человек явился с тремя змеями вместо обещанных двадцати семи.

– Иными словами, он сказал им, что может раздобыть двадцать семь змей.

– Ядовитых. Только эти ядовитыми не были. Так что Ореста укусили неизвестно зачем. Придурок.

– Теперь он вдруг придурок.

– Все их противоядия зря пропали. Четыре минуты – и ага.

– Как он себя чувствует?

– А ты бы как себя чувствовал, будь ты придурком?

– Радовался бы, что остался жив.

– Нет, Орест не такой. Он исчез из поля зрения. Полностью самоизолировался. С тех пор, как это случилось, его никто не видел. Никому не открывает дверь, не подходит к телефону, не появляется в школе. Все по-честному.

Я решил немного прогуляться, а заодно зайти к себе в кабинет, взглянуть на последние экзаменационные работы. Большинство студентов уже уехали – им не терпелось предаться банальному гедонизму очередного голозадого лета. В колледже было темно и безлюдно. Сгущался зыбкий туман. Когда я шел мимо шеренги деревьев, мне показалось, что сзади, ярдах в тридцати, ко мне кто-то подкрадывается. Я оглянулся – на тропинке никого. Неужели из-за пистолета нервы пошаливают? Может, оружие вообще провоцирует насилие, а его силовое поле притягивает другие пистолеты? Я быстро пошел к Сентенари-холлу. Послышались шаги по гравию, отчетливый хруст. Совсем рядом, на краю автостоянки, среди окутанных туманом деревьев, явно кто-то был. Если я вооружен, то почему испугался? Если испугался, почему не убегаю? Я отсчитал еще пять шагов и бросил взгляд налево. Параллельно тропинке, то и дело скрываясь в глубокой тени, двигалась какая-то фигура. Сунув руку в карман и сжав пистолет, я припустился неуклюжей трусцой. Посмотрел еще раз – опять никого. Озираясь, я сбавил шаг, пересек широкий газон и услышал мерный топот – человек понесся вприпрыжку. На сей раз он возник справа – изо всех сил мчался ко мне. Я пустился бежать, петляя, надеясь стать неудобной мишенью для того, кто будет стрелять мне в спину. Никогда еще я не петлял на бегу. Не поднимая головы, я делал резкие, непредсказуемые рывки в стороны. Бежать так было даже интересно. Меня поражал диапазон возможностей, количество комбинаций, которые удается составлять в рамках отклонений вправо и влево. Я вильнул влево, рванул еще левее, резко метнулся вправо, сделал финт влево, ушел влево, ушел далеко вправо. Ярдов за двадцать до края открытого участка я перестал плести танцевальные узоры и со всех ног бросился прямиком к стоящему впереди дубу. Вытянул вперед левую руку, стремглав обогнул дерево, резко остановился, попятился, одновременно выхватив правой рукой «Цумвальт» из кармана пиджака, и наконец, повернувшись лицом к преследователю, спрятался за деревом с пистолетом на изготовку.

Так ловко я еще никогда не действовал. Я вглядывался в густой туман, из которого доносились глухие шаги. Когда человек приблизился, я обратил внимание на знакомую подпрыгивающую походку и сунул пистолет в карман. Конечно же: это была Винни Ричардс.

– Здравствуйте, Джек. Сперва я вас не узнала и потому на всякий случай пошла в обход. А когда поняла, что это вы, сказала себе: вот человек, который мне нужен.

– Зачем же?

– Помните, в прошлый раз вы спрашивали меня о засекреченной группе исследователей? Которые изучают страх смерти? Пытаются усовершенствовать какой-то препарат?

– Конечно… дилар.

– Вчера в кабинете лежал один журнал. «Американский психобиолог». А там любопытная статейка. Такая группа и вправду существовала. При поддержке гигантской многонациональной корпорации. Работала в обстановке строжайшей секретности, в неприметном здании на окраине Айрон-Сити.

– Зачем понадобилась строжайшая секретность?

– Это очевидно. Чтобы предотвратить шпионаж конкурентов. Дело в том, что исследователи вплотную подошли к достижению своей цели.

– Что же им помешало?

– Многое. Местным гениальным организатором, одной из самых влиятельных фигур, стоявших за всем этим проектом, был некий тип по имени Вилли Минк. Как выяснилось, тип с довольно сомнительной репутацией. Он совершает поступки весьма сомнительного свойства.

– Бьюсь об заклад, я знаю, какой поступок он совершает прежде всего. Помещает в бульварной газете объявление о наборе добровольцев для проведения опасного эксперимента. Под заголовком «СТРАХ СМЕРТИ».

– Совершенно верно, Джек. Маленькое объявление в какой-нибудь занюханной газетенке. С теми, кто откликнулся, он беседует в номере мотеля – предлагает тесты на эмоциональную устойчивость и многое другое, пытается графически изобразить будущую смерть каждого человека. Беседы в мотеле. Когда об этом становится известно ученым и адвокатам, они малость свирепеют, объявляют Минку выговор и направляют все свои усилия на компьютерные исследования. Свирепая официальная реакция.

– Но этим дело не кончается.

– Вы совершенно правы. Несмотря на то обстоятельство, что

за Минком установлено пристальное наблюдение, один из добровольцев ухитряется незаметно проскользнуть сквозь завесу бдительности и приступает к выполнению программы почти неконтролируемых опытов над человеком с применением абсолютно неизвестного, непроверенного, никем не одобренного лекарства, обладающего побочными эффектами, от которых и кит выбросился бы на берег. Хорошо сложенный неконтролируемый человек.

– Женского пола, – сказал я.

– Совершенно верно. Она периодически является к Минку в тот самый мотель, где на первых порах он проводил свои беседы, – то приезжает на такси, то идет пешком от ветхого, унылого автовокзала. В чем она приходит, Джек?

– Не знаю.

– В лыжной маске. Это женщина в лыжной маске. Когда об очередной выходке Минка становится известно всем остальным, наступает время долгих сомнений, споров, вражды, судебного разбирательства и позора. У гигантских фармацевтических корпораций, как и у нас с вами, есть свои нормы нравственности. Руководитель проекта уволен, проект продолжается без него.

– А в статье не сказано, что с ним случилось?

– Репортер его выследил. Минк живет в том же мотеле, где проводились все эти сомнительные эксперименты.

– И где этот мотель?

– В Немецком квартале.

– Где это? – спросил я.

– В Айрон-Сити. Старый немецкий район. За литейным заводом.

– Я и не знал, что в Айрон-Сити есть район под названием Немецкий квартал.

– Немцы там, конечно, больше не живут.

Я пошел прямо домой. Дениза ставила галочки в дешевой книжке под названием «Справочник бесплатных телефонных номеров». Бабетту я нашел возле кровати Уайлдера. Она сидела и читала ему сказку.

– Против спортивной одежды как таковой я ничего не имею, – сказал я. – Время от времени ходить в тренировочном костюме очень удобно. Но мне бы не хотелось, чтобы в нем ты читала Уайлдеру сказки на ночь или заплетала Стеффи косички. Спортивный костюм ставит под угрозу все, что делает эти минуты такими трогательными.

– Может, я не просто так надела спортивный костюм.

– Вот как? И зачем же?

– Собираюсь побегать.

– По-твоему, это хорошая мысль? На ночь глядя?

– Что такое ночь? Она бывает семь раз в неделю. В чем тут уникальность?

– Сейчас темно, сыро.

– Мы что, живем под ослепительным солнцем пустыни? Подумаешь, сырость. К сырости мы притерпелись.

– Так Бабетта не говорит.

– Неужели жизнь должна остановиться только потому, что в нашем полушарии темно? Разве ночью что-нибудь физически противодействует бегуну? Мне необходимо дышать с трудом, задыхаться. Что такое тьма? Всего лишь другое название света.

– Никто не убедит меня в том, что особа по имени Бабетта и вправду хочет в десять часов вечера бегать по ступенькам стадиона.

– Дело не в том, чего я хочу, а в том, что мне необходимо. Моей жизни нет больше места в сфере желаний. Я делаю то, что должна делать. Дышу с трудом, задыхаюсь. Каждый бегун понимает, что это необходимо.

– Почему ты должна бегать вверх по ступенькам? Ты же не профессиональная спортсменка, которая пытается набрать форму после травмы колена. Бегай по ровной местности. Не превращай это в свое главное увлечение. Чем только люди не увлекаются в наше время.

– Это моя жизнь. Я склонна увлекаться.

– Твоя жизнь – не это. Это всего лишь физические упражнения.

– Необходимые бегуну, – сказала она.

– Мне тоже кое-что необходимо. Сегодня мне необходима машина. Не дожидайтесь меня и ложитесь спать. Может, я вернусь не скоро.

Я ждал, когда она спросит, ради какой таинственной миссии я должен садиться в машину и ехать куда-то дождливой ночью, не имея представления, когда вернусь.

Она сказала:

– Не могу же я дойти пешком до стадиона, пять или шесть раз подняться бегом по ступенькам, а потом тащиться до самого дома. Ты вполне можешь отвезти меня, подождать и отвезти обратно. Потом машина в твоем распоряжении.

– Не хочется. Что ты на это скажешь? Тебе нужна машина, ты ее и бери. На дорогах скользко. Ты знаешь, что это значит, не правда ли?

– Что это значит?

– Надо пристегиваться за рулем. Кроме того, на улице прохладно. Ты же знаешь, что значит прохладная погода.

– Что же?

– Надо носить лыжную маску, – сказал я ей.

Я надел пиджак и вышел из дома. После воздушнотоксического явления наши соседи Стоверы оставляли свою машину не в гараже, а на дорожке у дома – разворачивали к улице и не вытаскивали ключ зажигания. Я поднялся по дорожке и сел в машину. На приборном щитке и спинках сидений висели мешочки для мусора – полиэтиленовые пакеты, полные оберток от жвачки, использованных билетов, вымазанных губной помадой косметических салфеток, сплющенных жестянок из-под газировки, скомканных рекламных листков и квитанций, всякого сора из пепельниц, жареной картошки и палочек от фруктового мороженого, смятых купонов, бумажных носовых платков, расчесок со сломанными зубцами. Осмотревшись и освоившись, я завел мотор, включил фары и поехал.

Улицу Мидлбрук я пересек на красный свет. В конце выезда на магистраль, я даже не притормозил. До самого Айрон-Сити я ехал как во сне, свободный, оторванный от реальности. У пункта сбора пошлины я сбавил скорость, но не потрудился бросить в корзинку четвертак. Сигнализация сработала, однако в погоню никто не пустился. Что такое один четвертак для штата, задолжавшего миллиарды? Что такое двадцать пять центов, когда речь идет об угнанной машине стоимостью в девять тысяч долларов? Наверное, именно так люди избавляются от земного тяготения, от безотчетного гравитационного трепета, ежечасно приближающего нас к смерти. Перестают ходить по струнке и все. Не покупают, а воруют; стреляют, а не болтают языком. На мокрых от дождя подъездных дорогах к Айрон-Сити я еще два раза проехал на красный свет. На окраине стояли невысокие длинные строения – рыбные и овощные магазины, мясные лотки с обветшалыми деревянными навесами. Въехав в город, я включил радио – компания мне требовалась не на пустынном шоссе, а здесь, на булыжных мостовых, среди натриевых фонарей, где пустота неотступна. В каждом городе есть свои особые районы. Я миновал район брошенных автомобилей, район невывезенного мусора, район снайперской стрельбы, район тлеющих диванов и битого стекла. Осколки хрустели под колесами. Я ехал к литейному заводу.

Запоминающее устройство с произвольной выборкой, синдром приобретенного иммунодефицита, гарантированное взаимное уничтожение.

Я по-прежнему чувствовал себя необычайно легким – легче воздуха, бесцветным, лишенным запаха, невидимым. Но при всем ощущении легкости и нереальности во мне нарастало нечто иное,

чувство совсем другого порядка. Некая волна, неодолимое желание, кипение страстей. Я сунул руку в карман и потерся костяшками пальцев о шероховатый стальной ствол «Цумвальта». Человек по радио сказал: «Где запрещено, там недействительно».

39

Я дважды объехал литейный завод, пытаясь отыскать следы былого присутствия немцев. Миновал сплошной ряд домов с террасами. Они стояли на крутом склоне холма – каркасные, с узкими фасадами, скаты крыш карабкались в гору. Под шум дождя проехал мимо автовокзала. Я не сразу нашел мотель – одноэтажное здание у бетонного быка автодорожной эстакады. Мотель назывался «Эстакада».

Невинны забавы, да жестока расправа.

Место безлюдное – размалеванный краской из баллончиков район складов и фабрик. В мотеле девять или десять комнат – всюду темно, перед входом ни одной машины. Трижды проехав мимо, я изучил обстановку, проехал еще полквартала и поставил машину под эстакадой, среди строительного мусора. Потом вернулся пешком. Таковы были первые три элемента моего плана.

Вот мой план. Проехать мимо места несколько раз, оставить машину на порядочном расстоянии, вернуться пешком, установить местонахождение мистера Грея под настоящим или вымышленным именем, трижды выстрелить ему в живот, чтобы боль оказалась максимальной, стереть с оружия отпечатки, вложить оружие в подрагивающую от помех руку жертвы, найти цветной мелок или тюбик губной помады и быстро написать на большом зеркале загадочные предсмертные слова, забрать у жертвы весь запас дилара, незаметно вернуться к машине, выехать на скоростную магистраль, направиться на восток, к Блэкс-миту, свернуть на старую дорогу, идущую вдоль берега реки, поставить машину Стовера в гараж Старика Тридуэлла, закрыть дверь гаража и под дождем, в тумане, пойти пешком домой.

Превосходно. Ко мне вернулось беззаботное настроение. Сознание прояснялось. Я осмыслял каждый свой шаг. С каждым шагом постигал процессы, отдельные детали, взаимосвязь явлений. Вода падала на землю каплями. Я все видел по-новому.

Над служебным входом имелся алюминиевый навес. На двери имелись желобки с маленькими пластмассовыми буквами – составлять объявления. Сейчас объявление гласило: «ЯД НЕПР ГОЛ ЦУП КО».

Тарабарщина, но качественная. Я пошел вдоль стены, заглядывая в окна. План таков: останавливаться у края каждого окна, прижавшись спиной к стене, и, поворачивая голову, осматривать комнаты по периметру. На одних окнах занавесок не было, на других – жалюзи или пыльные шторы. В темных

комнатах неясно вырисовывались контуры стульев и кроватей. Над головой грохотали грузовики. В предпоследнем номере очень слабо мерцал свет. Немного не доходя окна, я остановился, прислушался. Повернул голову и краем глаза заглянул в комнату. В низком кресле, глядя вверх, на мерцающий свет, кто-то сидел. Я чувствовал себя частью хитросплетения структур и каналов. Я добирался до самой сути явлений. Готовясь применить насилие, нанести разящий удар, я постепенно уяснял фактическое положение вещей. Вода падает каплями, поверхности отражают свет.

Мне пришло в голову, что стучать не придется. Дверь будет открыта. Я сжал ручку, осторожно открыл дверь, неслышно вошел в комнату. Крадучись. Это нетрудно. Все это вообще не составит труда. Я стоял у двери и оценивал обстановку, обращая особое внимание на атмосферу комнаты, на вязкий воздух. Информация быстро поступала со всех сторон – быстро, но не сразу, небольшими порциями. Разумеется, там сидел мужчина, сидел развалясь, в кресле на низких ножках. Гавайская рубашка, шорты с логотипом «Бадвайзера». На ногах болтались пластиковые сандалеты. Приземистое кресло, смятая постель, ковровое покрытие, обшарпанный туалетный столик, унылые зеленые стены и потрескавшийся потолок. Телевизор висел на металлическом кронштейне, направлен экраном к человеку.

Он заговорил первым, не сводя глаз с мерцавшего экрана:

– Вы удручены или подавлены?

Я по-прежнему стоял у двери.

– Вы – Минк, – сказал я.

Через некоторое время он посмотрел на меня – здоровенного сутулого добряка с незапоминающимся лицом.

– Что это за имя – Вилли Минк? – спросил я.

– Имя и фамилия. Как у всех.

С акцентом он говорит или нет? Странно вогнутое лицо с выпуклым лбом и торчащим подбородком. Телевизор работал без звука.

– Некоторые из этих устойчивых толсторогов снабжены радиопередатчиками, – сказал он.

Я ощущал давление и плотность вещей. Столько всего – и сразу. Я чувствовал, как активизируются молекулы у меня в мозгу, как они движутся по нейропроводящим путям.

– Вы, конечно, пришли за диларом.

– Конечно. Зачем же еще?

– Зачем же еще? Чтобы избавиться от страха.

– Избавиться от страха. Прочистить мозги.

– Прочистить мозги. Именно за этим ко мне и приходят.

Вот каков был мой план. Войти без доклада, завоевать его доверие, усыпить бдительность, выхватить «Цумвальт», трижды выстрелить ему в живот, чтобы агония была максимально долгой, вложить пистолет ему в руку для создания правдоподобной картины самоубийства одинокого человека, написать на зеркале нечто маловразумительное, оставить машину Стовера в гараже Тридуэлла.

– Раз вы вошли сюда, значит, согласились на определенное поведение, – сказал Минк.

– Какое поведение?

– Комнатное поведение. Суть комнат в том, что они – внутри. Ни один человек не должен входить в комнату, если он этого не понимает. В комнатах люди ведут себя совсем не так, как на улицах, в парках и аэропортах. Войти в комнату – значит согласиться вести себя определенным образом. Отсюда следует, поведение должно быть именно таким, какое принято в комнатах. Это норма, не применимая ни к пляжам, ни к автостоянкам. В этом вся суть комнат. Никто не должен входить в комнату, не понимая сути. Между человеком, входящим в комнату, и человеком, в чью комнату входят, существует неписаное соглашение, не имеющее отношения ни к зеленым театрам, ни к открытым бассейнам. Назначение комнаты вытекает из ее особого свойства. Комната находится внутри. Именно об этом должны условиться люди в комнате – в отличие от газонов, лугов, полей и садов.

Я был совершенно согласен. Он рассуждал весьма здраво. Зачем же я пришел, если не присмотреться, сосредоточиться, прицелиться? Я услышал шум – слабый, монотонный, белый.

– Прежде чем приступить к проекту свитера, – сказал он, – спросите себя, какой тип рукава будет отвечать вашим запросам.

Нос у него был приплюснутый, кожа – цвета земляных орехов «Плантерз». Каково географическое происхождение этого вогнутого, как ложка, лица? Быть может, он меланезиец, полинезиец, индонезиец, непалец, суринамец, помесь голландца с китайцем? А может – собирательный образ? Сколько народу приходит сюда за диларом? Где находится Суринам? Как идет выполнение моего плана?

Я изучал усыпанную пальмами ткань его свободной рубашки, бадвайзерский рисунок, многократно повторенный на бермудах. Шорты были ему велики. Глаза полуприкрыты. Волосы длинные, всклокоченные. Он сидел развалясь, в позе застрявшего в аэропорту пассажира, давно отупевшего от затянувшегося ожидания, неумолчного гомона. Мне стало жаль Бабетту. Вот ее последняя надежда на утешение и спокойствие – этот вялый,

усталый тип с всклокоченными волосами, превратившийся в обычного торговца наркотой, теряющий рассудок в вымершем мотеле.

Обрывки звуков, клочья, кружащиеся пятнышки. Преувеличенная реальность. Плотность, в то же время ставшая прозрачностью. Поверхности отражают свет. Вода барабанит по крыше сферическими, шаровидными частицами, каплями, которые разлетались брызгами. Все ближе к насилию, ближе к смерти.

– Возможно, домашнее животное, испытывающее стресс, нуждается в строгой диете, – сказал он.

Конечно, он не всегда был таким. Руководитель проекта, энергичный, напористый. Даже теперь в его лице и глазах виднелись чудом сохранившиеся следы былой предприимчивости, проницательности и незаурядного интеллекта. Он сунул руку в карман, вытащил пригоршню белых таблеток, бросил их себе в рот. Одни попали в цель, другие пролетели мимо. Блюдцевидные пилюли. Конец страху.

– Откуда вы родом, Вилли? Можно вас так называть?

Он задумался, пытаясь вспомнить. Мне хотелось, чтобы он почувствовал себя непринужденно, заговорил о себе, о диларе. Часть моего плана. А план мой таков: поворачивать голову и заглядывать в комнаты, сделать так, чтобы он почувствовал себя непринужденно, усыпить его бдительность, трижды пальнуть в брюхо, чтобы боль оказалась максимально эффективной, забрать дилар, свернуть на дорогу, идущую вдоль берега реки, закрыть дверь гаража и под дождем, в тумане, пойти пешком домой.

– Я не всегда был таким, как сейчас.

– Как раз об этом я и думал.

– Я занимался важным делом. Даже сам себе завидовал. Работы было буквально невпроворот. Смерть без страха – явление повседневное. С нею можно свыкнуться. Английский я выучил, когда смотрел американское телевидение. А сексом по-американски впервые занимался в Порт-о-Сэне, штат Техас. Всё, что говорили, оказалось правдой. Вот бы еще вспомнить.

– Вы хотите сказать, что мы не представляем себе смерть без страха. Но люди привыкнут к ней, примирятся с ее неизбежностью.

– Дилар не оправдал ожиданий, как мы ни старались. Но всё непременно образуется. Может, сейчас, а может, и никогда. Благодаря теплу вашей руки золотая фольга все-таки прилипнет к вощеной бумаге.

– То есть, по-вашему, в конце концов появится эффективное средство. Лекарство от страха.

– После чего усовершенствуется смерть. Станет более эффективной, продуктивной. Как раз этого и не понимают ученые, пытающиеся очистить свои рабочие халаты пятновыводителем «Вулайт». Впрочем, с нашей выгодной позиции на самой верхней трибуне стадиона «Метрополитен Каунти» лично я против смерти ничего не имею.

– Вы хотите сказать, что смерть приспосабливается? Что все наши попытки повлиять на нее напрасны?

Нечто подобное сказал однажды Марри. А кроме того, Марри сказал: «Но представьте себе прилив первобытной силы при виде поверженного в прах, истекающего кровью врага! Он умирает, вы остаетесь жить».

Все ближе к смерти, ближе к удару металлических снарядов о человеческую плоть, к приливу первобытных сил. Я смотрел, как Минк принимает новую порцию пилюль – швыряет их себе в лицо, сосет, словно леденцы, не сводя при этом глаз с мерцающего экрана. Волны, излучение, когерентные лучи. Я все видел по-новому.

– Только между нами, – сказал он. – Я ем эту дрянь, как конфеты.

– Я только что об этом думал.

– Сколько вы хотите купить?

– А сколько мне нужно?

– Я вижу, вы грузный белый мужчина лет пятидесяти. Это отражает ваши муки? Я вижу, вы – человек в сером пиджаке и светло-коричневых брюках. Ну, скажите, что я прав. Впрочем, в переводе, так сказать, с Фаренгейта на Цельсий, именно это вы и делаете.

Воцарилась тишина. Предметы засверкали. Приземистое кресло, обшарпанный туалетный столик, смятая постель. Кровать была на колесиках. Я подумал: вот она, сероватая фигура, ставшая источником моих мучений, вот человек, который отнял у меня жену. Катала ли она его по комнате, пока он сидел на кровати и глотал пилюли? А может, каждый лежал ничком на своем краю кровати и, опустив руку, отталкивался от пола? Может, кровать вертелась при любовных утехах, и над маленькими колесиками, вращающимися на шарнирах, вспенивались подушки с простынями? И вот теперь полюбуйтесь-ка на него: светится в темноте, скалит зубы в старческой ухмылке.

– Я едва забыл, – сказал он, – чем занимался в этой комнате до того, как оказался не у дел. Была одна женщина в лыжной маске, только имени ее сейчас не могу вспомнить. Благодаря сексу по-американски, смею вас заверить, я и выучил английский

язык.

Воздух был насыщен сверхчувственной информацией. Все ближе к смерти, ближе к ясновидению. К разящему удару. Я сделал два шага вперед, к середине комнаты. У меня был превосходный план. Постепенно продвинуться вперед, завоевать его доверие, выхватить «Цумвальт», выпустить три пули ему в живот, чтобы боль во внутренних органах была максимально мучительной, стереть с оружия отпечатки, исписать зеркала и стены предсмертными откровениями человека, совершившего ритуальное самоубийство, забрать его запас дилара, незаметно вернуться к машине, выехать на скоростную магистраль, направиться на восток, к Блэксмиту, оставить машину Стовера в гараже Тридуэлла и под дождем, в тумане, пойти пешком домой.

Он сожрал новую порцию пилюль, высыпав половину на свои бадвайзерские шорты. Я продвинулся еще на шаг. По всему огнеупорному ковру были разбросаны треснувшие таблетки дилара. Раздавленные, растоптанные. Несколько таблеток Минк швырнул в экран. Телевизор был серебристый, отделан ореховым шпоном. Картинка непрерывно скакала.

– А теперь я беру металлический тюбик золотой краски, – сказал он. – При помощи мастихина и непахучего скипидара сгущаю краску на своей палитре.

Мне вспомнился рассказ Бабетты о побочных эффектах препарата. Я сказал, для проверки:

– Самолет падает!

Он посмотрел на меня, схватившись за подлокотники кресла, и в глазах у него появились первые признаки паники.

– Самолет резко теряет высоту! – сказал я, твердо, властно.

Он сбросил сандалеты и согнулся, приняв позу, которую рекомендуют принимать при авиакатастрофах – низко опустив голову и сцепив пальцы рук под коленями. Этот маневр он проделал машинально, с ловкостью феноменально гибкого акробата, самозабвенно, как ребенок или мим. Интересно. Препарат не только заставляет человека путать слова с явлениями, которые они обозначают; человек и действовать начинает утрированно. Я смотрел, как он сидит, согнувшись и дрожа. Таков мой план. Заглядывая в окна, осмотреть комнаты по периметру, войти без доклада, довести его до дрожи, выстрелить в него максимум три раза, свернуть на дорогу вдоль берега реки, закрыть дверь гаража.

Я сделал еще один шаг к середине комнаты. Картинка на экране дрыгалась, дрожала, запутывалась, а Минк представлялся мне все яснее. Самая суть явлений. Фактическое положение вещей. В конце концов, он с трудом разогнулся и удачно поднялся

с кресла, выделившись четким контуром в насыщенном воздухе. Повсюду белый шум.

– Содержит препарат железа, никотиновую кислоту и рибофлавин. Английский я выучил в самолетах. Это международный язык авиации. Зачем вы пришли, белый человек?

– Хочу купить.

– Вы совсем белый, знаете?

– Это потому что я умираю.

– Лекарство быстро восстановит ваши силы.

– Я все равно умру.

– Но это уже не будет иметь значения, то есть будет не так уж важно. Некоторые из этих игривых дельфинов снабжены радиопередатчиками. Возможно, благодаря их дальним странствиям мы узнаем много интересного.

Мое сознание продолжало проясняться. Предметы светились, дышали тайной жизнью. Вода барабанила по крыше удлиненными сферами, каплями, которые разлетались брызгами. Я впервые понял, что представляет собой дождь на самом деле. Понял, что значит вымокнуть. Постиг биохимические процессы, происходящие в моем мозге, постиг смысл сновидений (отработанного материала предчувствий). Повсюду интереснейшие данные, быстро заполняющие комнату – быстро, но не сразу. Насыщенность, плотность. Я верил всему. Я был буддистом, джайнистом, баптистом реки Дак. Единственная печаль – Бабетта, которой приходилось целовать типа со впадиной на физиономии.

– Она приходила в лыжной маске, чтобы не целоваться со мной, говорила, это не по-американски. Я объяснял ей, что комнаты находятся внутри. Нельзя входить в комнату, не согласившись с этим. В этом же вся суть, в отличие от новообразовавшихся береговых линий, континентальных плато. А можно есть натуральную крупу, овощи, яйца без рыбы, без фруктов. Или фрукты, овощи, животные белки без крупы, без молока. Или пить много соевого молока ради витамина B-12 и есть много овощей, чтобы регулировать выделение инсулина, но не есть ни мяса, ни рыбы, ни фруктов. Или есть белое мясо, но не есть черного. Или потреблять B-12, но никаких яиц. Или яйца, но никакой крупы. Существует бесчисленное множество полезных сочетаний.

Я уже готов был убить его. Но не хотелось ставить под угрозу выполнение плана. План был тщательно продуман. Проехать мимо места несколько раз, пешком подойти к мотелю и, поворачивая голову, осмотреть комнаты по периметру, установить местонахождение мистера Грея под его настоящим

именем, войти без доклада, завоевать его доверие, постепенно продвинуться вперед, довести его до дрожи, усыпить бдительность, выхватить автоматический пистолет «Цумвальт» двадцать пятого калибра, выпустить три пули ему в живот, чтобы боль длилась максимально долго, сильно и нестерпимо, стереть с оружия все отпечатки, вложить оружие в руку жертвы для создания правдоподобной картины банального и вполне предсказуемого самоубийства не покидавшего мотель затворника, кровью жертвы намалевать на стенах грубые слова как свидетельство последнего припадка безумия, связанного с неким культовым ритуалом, забрать весь запас дилара, незаметно вернуться к машине, выехать на скоростную автостраду, ведущую в Блэксмит, оставить машину Стовера в гараже Тридуэлла и под дождем, в тумане, пойти пешком домой. Стараясь выглядеть внушительно и грозно, я вышел из полумрака вперед, в зону мерцающего света. Сунул руку в карман, сжал пистолет. Минк смотрел на экран. Я тихо сказал:

– Град пуль. – Держа руку в кармане.

Доверчивый, как ребенок, он бросился на пол и пополз к ванной комнате, оглядываясь через плечо, разыгрывая целую пантомиму, действуя в высшей степени обдуманно, но в то же время не скрывая объявшего его ужаса, дивного раболепного страха. Я направился следом, пройдя мимо большого зеркала, перед которым они с Бабеттой, без сомнения, принимали разнообразные позы, а его жалкий член висел при этом, как у жвачного животного.

– Расстрел, – прошептал я.

Закрыв голову обеими руками и плотно сдвинув ноги, он попытался заползти за унитаз. Я угрожающе маячил в дверях, сознавая угрозу, видя себя глазами Минка – огромным, опасным. Настала пора сообщить ему, кто я такой. Это входило в мой план. План был следующий: сообщить ему, кто я такой, объяснить, по какой причине его ждет медленная и мучительная смерть. Я назвал себя, сказал, кем приходится мне женщина в лыжной маске.

Закрыв ладонями промежность, он попытался влезть под туалетный бачок, за унитаз. Насыщенность шума в комнате одинакова на всех частотах. Звук отовсюду. Я достал «Цумвальт». Меня обуревали сильные, невыразимые чувства. Мне стало ясно, кто я такой в этом хитросплетении смыслов. Вода падала на землю каплями, благодаря чему поверхности отражали свет. Я все видел по-новому.

Минк убрал одну руку с промежности, поспешно достал из кармана очередную пригоршню таблеток, швырнул их себе в

открытый рот. На фоне дальней белой стены, на фоне белого жужжания, белело его лицо – внутренняя поверхность сферы. Он приподнялся и, разорвав карман рубашки, нашарил еще пилюли. Его страх был прекрасен. Он сказал мне:

– Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему из всех тридцати двух зубов именно эти четыре причиняют столько беспокойства? Я вернусь с ответом через минуту.

Я выстрелил из пистолета, из пушки, из ствола, из автоматического огнестрельного оружия. Звук выстрела, и без того оглушительный, усиливался волнами, отраженными от белых стен. Я смотрел, как из живота жертвы слабой струей бьет кровь. Изящной дугой. Я любовался ярким цветом, ощущал цветообразующее действие клеток, лишенных ядер. Струя превратилась в тонкую струйку, растеклась по кафельному полу. Я видел то, чего не передать словами. Я знал, что такое красный цвет, смотрел на него с точки зрения длины преобладающей волны, силы света, частоты. Боль Минка была прекрасной, сильной.

Я выстрелил второй раз – просто для того чтобы выстрелить, вновь пережить то же ощущение, услышать, как наслаиваются друг на друга звуковые волны, почувствовать, как сила резкого толчка поднимается по руке к плечу. Пуля вонзилась ему прямо в правую тазовую кость. На шортах и рубашке появилось темно-красное пятно. Я сделал паузу, чтобы уделить Минку внимание. Он сидел, втиснувшись в пространство между унитазом и стеной, в одном сандалете, глаза – сплошные белки. Я попытался увидеть себя с точки зрения Минка. Внушительный и грозный, способный подчинять людей своей воле, обретающий жизненную силу, накапливающий кредит на жизнь. Но он зашел слишком далеко, чтобы иметь точку зрения.

Все шло хорошо. Приятно сознавать, как хорошо все идет. Грузовики грохотали над головой. Занавеска душа пахла заплесневелым винилом. Насыщенность, плотность, сила разящего удара. Я подошел к скорчившейся на полу фигуре, стараясь не ступать в кровь, не оставлять разоблачительных следов. Достал свой носовой платок, тщательно вытер оружие, вложил его в руку Минка, осторожно убрав платок, аккуратно, один за другим, согнув его костлявые пальцы так, чтобы они обхватили рукоятку, и виртуозно просунув указательный палец в рамку спускового крючка. На губах у него выступила пена, совсем немного. Я отступил назад, чтобы взглянуть на последствия роковой минуты, окинуть взором место гнусного насилия и одинокой смерти на мрачных задворках общества. Таков был мой план. Отступить назад, внимательно взглянуть на все это

убожество, убедиться, что не допущено ни единой ошибки.

Глаза Минка вылезли из орбит. На миг в них отразился свет. Он поднял руку, спустил курок и ранил меня в запястье.

Весь мир схлопнулся, все эти живые, четкие структуры и связи оказались погребенными под могильными холмами обыденности. Я был разочарован. Уязвлен, ошеломлен и разочарован. Что случилось с высшим энергетическим уровнем, на котором я осуществлял свой замысел? Боль была жгучей. Вся рука от кисти до локтя была в крови. Я застонал и шатаясь попятился назад, глядя, как кровь капает с кончиков пальцев. Я был ошарашен, встревожен. На краю моего поля зрения появились цветные пятнышки. Знакомые пляшущие крапинки. Новые измерения, сверхъестественная способность к тонким наблюдениям – все свелось к визуальному хаосу, кружащемуся месиву, лишенному смысла.

– А это, возможно, представляет собой переднюю границу чуть более теплого воздуха, – сказал Минк.

Я посмотрел на него. Жив. Колени залиты кровью. Восстановился порядок вещей и нормальное восприятие, я осознал, что впервые вижу в нем личность. В голове вновь возникла путаница, причуды и выверты, издревле свойственные человеку. Сострадание, угрызения совести, милосердие. Но я не мог помочь Минку, не оказав сначала первую помощь себе. Снова достав платок, я ухитрился правой рукой и зубами крепко перетянуть запястье прямо над пулевым отверстием, то есть между раной и сердцем. Потом, сам толком не зная зачем, высосал из раны немного крови с пульпой и все это выплюнул. Пуля, не успев проникнуть глубоко, отклонилась от траектории и прошла навылет. Здоровой рукой я схватил Минка за босую ногу и поволок по заляпанному кровью кафелю. Пистолет был по-прежнему зажат у него в руке. Во всем этом виделось какое-то искупление. Я тащу его вперед ногами по кафелю, по усыпанному таблетками ковру, тащу за дверь, в ночную тьму. Нечто очень важное, возвышенное и театральное. Неужели лучше совершать злодеяния и пытаться искупить их, чем жить стоически спокойной, серой жизнью? Помню, я чувствовал себя добродетельным. Волок тяжелораненого по пустынной, темной улице и чувствовал себя запятнанным кровью и исполненным достоинства.

Дождь уже кончился. Потрясающе, как много крови мы за собой оставляем. Большей частью – крови Минка. Весь тротуар в полосах. Интересные культурные отложения. Минк с трудом поднял руку и высыпал себе в глотку очередную порцию дилара. Рука, в которой был пистолет, волочилась по земле.

Мы добрались до машины. Минк непроизвольно дернул ногой и принялся биться и вертеться, немного напоминая рыбу на берегу. От недостатка кислорода он задыхался и прерывисто хрипел. Я решил попробовать искусственное дыхание «изо рта в рот». Наклонившись, зажал ему нос двумя пальцами, как прищепкой для белья, попытался прильнуть к его губам своими. Из-за неловкости и отталкивающей интимности поступок этот казался еще более благородным – в данных обстоятельствах. Еще более значимым, более великодушным. Я все пытался добраться до рта М инка, чтобы мощными струями вдохнуть воздух ему в легкие. Уже стиснул губы, готовясь вытянуть их трубочкой. Минк смотрел, как я наклоняюсь. Возможно, думал, что я хочу его поцеловать. В этом крылась ирония, и я ее смаковал.

Рот его был забит диларовой пеной, недожеванными таблетками, крошками полимера. Я чувствовал себя великодушным и самоотверженным, я не унижался до мелочных обид. Мой поступок был ключом к бескорыстию, а может, так лишь казалось на захламленной улице под автодорожной эстакадой, когда я стоял над раненым на коленях и ритмично выдыхал воздух. Преодолеть отвращение. Простить подлеца. Принять его таким, какой есть. Через несколько минут я почувствовал, что он приходит в себя, начинает размеренно дышать. Я так и не выпрямился, наши губы почти соприкасались.

– Кто меня ранил? – спросил он.

– Вы.

– Кто ранил вас?

– Вы. Пистолет у вас в руке.

– Что я пытался доказать?

– Вы не владели собой. Не отвечали за свои поступки. Я вас прощаю.

– Кто вы, собственно, такой?

– Прохожий. Друг. Не важно.

– У одних многоножек есть глаза, а у других нет.

С большим трудом, после множества неудачных попыток, я наконец затащил его на заднее сиденье, где он и растянулся, застонав. Уже невозможно было определить, чья кровь у меня на руках и одежде – его или моя. Мое человеколюбие не знало границ. Я завел мотор. Боль в руке запульсировала, стала менее жгучей. Взявшись за руль одной рукой, я поехал по пустынным улицам Айрон-Сити искать больницу. Городской родильный дом. Дом Матери милосердной. Сочувствия и Гармонии. Я был согласен на все, даже на травмпункт в самой отвратительной части города. Ведь именно туда мы обычно попадаем со множественными ножевыми ранениями, входными и выходными

отверстиями, ранами, нанесенными тупыми предметами, с травмами, передозировкой, острым бредом. За все время по улицам проехали только молочный фургон, хлебный фургон да несколько больших грузовиков. Небо начинало светлеть. Мы подъехали к трехэтажному зданию с неоновым крестом над входом. Оно вполне могло оказаться церковью пятидесятников, детским садом, штаб-квартирой какого-нибудь международного движения молодежных организаций.

Там был пандус для инвалидных колясок, а значит, я мог дотащить Минка до главного входа, не заставляя биться головой о бетонные ступеньки. Я выволок его из машины, схватил за гладкую босую ногу и начал подниматься. Одну руку он прижимал к животу, пытаясь остановить кровотечение. Рука, в которой он держал пистолет, волочилась сзади. Светало. То была великолепная минута – минута жалости, героического сострадания. Ранив его, убедив его в том, что он сам себя ранил, я, как мне казалось, поступил благородно по отношению к нам обоим, ко всем нам – ведь, деля с ним судьбу, я фактически спасал ему жизнь. Медленно, шаг за шагом, я тащил за собой его тяжелое тело. Мне и в голову не приходило, что попытки человека обелить себя могут продлевать его душевный подъем при совершении преступления, которое он затем стремится оправдать.

Я позвонил в дверь. Всего через несколько секунд кто-то открыл. Старуха, монахиня в черной рясе с черным покрывалом, опирается на клюку.

– Мы ранены, – сказал я, показав ей запястье.

– Мы тут и не такого насмотрелись, – подчеркнуто сухо ответила она и, повернувшись, направилась в глубь помещения.

Я поволок Минка через вестибюль. Судя по всему, то была какая-то клиника: приемные, перегороженные ширмами кабинеты, двери с табличками «Рентген», «Окулист». Старая монахиня привела нас в травматологическое отделение. Появились двое санитаров – здоровенные коренастые мужики, сложенные, как борцы сумо. Они перенесли Минка на стол и привычными быстрыми движениями ловко сорвали с него одежду.

– Реальные доходы с учетом инфляции, – сказал он.

Переговариваясь по-немецки, вошли другие монахини, энергичные старушки. Принесли капельницы, прикатили тележки с блестящими инструментами. Первая монахиня подошла к Минку и взяла из его руки пистолет. Я смотрел, как она бросает его в ящик стола, где уже лежало с десяток других пистолетов и с полдюжины ножей. На стене висела картина: Джек Кеннеди и Папа Иоанн XXIII держатся за руки в раю. В раю было довольно

облачно.

Вошел врач – пожилой человек в поношенном костюме с жилетом. Поговорил по-немецки с монахинями и осмотрел Минка, уже частично накрытого простынями.

– Никто не знает, почему морские птицы прилетают в Сан-Мигель, – сказал Вилли.

Он уже начинал мне нравиться. Первая монахиня отвела меня в палату и принялась обрабатывать рану. Я хотел было поведать ей свою версию событий, но она не проявила интереса. Я сказал, что это старый пистолет со слабыми пулями.

– В этой стране кругом насилие.

– Вы давно живете в Немецком квартале? – спросил я.

– Мы последние из немцев.

– А кто теперь здесь живет, большей частью?

– Большей частью – никто, – сказала она.

Мимо прошли другие монахини – с крупными четками на поясах. Вид этих женщин немного развеселил меня: именно такая однотипная внешность вызывает у людей улыбку в аэропортах.

Я спросил у своей монахини, как ее зовут. Сестра Герман-Мари. Я сказал, что немного знаю немецкий, – пытался так снискать ее расположение, как всегда поступал, общаясь с медицинским персоналом любого уровня, по крайней мере на ранних стадиях, пока собственные страх и подозрительность не лишали меня всякой надежды на успешность маневра.

– Гут, бессер, бест, – сказал я.

На ее изрытом морщинами лице появилась улыбка. Я похвастался умением считать, показал на некоторые предметы и сказал, как они называются. Монахиня довольно кивала, промывая мне рану и перевязывая запястье стерильным бинтом. Сказала, что шину накладывать не нужно, а доктор выпишет рецепт на антибиотики. Мы вместе сосчитали до десяти.

Появились еще две монахини, дряхлые, худые и морщинистые. Моя монахиня что-то сказала им, и вскоре мы, все вчетвером, повели приятный разговор, скорее напоминающий детскую игру. Мы перечисляли цвета, предметы одежды, части тела. В компании этих говорящих по-немецки старух я чувствовал куда непринужденнее, чем среди гитлероведов. Быть может, перечисление названий – занятие настолько невинное, что оно угодно Богу?

Сестра Герман-Мари в последний раз проверила, хорошо ли наложена повязка. Я сидел лицом к изображению Кеннеди и Папы Римского в раю. Втайне я восхищался этой картиной. Она поднимала настроение, помогала воспрянуть духом. Президент и после смерти бодр. Папа так и лучится добродушием. А вдруг все

это правда? Вдруг они действительно встретились где-нибудь в заранее назначенном месте, на фоне пушистых кучевых облаков, – встретились и пожали друг другу руки? Вдруг все мы встретимся, словно в какой-нибудь эпической поэме о меняющих облик богах и простых смертных, встретимся на небесах, окрепшие и просветленные?

Я спросил у своей монахини:

– Каково в наши дни мнение Церкви о рае? Тот ли это рай, как здесь, на небесах?

Она обернулась и взглянула на картину.

– Вы что, за дурочек нас держите?

Столь резкий ответ меня удивил.

– Тогда что же такое рай, по мнению Церкви, если не обиталище Бога, ангелов и душ тех, кто спасен?

– Спасен? Что значит спасен? Только круглый дурак придет сюда болтать об ангелах. Покажите-ка мне ангела. Сделайте милость. Я хочу посмотреть.

– Но вы же монахиня. А монахини во все это верят. Когда мы видим монахиню, у нас поднимается настроение. Забавно и приятно вспомнить о том, что кто-то еще верит в ангелов, в святых, во все эти предания.

– Неужели вы во все это верите, дурья голова?

– Не важно, во что я верю. Главное – во что верите вы.

– Это правда, – сказала она. – Неверующим нужны верующие. Им ужасно хочется, чтобы кто-то верил. Но покажите мне святого. Дайте хоть один волосок с тела святого.

Она наклонилась ко мне – каменное лицо, обрамленное черным покрывалом. Мне стало немного не по себе.

– Мы здесь для того, чтобы заботиться о больных и раненых. И только. А если хотите поболтать о рае, лучше найдите другое место.

– Другие монахини ходят в платьях, – рассудительно сказал я. – А вы здесь по-прежнему носите старую форму. Рясу, покрывало, старомодные башмаки. Вы должны верить в древние предания. В привычные рай и ад, в католическую мессу. В то, что Папа Римский непогрешим, а Бог создал мир за шесть дней. В великие древние догматы. В то, что ад – это пылающие озера, крылатые демоны.

– Неужели непременно надо приходить сюда с улицы, истекая кровью, и рассказывать мне о сотворении мира за шесть дней?

– На седьмой Он отдыхал.

– Неужели непременно надо болтать об ангелах? Здесь?

– Конечно здесь. Где же еще?

Озадаченный, обескураженный, я чуть не сорвался на крик.

– А почему не о воинствах небесных, что пойдут в бой, когда наступит конец света?

– Почему бы и нет? Зачем же вы тогда стали монахиней? Зачем у вас висит эта картина?

– Это для других. Не для нас.

– Но это же курам на смех! Что еще за другие?

– Все остальные. Все, кто всю жизнь верит, будто по-прежнему верим мы. Наша главная обязанность – верить в то, чего больше никто не принимает всерьез. Если полностью отказаться от подобных верований, род человеческий погибнет. Вот зачем нужны мы. Ничтожное меньшинство. Чтобы олицетворять привычные вещи, старые догмы. Веру в дьявола, ангелов, рай, ад. Весь мир рухнет, если мы перестанем притворяться, будто во все это верим.

– Притворяться?

– Конечно притворяться. Вы что, за дурочек нас принимаете? Убирайтесь отсюда.

– Вы не верите в рай? Вы – монахиня?

– Если не верите вы, с какой стати должна верить я?

– Если бы верили вы, может, и я бы поверил.

– Если бы верила я, вам бы не пришлось.

– Вся эта путаница мыслей, привычные причуды и выверты, – сказал я. – Вера, религия, вечная жизнь. Великие заблуждения, издревле свойственные человеку. Вы хотите сказать, что не принимаете их всерьез? Ваше самопожертвование – это лишь притворство?

– Наше притворство – настоящее самопожертвование. Кто-то должен делать вид, что верит. Даже исповедуй мы истинную веру, истинную религию, наша жизнь отнюдь не была бы глубже и осмысленнее. Мир утрачивает веру, и потому именно сейчас людям очень нужно, чтобы верил хоть кто-нибудь. Мужчины с безумным взором, живущие в пещерах. Монахини в черных одеяниях. Монахи, давшие обет молчания. Верить вынуждены мы. Глупцы, дети. А те, кто отказался от веры, просто не могут не верить в нас. Они убеждены, что отказ от веры – правильный поступок, но в то же время понимают, что вера не должна исчезнуть бесследно. Ад – это место, где никто не верит. Всегда должны быть верующие. Глупцы, слабоумные, те, кто слышит голоса, кто говорит на языках всякую околесицу. Мы – ваши безумцы. Мы посвящаем свою жизнь тому, чтобы сделать возможным ваше безверие. Вы убеждены, что поступаете правильно, но в то же время не хотите, чтобы все были с вами согласны. Без глупцов нет истины. Мы – ваши дуры, ваши сумасшедшие, которые встают чуть свет читать молитвы,

зажигают свечи, просят у изваяний крепкого здоровья, долгой жизни.

– Вы прожили долгую жизнь. Возможно, это помогает.

Она оглушительно расхохоталась, показав зубы, истлевшие почти до прозрачности.

– Скоро все это кончится. Вы лишитесь своих верующих.

– Выходит, все эти годы вы молились неизвестно за что?

– За весь мир, тупица.

– И ничто не уцелеет? Смерть – это конец?

– Вы хотите знать, во что я верю или какого рода верующей притворяюсь?

– Не желаю этого слышать. Это ужасно.

– Зато чистая правда.

– Вы же монахиня. Вот и ведите себя соответственно.

– Мы даем монашеские обеты. Нищеты, безбрачия, послушания. Осмысленные обеты. Осмысленная жизнь. Без нас вам не выжить.

– Наверняка, среди вас есть такие, кто не притворяется, кто искренне верит. Я знаю, что есть. Вековая вера не улетучивается просто так, за считанные годы. Изучению этих предметов посвящались целые науки. Ангеловедение. Раздел теологии, трактующий исключительно об ангелах. Наука об ангелах. Над этими проблемами размышляли великие умы. Есть великие умы и в наше время. Они по-прежнему размышляют, по-прежнему верят.

– Надо же, пришли сюда с улицы, приволокли за ногу какого-то беднягу, и еще рассуждаете об ангелах, которые живут на небесах. Убирайтесь вон.

Она что-то сказала по-немецки. Я не разобрал. Она вновь заговорила – и говорила долго, наклоняясь ко мне все ближе. В речи ее слышалось все больше резких, гортанных, булькающих звуков. В глазах отражалось неописуемое наслаждение, которое я доставлял ей своим непониманием. Она поливала меня свинцом немецкой речи. Градом слов. Говоря без умолку, она все больше распалялась. В ее голосе появились нотки веселого азарта. Она заговорила быстрее, экспрессивнее. Набухли кровеносные сосуды в глазах и на лице. Я начал улавливать некую модуляцию, размеренный ритм. Она что-то декламирует, решил я. Литании, церковные гимны, катехизисы. А может, молится, размышляя о священных таинствах, подымая меня на смех презрительной молитвой.

Как ни странно, все это показалось мне прекрасным.

Когда ее голос стал слабеть, я вышел из палаты, побродил по клинике и в конце концов нашел старого доктора. «Герр доктор!» – крикнул я, чувствуя себя персонажем какого-то фильма. Он

включил слуховой аппарат. Я получил рецепт и спросил, поправится ли Вилли Минк. Нет, не поправится, по крайней мере, в ближайшее время. Но и не умрет. Тут он меня, кажется, обставил.

Домой я доехал без приключений. Машину оставил на дорожке Стоверов. Заднее сиденье было залито кровью. Кровь осталась на руле, на приборном щитке и дверных ручках. Наука, изучающая поведение и развитие человека в культурном контексте – антропология.

Я поднялся наверх и немного понаблюдал за детьми. Все спали, ощупью пробираясь через свои сны, и закрытые глаза быстро двигались под веками. Я лег в постель рядом с Бабеттой, сняв только башмаки – почему-то зная, что это не покажется ей странным. Но в голове по-прежнему мелькали беспокойные мысли, и заснуть я не мог. Через некоторое время спустился на кухню – посидеть с чашечкой кофе, ощутить боль в руке, проверить учащенный пульс.

Не оставалось ничего другого – только дожидаться следующего заката, когда небо окрасится в тона звенящей бронзы.

40

В тот день Уайлдер сел на свой пластмассовый трехколесный велосипед, объехал вокруг квартала, свернул направо, в тупик, и, шумно крутя педали, доехал до конца. Там слез с велосипеда, обошел с ним ограду, снова сел и покатил по извилистой мощеной дорожке, которая мимо каких-то заросших пустырей вела к лестнице из двадцати бетонных ступенек. Пластмассовые колеса тарахтели и скрипели. Тут наше воссоздание фактов меркнет перед исполненным благоговейного страха рассказом двух пожилых женщин, смотревших с задней веранды второго этажа высокого дома, окруженного деревьями. Уайлдер пешком спустился по лестнице, с сознанием долга, но без лишней сентиментальности придерживая велосипед и позволяя ему подпрыгивать на ступеньках, словно необычному с виду младшему братишке, о котором он не так уж нежно заботится. Потом снова сел на велик, пересек улицу, пересек тротуар и въехал на покрытый травой откос над скоростной автотрассой. Тут женщины принялись кричать. Эй, послушай! – кричали они, поначалу не очень решительно, не в силах еще осознать всего значения событий, происходящих у них на глазах. Малыш по диагонали, искусно уменьшая угол снижения, съехал с откоса и, остановившись внизу, направил свой трехколесник к тому месту на другой стороне дороги, расстояние до которого представлялось кратчайшим. Эй, сынок, не надо! Они замахали руками в отчаянной надежде на появление какого-нибудь крепкого, здорового пешехода. Тем временем Уайлдер, то ли не обращая внимания на крики, то ли не слыша их в однообразном шуме несущихся мимо больших и маленьких фургонов, поехал поперек шоссе, влекомый некой таинственной силой. Женщины, лишившись дара речи, могли только смотреть, воздев руки в мольбе о том, чтобы этот эпизод вернулся к началу, чтобы малыш на своей выцветшей желто-синей игрушке поехал задом наперед, словно рисованный персонаж утреннего мультика. Водители никак не могли взять в толк, что к чему. Напрягшись за рулем, пристегнутые ремнями, они знали, что эта картина никак не укладывается в рамки современного представления о скоростном шоссе, разделенном на широкие полосы потоке машин, модернистском течении. Скорость – вот что имеет смысл. Дорожные знаки, разметка, жизнь, короткая, как миг. А это что такое? Что значит это маленькое движущееся пятнышко? Какая-то сила действует неправильно, вопреки законам природы. Они резко выворачивали руль, тормозили, сигналили, и в конце

томительно долгого дня вся округа оглашалась жалобным звериным воем. Малыш, ни разу не взглянув на них, катил прямиком к осевой линии – узкому газону с блеклой травой. Он вел себя высокомерно и самоуверенно. Руки его, казалось, двигались так же быстро, как ноги, круглая голова покачивалась – пляска полного решимости дурачка. Чтобы взобраться на рельефную осевую линию, пришлось сбавить скорость и, потянув руль на себя, приподнять переднее колесо. Он был чрезвычайно осмотрителен в своих движениях, строго выполняя каждый пункт некоего тщательно продуманного плана, а машины с воем мчались мимо, раздавались запоздалые гудки, водители вглядывались в зеркала заднего вида. Уайлдер слез и перевез велосипед через газончик. Женщины смотрели, как он снова уверенно усаживается на сиденье. «Стой! – закричали они. – Не надо ехать! Нет, нет!» Словно иностранки, вынужденные изъясняться простыми фразами. Разогнавшись на прямом отрезке, появлялись все новые машины, бесконечный мазок скоростного транспорта. Уайлдер, которому осталось пересечь последние три полосы, съехал с осевой линии, подпрыгивая, как мячик – переднее колесо, задние колеса. Потом, все так же покачивая головой, покатил на другую сторону. Машины уклонялись от столкновения, сворачивали в соседний ряд, въезжали на бордюры, в боковых окошках мелькали изумленные лица. Малышу, яростно крутившему педали, было невдомек, как медленно он движется с точки зрения женщин, наблюдавших с веранды. Те уже смолкли и смотрели невнимательно, вдруг потеряв интерес. Как медленно он движется, как заблуждается, считая, будто мчится пулей! Это им наскучило. Гудки всё раздавались, звуковые волны смешивались в воздухе, сглаживались, и в ответ им доносились ворчливые сигналы машин, уже скрывшихся из виду. Уайлдер добрался до противоположной стороны, немного проехал параллельно веренице транспорта, потом, видимо, потерял равновесие, упал с велосипеда и разноцветным кубарем скатился с насыпи. Почти в тот же миг появился вновь – теперь он сидел в дренажной канаве, в русле местами пересохшего ручья. Ошеломленный, он решил заплакать. Это не составило труда: кругом вода и грязь, велосипед лежит на боку. Женщины снова закричали. Обе воздели руки в попытке повернуть действие вспять. «Мальчик в воде! – кричали они. – Смотрите, на помощь, ребенок тонет!» А тот ревел ревмя, сидя в ручье. Казалось, он услышал их впервые и, подняв голову, посмотрел поверх земляной насыпи на деревья по другую сторону автострады. Тут женщины перепугались не на шутку. Они кричали, размахивали руками, и когда

непреодолимый страх уже начал охватывать их, проезжавший мимо автомобилист, как называют таких людей, ловко подрулил к краю дороги, вышел из машины, быстро спустился с насыпи, вытащил малыша из мутного мелкого ручья и, высоко подняв его, показал голосистым старушкам.

Мы постоянно ездим на путепровод. Бабетта, Уайлдер и я. Берем термос с охлажденным чаем, ставим машину, смотрим на заходящее солнце. Облака – не помеха. Облака усиливают эффект, поглощают свет, придают ему форму. Почти не мешает и сплошная облачность. Свет пробивается сквозь тучи, образует узоры и туманные своды. Тучи усиливают впечатление. Нам почти нечего сказать друг другу. Подъезжают новые машины, их ставят в конце длинного ряда, который тянется до самых жилых кварталов. Люди пешком поднимаются по наклонному въезду на путепровод, взяв с собой фрукты, орехи, прохладительные напитки, – большей частью люди средних лет, преклонного возраста, кое-кто с полотняными складными стульями, которые ставят на тротуаре, но есть и пары помоложе: стоят под ручку у перил и смотрят на запад. Небо наполняется содержанием, настроением, жизнью, насыщенной возвышенными сюжетами и темами. Цветные полосы спектра тянутся в такую высь, что порою кажется, будто они разлагаются на составные части. В небесах возникают башенки старинных замков, бушуют световые бури, на землю тихо падает серпантин. Трудно понять, как нам следует ко всему этому относиться. Одних людей закаты пугают, другие полны решимости восторгаться, но большинство из нас не знают, что и думать, готовы принять и ту, и другую сторону. Дождь – не помеха. В дождь зрелище отличается большим разнообразием, появляются и исчезают картины удивительных оттенков. Подъезжают новые машины, люди устало плетутся вверх по въезду. Трудно передать атмосферу этих теплых вечеров. Все проникнуто ожиданием, но здесь не услышишь нетерпеливого гула толпы по-летнему одетых людей, предвкушающих, к примеру, интересную игру мальчишек на пустыре, – событие привычное, имеющее прецеденты, никогда еще не вызывавшее опасений. Здесь ожидание затаенное, смутное, почти робкое и трепетное, требующее тишины. Что еще мы чувствуем? Конечно, не обходится без благоговения, все им преисполнены, оно выходит за рамки известных нам категорий благоговения, но мы сами не знаем, как смотрим, в изумлении или в страхе, не знаем ни на что смотрим, ни что это значит, не знаем, то ли это нечто постоянное – на том уровне восприятия, которого мы постепенно достигнем, и на котором рано или поздно от нашей неуверенности не останется и следа, – то ли попросту какое-то

странное атмосферное явление, причем кратковременное. Складные стулья расставлены, старики сидят. Ну что тут скажешь? Закаты затягиваются, задерживаемся и мы. Небо опутано чарами, украшено яркими картинами, легендарными сюжетами, изредка по путепроводу даже проезжают машины – они движутся медленно, почтительно. Люди всё поднимаются по въезду, некоторые в инвалидных колясках, тяжело больные, согбенные, а те, кто их сопровождает, низко нагнувшись, толкают коляски в гору. До тех пор, пока теплыми вечерами на путепроводе не стали собираться целые толпы, я и понятия не имел, как много в городе инвалидов, беспомощных людей. Под нами мчатся машины. Они едут с запада, оттуда, где разливается по небу свет, и мы смотрим на них так, словно хотим увидеть некое знамение, будто на их разноцветных поверхностях сохранились какие-нибудь следы заката – едва заметный блеск или тонкий слой предательской пыли. Никто не включает радио, все разговаривают только шепотом, в крайнем случае – вполголоса. Что-то золотистое появляется в воздухе, становится еще теплее. Люди гуляют там с собаками, дети катаются на велосипедах, кто-то приносит фотоаппарат с телеобъективом и дожидается своего часа. Лишь через некоторое время после наступления темноты, когда насекомые принимаются пронзительно стрекотать в жаркой ночи, мы потихоньку начинаем разъезжаться – стыдливо, вежливо, машина за машиной, – и каждый вновь замыкается в броне своего «я».

В районе по-прежнему находятся люди в костюмах из милекса – желтомордые, они собирают свои страшные данные, нацеливают свои инфракрасные приборы на землю и небо.

Доктор Чакраварти хочет поговорить со мной, но я упорно отказываюсь ходить на прием. Ему не терпится выяснить, как прогрессирует моя смерть. Наверное, интересный случай. Он хочет снова поместить меня в оптический блок, где сталкиваются заряженные частицы, дуют сильные ветры. Но я боюсь оптического блока. Боюсь его магнитных полей, его обработанной компьютером ядерной пульсации. Боюсь того, что ему обо мне известно.

Я не подхожу к телефону.

Товары на полках супермаркета расположили по-другому. Это произошло в один прекрасный день, совершенно неожиданно. В проходах царят смятение и паника, на лицах престарелых покупателей отражается испуг. Они ходят, то и дело впадая в транс и останавливаясь, – толпы хорошо одетых людей застывают в проходах и пытаются найти во всем этом закономерность, обнаружить скрытую логику, пытаются вспомнить, где они только

что видели манную крупу. Они не понимают, зачем это сделано, не видят в этом смысла. Губки для мытья посуды лежат теперь рядом с туалетным мылом, пряности разбросаны в разных местах. Чем старше человек, тем лучше он одет и тщательнее ухожен. Мужчины – в слаксах «Сансабелт» и вязаных рубашках ярких расцветок. Женщины – с напудренными, аляповато накрашенными лицами, с виду застенчивые, готовые к какому-то тревожному моменту. Они сворачивают не в те проходы, удивленно разглядывают полки, иногда останавливаются как вкопанные, отчего на них наталкиваются тележки других покупателей. На прежнем месте остались только продукты общего типа – белые упаковки с простыми этикетками. Мужчины ищут нужные продукты в списках, женщины – нет. Кажется, что теперь по магазину бесцельно бродят толпы призраков – приятных людей с мягким характером, доведенных до ручки. Остерегаясь коварного обмана, они критически изучают информацию, напечатанную на упаковках мелким шрифтом. Мужчины ищут штампы с датами, женщины – сведения об ингредиентах. Многие с трудом разбирают слова. Смазанная печать, расплывчатые картинки. Среди переоборудованных полок, оглушенные шумом, доносящимся со всех сторон, сознавая очевидный и чудовищный факт своей старческой деградации, они пытаются преодолеть смущение, освоиться с неразберихой. Но ни то, что они видят на самом деле, ни то, что им только кажется, в конечном счете, не имеет значения. Терминалы в супермаркете оснащены голографическими сканерами, которые декодируют бинарную тайну каждого предмета безошибочно. Это и есть язык излучений и волн – язык, на котором мертвые говорят с живыми. А это – место, где мы все вместе ждем, независимо от возраста, с тележками, полными ярко раскрашенных товаров. Медленно движущаяся очередь, в которой мы с удовольствием стоим, даже успевая бегло просмотреть бульварные газеты со стеллажей. Здесь, на газетных стеллажах, есть все, что нам нужно, кроме еды и любви. Истории о сверхъестественных явлениях и инопланетных существах. О чудо-витаминах, лекарствах от рака, средствах от ожирения. О культах знаменитых и мертвых.